

Per A-1169

-260



TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED
УЧЕННЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ALUSTATUD 1893. a.

VIINIK

260

ВЫПУСК

ОСНОВАНЫ в 1893 г.

TÕID ROMAANI-GERMAANI
FILOLOOGIA ALALT

ТРУДЫ ПО РОМАНО-
ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

III



TARTU 1970

Per. A-1169
-260

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED
УЧЕННЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
TRANSACTIONS OF THE TARTU STATE UNIVERSITY
ALUSTATUD 1893. a. VIHİK 260 ВЫПУСК ОСНОВАНЫ В 1893 г.

TÖID ROMAANI-GERMAANI
FILOLOOGIA ALALT
ТРУДЫ ПО РОМАНО-
ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
III

TARTU 1970

Redaktsioonikolleegium:
Oleg Mutt (vastutav toimetaja), Rita Tasa, Juhan Tuldava.

P₁

**Tartu Riikliku Ülikooli
Raamatukogu**

58178

Toimetajailt

Käesolev Tartu Riikliku Ülikooli Toimetiste vihik sisaldab kaheksa artiklit prantsuse, inglise, saksa ja rootsi filoloogia alalt. Autoriteks on TRÜ inglise keele kateedri, saksa keele kateedri ja lääne-euroopa kirjanduse ja klassikalise filoloogia kateedri õppejõud või endised aspirandid. Enamus artikleid on seotud vastavate autorite kaitstud või valmivate väitekirjadega. Kogumik peegeldab TRÜ asjaomastes kateedrites tehtavat teaduslikku tööd tõlketeooria ning praktika, samuti keele- ja kirjandusajaloo valdkonnas.

От редакционной коллегии

Данный выпуск Ученых записок Тартуского государственного университета содержит восемь статей по вопросам французской, английской, немецкой и шведской филологии. Авторами статей являются преподаватели и бывшие аспиранты кафедр английского и немецкого языков, кафедры западно-европейской и классической филологии ТГУ. Большинство статей связаны с уже защищенными или готовящимися к защите диссертациями. Сборник отображает научную работу соответствующих кафедр ТГУ в области теории и практики перевода, и истории языка и литературы.

Editorial Note

The present number of the Transactions of Tartu State University contains eight papers on various problems of English German, French, and Swedish philology. The authors are members of the staff or former post-graduate students of the Departments of English and German and of the Department of West-European Literature and Classical Philology of Tartu State University. The majority of the papers are connected with the dissertations of their respective authors. The collection of studies incorporates some results of the research work conducted at Tartu State University in the fields of translation theory, literature and language history.

ПОВЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИСОЕДИНЕННОЙ ВОПРОСИТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Г. Б. Кививяли
Кафедра английского языка

Целью настоящей статьи является исследование синтаксических структур современного английского языка, состоящих из присоединяющей части (ПЧ), которая выражается повелительным предложением, и из присоединенной вопросительной части (ПВЧ), которая представляет собой краткий глагольный или неглагольный вопросительный отрезок речи, — т. е. образования типа

Come over here, will you? (PY 15, Sieveking, 293)
Cinny, come and stay at Momma's tonight, eh? (PY 26, Dyer, 70)

Морфологическому, синтаксическому и семантико-интонационному анализу подвергаются 408 повелительных предложений с ПВЧ, выписанных из 228 послевоенных источников с общим листажом в 68 435 страниц.

Морфологическая характеристика

Морфологический анализ ПВЧ, т. е. одной из составных частей исследуемых структур, создающей их специфику, позволяет выделить два структурных варианта, в зависимости от наличия или отсутствия в ПВЧ глагола.

Глагольная ПВЧ двусоставная, состоящая из подлежащего, выраженного местоимением, и сказуемого, выраженного глаголом в личной форме. В неглагольной ПВЧ глагол-сказуемое отсутствует. Если общее число повелительных предложений с ПВЧ взять за 100% (408 предложений), то:

Повелительные предложения с ПВЧ, выраженной	%	Количество примеров
глаголом	97,06	396
без глагола	2,94	12

Поскольку подавляющее большинство в современном английском языке составляют повелительные предложения с глагольной ПВЧ, то наш анализ начинается с морфологической характеристики глагольной ПВЧ. Неглагольная ПВЧ описывается несколько позже.

В роли глагольной ПВЧ выступают следующие вопросительные сочетания: will you, won't you, would you, can't you, shall we:

Bring another cup, will you? (PY 12, Hastings, 268)

Do sit down, won't you? (PY 11, King, 499)

Close the door after me, would you, Keable? (PY 15, Sieveking, 322)

Oh, shut up, Pa — sit down, can't you? (PY 16, Ackland, 70)

So let's start over, shall we? (Faulkner, RN, 82)

В связи с глагольной ПВЧ возникает вопрос — как квалифицировать глаголы, выступающие в ПВЧ.

Хотя приведенные выше глаголы являются по их происхождению вспомогательным или модальным глаголами, в качестве сказуемого глагольной ПВЧ они несут, на наш взгляд, особую функцию репрезентации.

Как известно, первым исследованием, положившим начало теории замещения, была статья В. Н. Ярцевой «Слова-заместители в современном английском языке»¹. В этой статье глаголы-репрезентанты от глаголов-заместителей не отграничиваются. По мнению В. Н. Ярцевой, группа глаголов-заместителей включает следующие глаголы: do, be, have, can, may, must, will, would, shall, should, которые характеризуются полной или частичной лексической опущенностью и используются для выражения сказуемого в абстрактной форме в целях соотнесения нового высказывания с предыдущим в случае совпадения их по смыслу. Точки зрения В. Н. Ярцевой придерживаются многие советские лингвисты, напр. Е. Я. Антипова, которая считает, что функцию замещения могут выполнять следующие двенадцать глаголов: be, do, have, shall, will, can, may, must, ought, need, dare, used².

За последнее время появился ряд исследований, развивших положения статьи В. Н. Ярцевой и установивших существование наряду со словами-заместителями другой группы слов — слов-репрезентантов. Л. А. Воронина³, например, относит к гла-

¹ В. Н. Ярцева, Слова-заместители в современном английском языке. Уч. зап. ЛГУ. Серия филол. наук, вып. 14, Л., 1949, стр. 190—205.

² Е. Я. Антипова, Глагольное замещение в современном английском языке. Вестник ЛГУ, № 2, Серия истории, языка и литературы, вып. 1, Л., 1962, стр. 138.

³ Л. А. Воронина, Глагол-заместитель do в современном английском языке. Автореф. канд. дисс., М., 1955, стр. 3.

голам-заместителям только глагол *do*, ибо, по ее мнению, только этот глагол совмещает очень отвлеченное значение с основными грамматическими признаками знаменательных глаголов, что дает ему возможность замещать глаголы самой различной лексической характеристики. Л. А. Воронина отделяет замещение от представительства, при котором часть той же синтаксической группы представляет всю группу, выступая как часть вместо целого, тогда как при замещении появляется новый элемент, отличный от замещаемого.

Разграничение слов-заместителей и слов-репрезентантов наблюдается и в ряде других диссертаций⁴, в которых глаголом-заместителем признается только глагол *do*. Того же мнения придерживается и Ф. Ф. Буссель⁵, который считает, что подлинно-заместительная функция присуща только *do* в утвердительной форме Present и Past Indefinite. Что касается остальных глаголов, причисленных В. Н. Ярцевой и Е. Я. Антиповой к глаголам-заместителям, то они названы Ф. Ф. Бусселем глаголами-репрезентантами. Б. А. Ильиш⁶ рассматривает замещение в одном ряду с явлением репрезентации. Оба явления трактуются как характерные английскому языку и дополняющие друг друга средства передачи значения ясного из контекста слова или группы слов.

Сущность глагольного замещения состоит, на наш взгляд, в замене полнозначного глагола особым десемантизированным глаголом *do* в целях достижения структурной полноты предложения. Мы придерживаемся мнения Ф. Ф. Буссель⁷ и других грамматистов, которые считают, что при репрезентации мы имеем дело с предложениями, в которых в качестве представителя сказуемого выступает вспомогательный или модальный глагол, который называется репрезентантом. Глаголы-репрезентанты не замещают все сказуемое, а представляют собой лишь часть сказуемого.

⁴ Н. В. Варгина, Развитие субстантивного слова-заместителя *опе* в английском языке. Канд. дисс., Л., 1963; В. Б. Кобков, Способы выражения повторяющихся смысловых компонентов в структуре предложения в современном английском языке (в сопоставлении с русским). Канд. дисс., М., 1965; В. М. Аринштейн, Слово-заместитель *опе* в современном английском языке. Канд. дисс., Л., 1966.

⁵ Ф. Ф. Буссель, Глаголы-заместители в современном английском языке. Иностранная филология, вып. 3. Изд. Львовского ун-та, 1965, стр. 40—45.

⁶ Б. А. Ильиш, Строй современного английского языка. М.—Л., 1965, стр. 362—365.

⁷ Ф. Ф. Буссель, О предпосылках и причинах широкого использования репрезентации в современном английском языке. Вопросы теории и методики преподавания германских языков. Тезисы 27-й научной конференции факультета иностранных языков. Харьков 1965, стр. 8.

Глаголы в ПВЧ нельзя считать глаголами-заменителями, так как подлинно-заменительная функция, как было сказано выше, присуща только глаголу do, который заменяет какой-то полнозначный глагол.

Сочетания will you, won't you, would you, can't you, shall we, выступающие в ПВЧ, сами по себе не существуют. Они возможны только, если подразумевается какое-то действие:

will you = will you do it, won't you = won't you do it, would you = would you do it, can't you = can't you do it, shall we = shall we do it, напр.:

Shut up, will you? (will you do it?) (PY 16, Connor, 175)

Give me another chance to explain, won't you? (won't you do it?) (PY 22, King, Cary, 364)

Get it de-coded, would you? (would you do it?) (PY 25, Boland, 257)

Make up your mind, can't you? (can't you do it?) (PY 15, Webber, 414)

So let's shup up about it, shall we? (shall we do it?) (PY 16, Ackland, 41)

Как видно из вышеприведенных примеров, вспомогательный (will, would, shall) или модальный глагол (can) в ПВЧ заменяет не все сказуемое, а лишь часть его. Поэтому, вспомогательный или модальный глагол в ПВЧ можно, по нашему мнению, считать глаголом-репрезентантом, который выступает в качестве представителя сказуемого ПВЧ. То, что вспомогательный или модальный глагол ПВЧ не повторяет какой-то вспомогательный или модальный глагол ПЧ, объясняется структурными особенностями повелительного предложения, выступающего в качестве ПЧ.

Как показывает следующая таблица, употребительность различных вопросительных сочетаний в ПВЧ неодинакова:

Всего повелительных предложений с глагольной ПВЧ	В том числе с				
	will you	would you	won't you	can't you	shall we
396	274	18	42	22	40
%	69,19	4,54	10,61	5,56	10,10

Таким образом, из вопросительных сочетаний, выступающих в функции глагольной ПВЧ, will you является наиболее употреб-

бительной (69,19% от всех повелительных предложений с глагольной ПВЧ).

Как видно из приведенной выше таблицы, в ПВЧ встречаются только личные местоимения *you* и *we*. В подавляющем большинстве случаев (89,90% всех повелительных предложений с глагольной ПВЧ) в ПВЧ употребляется личное местоимение *you*:

Give him a chance to explain, won't you? (PY 22, King, Cary, 364)

Tell him to wait, will you? (NED, Orton, 208)

Sergeant, go and call Mr. Cole, would you? (PY 25, Mackie, 418)

ПВЧ с личным местоимением *we* встречается только в тех случаях, когда в ПЧ используется конструкция с вспомогательным глаголом *let + us* (*let's*):

And as that isn't likely to happen, let's just forget there ever was such a thing as a fold, shall we? (PY 11, Melville, 30)

So let's shut up about it shall we? (PY 16, Ackland, 41)

Let's call the whole thing settled shall we? (PY 18, Ross, Singer, 121)

Как было отмечено выше, ПВЧ может быть и неглагольной. В неглагольной ПВЧ используются следующие междометия — *eh*, *heh*, *huh*:

Let's take in a movie, eh? (Carter, FS, 47)

Don't pretend to notice, eh? (Neill, DWE, 63)

All right, then let me talk now, eh? (Miller, CP, 409)

Get me some aspirin, heh? — Sure and let's break out of this, heh, Mom? (Miller, CP, 72)

Let's just wrap it up, heh? (Miller, CP, 214)

Sit down — huh — have a cup of coffee, huh? (10 SP, Anderson, 127)

Have another cup of coffee, huh? (10 SP, Anderson, 129)

Рассмотрим теперь более подробно ПЧ.

По нашим наблюдениям, глагол в ПЧ, выраженный в форме повелительного наклонения, встречается:

а) в утвердительной форме (394 случая из 408 повелительных предложений с ПВЧ, что составляет 96,57%):

Wait a minute, can't you? (Tressell, RTP, 328)

But tell him not to do it again, will you? (Cecil, DL, 91)

"Hey, Bill," Baldy requested, "call me if he wakes up, will you?" (Maltz, SS, 25)

б) в отрицательной форме (14 случаев, что составляет 3,43% от общего количества повелительных предложений с ПВЧ:

Don't yell at her, Pop, will ya? (Miller, CP, 169)

Don't listen to her, will you? (Cecil, DL, 78)

"Ah, don't be that way, will you?" he said. (Parker, SS, 69)

Синтаксическая характеристика

Прежде всего рассмотрим синтаксическую природу ПВЧ, так как она составляет специфику повелительных предложений с ПВЧ, отличая их от стандартных повелительных предложений. Особенностью ПВЧ, присоединенной к повелительному предложению, является то, что она структурно не связана с ПЧ, т. е. в ПВЧ не воспроизводятся местоимение и вспомогательный или модальный глагол, употребленные в ПЧ. Как было отмечено выше, то обстоятельство, что местоимение you или we и вспомогательный или модальный глагол, употребленные в ПВЧ, отсутствуют в ПЧ, объясняется структурными особенностями повелительного предложения и не является, на наш взгляд, основанием для того, что можно говорить об отсутствии подлежащего и сказуемого в ПВЧ. Структура глагольной ПВЧ всегда аналогична структуре т. н. общего вопроса и, следовательно, употребление подлежащего и сказуемого здесь обязательно. Местоимение и вспомогательный или модальный глагол, который является глаголом-репрезентантом, функционируют как подлежащее и сказуемое структурно завершенного, но семантически незаконченного двусоставного предложения.

Употребление того или иного вопросительного сочетания в ПВЧ зависит от различных значений (волеизъявления, ослабленной вопросительности, эмоциональности), передаваемых этим сочетанием и от утвердительной или отрицательной формы глагола повелительного наклонения в ПЧ.

Рассмотрим употребление различных вопросительных сочетаний в ПВЧ в зависимости от утвердительной или отрицательной глагольной формы ПЧ.

Если в ПЧ глагольная форма повелительного наклонения утвердительная, то в ПВЧ могут стоять все вопросительные сочетания:

will you:

Andrew, do the drinks for me, will you? (PY 23, Williams, 43)

Bring another cup, will you? (PY 12, Hastings, 268)

Get me the beer, will you? (FAB, Hellman, 100)

would you:

Forgive me if I go on with this, would you? (PY 25, Boland, 281)

Close the door after me, would you, Keable. (PY 15, Sieveking, 322)

Find out if there's a car that wants to go Muswell Hill way, would you? (PY 13, Mackie, 96)

won't you:

Be quick, won't you? (PY 18, Ross, Singer, 109)

Do sit down, won't you? (PY 11, King, 516)

Hurry, back, Fred, won't you? (PY 16, Ackland, 104)

can't you:

Make up your mind, can't you? (PY 15, Webber, 414)

Give over, Pa, can't you? (PY 16, Ackland, 101)

Go on, cry, can't you? (PY 17, Hill, 316)

Если в ПЧ выступает утвердительная глагольная форма с глаголом *let*, то ПВЧ допускает две возможности — *shall we* и *will you*:

К *shall we* прибегают в том случае, когда употребляется конструкция с вспомогательным глаголом *let*, выражающая призыв к совместному действию:

Let's call the whole thing settled shall we? (PY 18, Ross, Singer, 121)

Let's all settle down, shall we? (PY 18, Storey, 324)

Let us sit down, shall we? (PY 12, King, Cary, 456)

Во всех остальных случаях употребления глагола *let* с инфинитивом в ПВЧ используется *will you* (в таких случаях *let* выступает как смысловой глагол):

Now let me read my book, will you? (Gordon, LDP, 103)

Let me handle this, Yates — will you? (Heym, C, 366)

Look, Kid, let's talk about this, will you? (Maltz, SS, 194)

Если в ПЧ глагольная форма повелительного наклонения отрицательная, то, по нашим наблюдениям, в ПВЧ употребляется только *will you*:

Don't forget to send the old certificate, will you? (PY 20, Fairchild, 379)

So don't make fun of it, will you? (PY 22, Sherriff, 23)

Don't yell at her, Pop, will ya? (Miller, CP, 169)

Следовательно, из всех вопросительных сочетаний в ПВЧ *will you* представляется самой универсальной, т. е. она встре-

чается при любой глагольной форме повелительного наклонения в ПЧ.

Как видно из материала, приведенного выше, по соотношению утверждения и отрицания в ПЧ и глагольной ПВЧ выделяются следующие три варианта:

1-ый вариант. ПЧ — утвердительная, ПВЧ — утвердительная. В роли ПВЧ выступают *will you, would you, shall we*.

2-ой вариант. ПЧ — утвердительная, ПВЧ — отрицательная. В роли ПВЧ выступают *won't you, can't you*.

3-ий вариант. ПЧ — отрицательная, ПВЧ — утвердительная. В роли ПВЧ выступает *will you*.

Если общее количество повелительных предложений с глагольной ПВЧ взять за 100% (396 предложений), то:

Повелительные предложения с глагольной ПВЧ	%	Количество примеров
1. вариант (утверждение + утверждение)	80,30	318
2. вариант (утверждение + отрицание)	16,16	64
3. вариант (отрицание + утверждение)	3,54	14

Итак, глагольная форма повелительного наклонения в ПЧ, как правило, утвердительная.

Что касается неглагольной ПВЧ, выраженной междометиями *eh, heh, huh*, то ее употребление ничем не ограничивается, т. е. она употребляется:

а) когда глагольная форма повелительного наклонения в ПЧ утвердительная и отрицательная:

Cinny, come and stay at Momma's tonight, eh? (PY 26, Dyer, 70)

Get me some aspirin, heh? (Miller, CP, 72)

Take it easy, huh? (Miller, CP, 153)

Don't pretend to notice, eh? (Neill, DWE, 63)

б) когда в ПЧ имеется конструкция с вспомогательным глаголом *let*:

Let's just wrap it up, heh? (Miller, CP, 214)

Let's take in a movie, heh? (Carter, FS, 47)

All right, then let me talk now, eh? (Miller, CP, 409)

Повелительные предложения с ПВЧ можно охарактеризовать также по количеству предикативных единиц, являющихся основными конституирующими единицами в изучаемых синтаксических структурах. Под термином «предикативная единица» мы понимаем «синтаксическую единицу, структурное единство,

образуемое подлежащим и сказуемым, связанными предикативным отношением».⁸

Исследуемые синтаксические структуры состоят не менее чем из двух предикативных единиц: ПВЧ всегда монопредикативна, так как она состоит из местоимения-подлежащего и глагола-сказуемого, ПЧ может быть монопредикативной или же полипредикативной, в зависимости от количества предикативных единиц.

Как показывает наш материал, по признаку наличия предикативных единиц в ПЧ выделяются следующие случаи (в процентах из общего числа повелительных предложений с ПВЧ, т. е. 408 предложений):

ПЧ	%	Количество примеров
Монопредикативная	86,03	351
Полипредикативная	13,97	57

Таким образом, ПЧ, как правило, монопредикативная:

Remind me to give it you back, won't you? (PY 12, King, Cary, 361)

Get rid of it, will you? (PY 12, King, Cary, 428)

Sit down, won't you? (PY 15, Williams, 209)

Полипредикативная ПЧ представлена как:

а) бипредикативная ПЧ, состоящая из двух предикативных единиц (53 предложения из 408 повелительных предложений с ПВЧ, или 12,99%):

Forget I said it, will you? (Braine, RT, 75)

"Hey, Bill," Baldy requested, "call me, if he wakes up, will you?" (Maltz, SS, 25)

б) трипредикативная ПЧ, состоящая из трех предикативных единиц (4 предложения, что составляет 0,98% от общего количества повелительных предложений с ПВЧ):

Find out if there's a car that wants to go Muswell Hill way, would you? (PY 13, Mackie, 96)

If you see Sylvia tell her I'm playing brigde, will you? (PY 20, Gow, 85/86)

В нашем материале не обнаружено предложений с четырьмя и более предикативными единицами в ПЧ, хотя теоретически такие предложения возможны.

⁸ Л. Л. Иоффик, Сложное предложение в новоанглийском языке. Изд. ЛГУ, 1968, стр. 3.

Что касается связи между предикативными единицами полипредикативной ПЧ, то, по нашим наблюдениям, она может быть:

а) подчинительной (39 случаев из 57 повелительных предложений с ПВЧ, в которых ПЧ полипредикативная, что составляет 68,42%):

Ask him if he'll come in, will you, Edie? (PY 12, King, Cary, 470)

The scales are in the hall. Nannie, tell Sister Timpson they're on the hall table, would you? (PY 17, Williams, 365)

If she turns up, get her to ring me, will you? (PY 11, Melville, 93)

б) сочинительной (18 случаев или 31,58% от всех повелительных предложений с ПВЧ, в которых имеется полипредикативная ПЧ):

Be a good wife and bring me a whisky and soda in the bathroom, will you? (PY 20, Fairchild, 350)

Now run along — and send Albert to me, will you? (PY 13, Frost, 165)

Be a good chap and bring it round, would you? (Cecil, DL, 93)

Don't worry now — and don't tell Andrew, will you? (PY 23, Williams, 87)

Рассмотрим теперь характер синтаксической связи между ПЧ и ПВЧ, т. е. вопрос о том, какая синтаксическая связь существует между двумя частями рассматриваемых структур.

Л. Л. Иофик⁹ выделяет четыре способа связи предикативных единиц.

Как это было установлено еще нормативной грамматикой, сочинение является средством выражения грамматической однородности и независимости сочетаемых синтаксических единиц. В исследуемых синтаксических структурах ПВЧ нельзя считать самостоятельным предложением, так как хотя ПВЧ структурно не связана с ПЧ, она всегда соотносится с предикативной единицей ПЧ и семантически связана с ней. Исходя из того, нам представляется, что связь между предикативными единицами ПЧ и ПВЧ нельзя считать сочинительной.

Связь между предикативными единицами ПЧ и ПВЧ не является и подчинительной, если понимать подчинение как «способ связи неравномерных синтаксических единиц, находящихся на разных синтаксических уровнях».¹⁰ Нельзя считать, что ПЧ выступает структурным стержнем целого, т. е. подчиняющим

⁹ Л. Л. Иофик, Проблема структуры сложного предложения в новоанглийском языке. Автореф. докт. дисс., Л., 1965, стр. 14.

¹⁰ Там же, стр. 22.

членом, а ПВЧ грамматически подчинена центру подчинения, т. е. подчиняющему члену.

Третьим способом синтаксической связи выделяется присоединение. По мнению Л. Л. Иофик¹¹, присоединенные предикативные единицы являются полузависимыми, в отличие от независимых сочиненных и зависимых подчиненных. Присоединение, как пишет Л. Л. Иофик¹², выражает отношения между предложениями, т. е. осуществляет связи за пределами предложения, образуя смысловые или стилистические единства.

Несмотря на то, что в последнее время появился ряд исследований по вопросу о присоединении¹³, присоединительная связь между предложениями продолжает оставаться проблемой еще недостаточно глубоко изученной в лингвистике.

В связи между предикативными единицами ПЧ и ПВЧ проявляются следующие черты, характерные для присоединительной связи:

1. Как отмечает Л. Л. Иофик¹⁴, от подчинения присоединение отличается тем, что оно выражает одностороннюю анафорическую направленность к предшествующей предикативной единице. В исследуемых синтаксических структурах предикативная единица ПВЧ всегда соотносится с предшествующей предикативной единицей ПЧ.

2. Согласно В. Ф. Мильк¹⁵ и Л. Л. Иофик¹⁶, присоединение осуществляет связи за пределами предложения, образуя «сложное семантико-синтаксическое целое, т. е. законченную коммуникативную единицу, характеризующуюся разновидностью составляющих ее частей» и присоединительным способом их связи¹⁷. Как будет показано ниже, повелительные предложения с ПВЧ также образуют сложные семантико-синтаксические целые, которые называются нами синтаксическими единствами.

3. По мнению В. Ф. Мильк¹⁸, присоединенная часть может быть отделена от основного высказывания любым синтаксиче-

¹¹ Л. Л. Иофик, ук. соч., стр. 20.

¹² Л. Л. Иофик, Сложное предложение в новоанглийском языке, стр. 206.

¹³ С. Е. Кручков, О присоединительных связях в современном русском языке. Сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка» под ред. В. В. Виноградова. М., 1950; В. Ф. Мильк, Интонация присоединения в современном английском языке в сравнении с русским. Канд. дисс., М., 1960; Л. Л. Иофик, Проблема структуры сложного предложения в новоанглийском языке. Докт. дисс., Л., 1965.

¹⁴ Л. Л. Иофик, Проблема структуры сложного предложения в новоанглийском языке, стр. 19.

¹⁵ В. Ф. Мильк, Присоединение — вид синтаксической связи. Вестник ЛГУ, № 20. Серия истории, языка и литературы, вып. 4. Л., 1966, стр. 145.

¹⁶ Л. Л. Иофик, ук. соч., стр. 22.

¹⁷ В. Ф. Мильк, ук. соч., стр. 145.

¹⁸ Там же, стр. 145.

ским знаком. В синтаксических структурах, исследуемых в данной статье, ПВЧ отделяется от ПЧ запятой.

Однако в связи между ПЧ и ПВЧ проявляются некоторые черты, отличающиеся от признаков присоединительной связи, описываемых В. Ф. Мильк и В. В. Виноградовым:

1. При присоединительной связи, как пишет В. Ф. Мильк¹⁹, вторая часть, присоединенная к основному высказыванию, выражает главную, ведущую мысль всего высказывания. В повелительных предложениях с ПВЧ этого не наблюдается.

2. Согласно В. В. Виноградову²⁰, присоединение может осуществляться и при помощи союзов, и бессоюзно. В исследуемых синтаксических структурах связь между ПВЧ и ПЧ всегда бессоюзна.

Исходя из сказанного, нам представляется, что связь между предикативными единицами ПЧ и ПВЧ можно рассматривать как присоединительную связь, но, ввиду некоторых отличительных черт, мы имеем дело с особым видом присоединительной связи, еще не описанным в лингвистической литературе.

Связь между ПЧ и ПВЧ отличается от четвертого способа связи предикативных единиц, т. е. соотносительной связи тем, что соотносительная связь всегда вводит (или включает) предикативный или непредикативный (вводный) элемент в состав предложения, а не связывает отдельные предложения.²¹

При анализе повелительных предложений, выступающих в ПЧ, возникает вопрос — какова структура этих предложений? Как известно, вопрос о структуре повелительных предложений, в которых отсутствует подлежащее, представляется дискуссионным и по этому вопросу существуют различные точки зрения. Многие лингвисты считают повелительные предложения односоставными, которые представлены лишь одним составом, т. е. сказуемым или, по мнению некоторых лингвистов, главной частью, которая не является сказуемым. Другие грамматисты считают, что повелительные предложения — это эллиптические двусоставные предложения, где подлежащее представлено нулевым вариантом²². В лингвистической литературе, высказано мнение, что повелительные предложения являются и специальным классом предложений, промежуточным между односоставными и двусоставными предложениями, т. е. предложениями с т. н. подразумеваемым подлежащим²³.

¹⁹ В. Ф. Мильк, *Интонация присоединения в современном английском языке в сравнении с русским*. Автореф. канд. дисс., М., 1960, стр. 6.

²⁰ В. В. Виноградов, *Стиль Пушкина*. М., 1941, стр. 342.

²¹ См. В. Н. Жигадло, И. П. Иванова, Л. Л. Иоффик, *Современный английский язык*, М., 1956, стр. 298—299.

²² См. Л. С. Бархударов, *Структура простого предложения современного английского языка*. М., 1966, стр. 173.

²³ См. N. A. Kobrina, E. A. Korneyeva, *An Outline of Modern English Syntax*. М., 1965, сmp. 93—94.

В данной работе мы придерживаемся мнения Б. А. Ильиша²⁴, В. Н. Жигadlo, И. П. Ивановой, Л. Л. Иофик²⁵ и других лингвистов, которые считают повелительные предложения без подлежащего односоставными предложениями.

При рассмотрении повелительных предложений с ПВЧ возникает вопрос — какова их синтаксическая природа в целом?

Как было сказано выше, местоимение и глагол, употребленные в ПВЧ, функционируют как подлежащее и сказуемое, образуя структурно завершенное двусоставное предложение. Итак, ПВЧ и ПЧ составляют два предложения, связь между которыми является присоединительной. Повелительное предложение с ПВЧ образует сложное, семантико-синтаксическое целое и в силу этого повелительное предложение с ПВЧ — это, по-видимому, синтаксическое единство. Этот термин позаимствован у Г. А. Вейхмана²⁶. Синтаксическое единство является особым синтаксическим образованием, состоящим в данном случае из повелительного предложения и зависимого от него вопросительного отрезка речи, зависимого в том смысле, что он не употребляется без предшествующего повелительного предложения.

Семантическая и интонационная характеристика

Что касается значения повелительных предложений с ПВЧ, то они всегда обращены к адресату и всегда требуют от него тех или иных действий. Они содержат в себе побуждение, т. е. «форму речевого воздействия на окружающую среду в целях организации или перестройки ее в соответствии с требованием говорящего».²⁷ Побуждение предполагает подчинение объекта речи воле говорящего.

Как отмечает Ю. В. Ванников,²⁸ совпадение в одном лице адресата повеления и субъекта требуемого действия образует специфическую семантическую структуру повелительных предложений и вообще является объективным критерием для определения «повелительности» предложения. Повелительными мо-

²⁴ Б. А. Ильиш, указ. соч., стр. 260.

²⁵ В. Н. Жигadlo, И. П. Иванова, Л. Л. Иофик, ук. соч., стр. 230.

²⁶ Г. А. Вейхман, К вопросу о синтаксических единствах. ВЯ, 1961, № 2, стр. 92.

²⁷ А. В. Прокопчик, Структура и значение побудительных предложений в современном русском литературном языке. Автореф. канд. дисс., М., 1955, стр. 11.

²⁸ Ю. В. Ванников, Безглагольные повелительные конструкции в русском языке. Ун-т Дружбы народов им. П. Лумумбы. М., 1962, стр. 4.

гут быть предложения только со значением 2-го лица ед. и мн. числа и 1-го лица мн. числа.

Оттенки побудительного значения, выраженного в повелительных предложениях с ПВЧ, представляют различную степень воздействия говорящего на побуждаемого.

Повелительные предложения с ПВЧ выражают различные модальные аспекты частных видов побуждения, которые определяются характером отношений между общающимися в условиях данной ситуации.

Повелительные предложения с ПВЧ отличаются особой эмоциональностью. Эмоциональную окраску придает повелительному предложению с ПВЧ наличие в нем ПВЧ. В зависимости от выражаемых эмоций, волеизъявление может носить различный характер — от приказа до совета, предложения или просьбы, а также иметь разнообразные эмоциональные оттенки.

Характер же волеизъявления и его эмоциональные оттенки в самой форме повелительного наклонения глагола ПЧ не выражаются. В ней не содержится указания на то, требует, просит или советует говорящий совершить данное действие. Эти значения, а также та или иная экспрессивная окраска волеизъявления передаются с помощью целого ряда других языковых средств, которые могут придать волеизъявлению любой характер и любую экспрессивную окраску. Характер волеизъявления повелительных предложений с ПВЧ выражается при помощи ПВЧ. Повелительные предложения с ПВЧ могут выражать приказание, просьбу, призыв и предложение в зависимости от характера ПВЧ.

Рассмотрим, какие значения передаются различными вопросительными сочетаниями ПВЧ.

Will you в роли ПВЧ смягчает приказание, превращая его в просьбу.²⁹ По мнению Дж. О. Керма³⁰, will you употребляется и в тех случаях, когда высказывание является скорее восклицанием, чем просьбой.

Согласно мнению информантов, would you употребляется в том же значении, что и will you, но выражает большую степень увещания. Как отмечает Р. Кингдон³¹, некоторые предпочитают повелительные предложения с вопросительной формулой would you, считая с более вежливой.

²⁹ А. С. Хорнби, Конструкции и обороты современного английского языка. М., 1957, стр. 265; W. S. Allen, Living English Structure. London, 1959, стр. 166.

³⁰ G. O. Curme, A Grammar of the English Language, Vol. III, Syntax. Boston, New York, Chicago, Atlanta, San Francisco, Dallas, London, 1931, стр. 434.

³¹ R. Kingdon, The Groundwork of English Intonation. London, New York, Toronto, 1958, стр. 253.

Won't you в роли ПВЧ превращает приказание в приглашение сделать что-либо³². Г. Шеурвегс³³ считает won't you сочетанием, выражающим просьбу в большей степени (more entreating), чем will you. По мнению У. С. Аллена³⁴, won't you — это напоминание о том, чтобы собеседник не забыл сделать что-либо.

Can't you присоединяется к ПЧ, т. е. повелительному предложению, в довольно агрессивном, саркастическом значении и передает оттенок нетерпения. Как отмечает Дж. О. Керм³⁵, can't you употребляется в тех случаях, когда просьба выражается с нетерпением: "Wait a minute, can't you?" cried Easton roughly. (Tressell, RTP, 328).

Как было сказано выше, shall we в роли ПВЧ означает совет или предложение, т. е. призыв к совместному действию.

Так как различные значения повелительных предложений с ПВЧ передаются главным образом вопросительными сочетаниями, содержащимися в ПВЧ, интонация и значение повелительных предложений с ПВЧ не так тесно связаны между собой, как это наблюдается в повествовательных и восклицательных предложениях с ПВЧ. Интонация повелительных предложений с ПВЧ зависит, как правило, от того, в какой форме, утвердительной или отрицательной, стоит глагол в ПЧ.

Интонация повелительных предложений с ПВЧ рассматривается подробно в работе Дж. Д. О'Коннора³⁶. Наш обзор интонации основывается на названной работе.

В зависимости от нисходящего или восходящего тона в конце ПЧ и ПВЧ выделяются следующие две основные интонационные модели:

Модель I. Нисходящий тон в ПЧ, восходящий тон в ПВЧ.

К этой интонационной модели прибегают только в тех случаях, когда глагольная форма повелительного наклонения в ПЧ утвердительная. В ПВЧ выступают следующие вопросительные сочетания:

а) ПЧ + will you:

Oh Bill — ↘ wake me, ↗ will you? (PY 21, Williams, 37)

Give me a moment to ↘ think, ↗ will you? (PY 24, Ross, Singer, 87)

Andrew, do the ↘ drinks for me, ↗ will you? (PY 23, Williams, 43)

³² A. S. Hornby, ук. соч., стр. 265.

³³ G. Scheurweghs, Present-Day English Syntax, London, 1961, стр. 344.

³⁴ W. S. Allen, Living English Speech, London, New York, Toronto, 1958, стр. 101.

³⁵ G. O. Curme, ук. соч., стр. 434.

³⁶ J. D. O'Connor, The Intonation of Tag Questions in English. English Studies, Vol. XXXVI, No. 3, 1955, стр. 102—104.

6) ПЧ + would you:

Be a good chap and bring it ↘ round, ↗ would you? (Cecil, DL, 93)

Forgive me if I go on with ↘ this, ↗ would you? (PY 25, Boland, 281)

Close the door ↘ after me, ↗ would you, Keable? (PY 15, Sieveking, 322)

в) ПЧ + can't you:

Keep quiet in ↘ there, ↗ can't you? (Lindsay, BS, 90)

Oh, shut up, Pa — sit ↘ down, ↗ can't you? (PY 16, Ackland, 70)

Make up your ↘ mind, ↗ can't you? (PY 15, Webber, 414)

г) ПЧ + shall we:

Let's call the whole thing ↘ settled ↗ shall we? (PY 18, Ross, Singer, 121)

Let's have an ↘ other drink, ↗ shall we? (PY 24, Ross, Singer, 106)

Let's sit ↘ down, darling, ↗ shall we? (PY 12, King, 520)

Let's have some ↘ more of this, ↗ shall we? (Osborne, E, 69)

Модель II. Восходящий тон в ПЧ, нисходящий тон в ПВЧ.

В отличие от первой интонационной модели эта интонационная модель наблюдается в тех случаях, когда глагольная форма повелительного наклонения в ПЧ утвердительная и отрицательная. В ПВЧ употребляются следующие вопросительные сочетания:

а) ПЧ (утвердительная) + won't you.

Be quiet as you ↗ can, ↘ won't you? (PY 19, Williams, 87)

Remind me to give it you ↗ back, ↘ won't you? (PY 12, King, Cary, 361)

Sit ↗ down, ↘ won't you? (PY 15, Williams, 209)

б) ПЧ (отрицательная) + will you:

Don't ↗ listen to her, ↘ will you? (Cecil, DL, 78)

Don't ↗ worry, ↘ will you? (PY 19, Lonsdale, 371)

Don't forget to send the old cer ↗ tificate, ↘ will you? (PY 20, Fairchild, 379)

Нисходящий тон в ПВЧ предполагается в тех случаях, когда говорящий настаивает на том, чтобы собеседник сделал что-либо.

По мнению информантов, неглагольная ПВЧ всегда произносится восходящим тоном.

В связи с повелительным предложением с ПВЧ возникает вопрос — является ли оно повелительным или переходит в ряд вопросительных предложений.

В ответе на этот вопрос можно исходить из точки зрения Н. Я. Лойфмана³⁷, согласно которой следует различать вопросительные предложения по форме и по значению. По форме повелительные предложения с ПВЧ можно считать вопросительными, так как у них имеются формальные признаки вопросительного предложения — порядок следования глагола и местоимения в ПВЧ и вопросительный знак. Однако в аспекте значения нам представляется более рациональным рассматривать их как повелительные, так как они требуют того или иного действия со стороны собеседника, т. е. выражают побуждение, хотя повелительным предложениям с ПВЧ, как мы увидим несколько ниже, присущ и вопросительный характер. Итак, ПВЧ не изменяет характера ПЧ по цели высказывания.

Действие, требуемое от собеседника, как отмечает Ч. Фриз,³⁸ сопровождается определенными ответными реакциями (*oral responses*). Как показывает собранный нами материал, ответные реакции на повелительные предложения с ПВЧ, сопровождающие то или иное действие, сходны с ответами на общий вопрос, что свидетельствует о том, что для повелительных предложений с ПВЧ характерна вопросительность, хотя и слабо выраженная:

«Tell him to come on in, will you?» Dr Pederson said.

«But of course,» Betsy replied, and she walked out of the room. (Masters, A, 16)

Be as quick as you can, won't you? — Yes, darling, of course. (PY 19, Williams, 87)

«Well, get me a pound on Simply Splendid, will you? — «I will if you like,» said Archie, «but you might as well tear the money up.» (Cecil, DL, 29)

Remove that hand will you? — Certainly. (NED, Orton, 223)

So don't make fun of it, will you. — Of course not. (PY 22, Sherriff, 23)

В нашем материале ответные реакции связываются только с повелительными предложениями с *will you* и *won't you*.

* *
*

На основе проведенного для данной статьи анализа можно сделать следующие выводы.

Повелительные предложения с ПВЧ — это характерные для английского языка синтаксические структуры, состоящие из двух

³⁷ Н. Я. Лойфман, О некоторых вопросах изучения вопросительных предложений. Тезисы докладов на межвузовской лингвистической конференции. Горький, 1958, стр. 11.

³⁸ Ch. C. Fries, *The Structure of English*. New York, Burlingam, 1952, стр. 48.

частей — повелительного предложения и краткого вопросительного отрезка речи, присоединенного к нему, обозначаемых соответственно как присоединяющая часть (ПЧ) и присоединенная вопросительная часть (ПВЧ). Специфику повелительным предложениям с ПВЧ придает наличие ПВЧ.

В зависимости от наличия или отсутствия в ПВЧ глагола выделяются следующие варианты:

а) глагольная ПВЧ, выраженная местоимением *you* или *we* и глаголом-репрезентантом *will, would, shall* или *can*;

б) неглагольная ПВЧ, выраженная междометием *eh, heh* или *huh*.

Хотя глагольная ПВЧ структурно не зависит от ПЧ, ее можно считать полузависимой в том смысле, что она не употребляется без ПЧ.

ПВЧ является предложением: в глагольной ПВЧ подлежащим служит местоимение, а сказуемое выражено глаголом-репрезентантом, неглагольная ПВЧ является предложением, выраженным одним словом.

ПЧ всегда односоставное повелительное предложение.

По количеству предикативных единиц выделяются монопредикативная и полипредикативная (би- и трипредикативная) ПЧ. ПВЧ всегда монопредикативная.

По соотношению утверждения и отрицания в ПЧ и ПВЧ наблюдается следующее чередование: утверждение + утверждение, утверждение + отрицание и отрицание + утверждение.

Связь между ПЧ и ПВЧ присоединительная.

Повелительное предложение с ПВЧ представляет собой синтаксическое единство.

ПВЧ не изменяет ПЧ по цели высказывания, а лишь придает ей ослабленную вопросительность, проявляющуюся в реакции на повелительное предложение с ПВЧ. Ответные реакции сходны с ответами на т. н. общий вопрос.

Повелительные предложения с ПВЧ выражают различные модальные аспекты частных случаев побуждения.

Принятые сокращения

Braine, RT — J. Braine, *Room at the Top*. Moscow, 1961.

Carter, FS — D. Carter, *Fatherless Sons*. Moscow, 1957.

Cecil, DL — H. Cecil, *Daughters of Law*. London, 1961.

FAB — *Famous American Plays of the 1950s. The Laurel Drama Series, Selected and Introduced by Lee Strasberg*. New York, 1962.

Faulkner, RN — W. Faulkner, *Requiem for a Nun*. Penguin Books, 1961.

Gordon, LDR — G. Gordon, *Let the Day Perish*. Moscow, 1961.

- Heym, C — S. Heym, *The Crusaders*, Moscow, 1951.
 Lindsay, BS — J. Lindsay, *Betrayed Spring*. Moscow, 1955.
 Maltz, SS — A. Maltz, *Selected Stories*. Moscow, 1951.
 Masters, A — D. Masters, *The Accident*. London, 1960.
 Miller, CP — Arthur Miller's *Collected Plays*. New York, 1957.
 NED — *New English Dramatists*. Penguin Books, 1965.
 Neill, DWE — E. O'Neill, *Ah, Wilderness! and Days without End*, London.
 Osborne, E — J. Osborne, *The Entertainer*. London, 1961.
 Parker, SS — D. Parker, *Short Stories and Poems*. Moscow, 1959.
 PY 11—26 — *Plays of the Year*. Chosen by J. C. Trewin, Vols. XI—XXVI. London ELEK-New York, 1955—1964.
 Tressell, RTP — R. Tressell, *The Ragged Trousered Philanthropists*. Moscow, 1957.
 10 SP — *10 Short Plays*. Edited and Introduced by M. Jerry Weiss. New York, 1961.

KÜSIVA LISANDKONSTRUKTSIOONIGA KÄSKLAUSED KAASAEGSES INGLISE KEELES

G. Kiviväli

Resümee

Artiklis on vaatluse alla võetud inglise kõnekeelega iseloomulikud süntaktilised struktuurid, mis koosnevad kahest osast — käsklausest ja sellele lisatud lühikesest küsivast konstruktsioonist.

Analüüsi peamised tulemused on järgmised:

Küsiva lisandkonstruktsiooni struktuuri järgi võib eristada kaht varianti: verbaalset küsivat konstruktsiooni, mis väljendub küsivate kombinatsioonidega *will you, won't you, would you, can't you, shall we*, ja mitteverbaalset küsivat konstruktsiooni, mis väljendub interjektsioonidega *eh, heh, huh*.

Verb küsivas lisandkonstruktsioonis on abi- või modaalverb verbirepresentandi funktsioonis, mis esindab mitte kogu öeldist vaid ainult osa sellest.

Kuigi küsiv lisandkonstruktsioon struktuurilt ei sõltu eelnevast käsklausest, võib teda vaadelda kui teatud määral sõltuvat konstruktsiooni, kuna teda ei saa tarvitada ilma eelneva käsklausega.

Küsiv lisandkonstruktsioon on struktuurilt lõpetatud, kuid semantiliselt mittetäielik lause, kus aluseks on pronoomen *you* või *we*, öeldiseks aga verbirepresentant *will, would, shall* või *can*. Mitteverbaalne küsiv lisandkonstruktsioon on ühesõnaline lause.

Käsklause on üheliikmeline lause, kusjuures verb käskivas kõneviisis võib olla kas jaatavas või eitavas vormis.

Käsklause võib olla kas mono- või polüpredikatiivne, kuna küsiv lisandkonstruktsioon on alati monopredikatiivne.

Seost analüüsivate süntaktiliste struktuuride mõlema osa vahel võib vaadelda kui lisandseost (присоединение).

Käsklause küsiva lisandkonstruktsiooniga on süntaktiline tervik.

Küsiv lisandkonstruktsioon ei muuda käsklause olemust väljenduse eesmärgi poolest. Käsklaused küsiva lisandkonstruktsiooniga väljendavad käsku, palvet, soovi või ettepanekut, kuid küsiva konstruktsiooniga lisandub nõrgalt väljendatud küsimus. Analüüsivate süntaktiliste konstruktsioonide küsiv iseloom ilmneb kaasvestleja antud vastustes, mis on sarnased nn. üldküsimustele antud vastustele.

IMPERATIVE SENTENCES WITH AN APPENDED INTERROGATIVE CONSTRUCTION IN CONTEMPORARY ENGLISH

G. Kiviväli

Summary

The article sums up the results of an investigation, the aim of which has been to give a morphological, syntactical and semantic analysis of imperative sentences with an appended interrogative construction, i. e. syntactical structures typical of colloquial English.

The main conclusions arrived at are as follows:

According to the structure of the appended interrogative construction two variants may be distinguished: a verbal interrogative construction expressed by the interrogative combinations *will you*, *won't you*, *would you*, *can't you*, *shall we* and a non-verbal interrogative construction expressed by the interjections *eh*, *heh*, *huh*.

The verb in the appended interrogative construction is an auxiliary or modal verb performing the function of representation.

Although the structure of the appended interrogative construction does not depend on the preceding imperative sentence, the interrogative construction may be regarded as semi-dependent because it cannot stand alone, i. e. without the preceding imperative sentence.

The appended interrogative construction is a structurally complete but semantically incomplete sentence, the subject being expressed by the pronoun *you* or *we* and the predicate by the verb *will*, *would*, *shall* or *can* in the function of representation. The non-verbal appended interrogative construction is a sentence expressed by one word only.

The imperative sentence is a one-member sentence, the verb in the imperative mood being either affirmative or negative.

The imperative sentence may have one, two or three subject-predicate units; the appended interrogative construction always has only one subject-predicate unit.

The mode of connection between the imperative sentence and the appended interrogative construction is annexation (присоединение).

Imperative sentences with an appended interrogative construction are syntactical unities.

The appended interrogative construction does not change the imperative sentence as to the purpose of the utterance, it only makes the whole syntactical structure weakly interrogative. The interrogative nature of the syntactical structures under review is revealed in the answers given by the interlocutor which are similar to those given to general questions.

DIALOOG KUI LINGVISTILINE KATEGOORIA

M. Laan

Saksa keele kateeder

Lingvistiliste üksuste funktsioonide ja vormide analüüsimisel on kõnekeele uurijad sageli kasutanud dialoogis esinevat keelelist materjali. Seda seepärast, et dialoog kõnekeele põhilise esinemisvormina on rikas rahvapärastest keelenditest ja vormidest. Keele tõeline olemus, nagu ütleb L. B. Štšerba, avaldub just dialoogis, kus sepiistatakse uusi sõnu, vorme, kõnekäände¹.

Uurimisobjektina on lingvistid enamasti vaadelnud dialoogi mõnda komponenti. Näit. on uuritud küsimuse struktuuri ja selle seost funktsiooniga. Või jälle vastuse süntaktilist struktuuri, eriti aga vastusele tüüpilisi väljajääteliste lausete vorme. Dialoog iseisva konstruktsioonina, s. t. dialoogi komponentide seos ja vastastikune sõltuvus on uurimisobjektiks tunduvalt harvemini. Vanimaks teadaolevaks tööks sellel alal on P. L. Jakubinski artikkel «Dialoogilisest kõnest». L. P. Jakubinski lähenes dialoogile kui funktsionaalsele kategooriale², teda huvitas dialoogi kommunikatiivne eesmärk ja rida sellega seotud mittelingvistilisi küsimusi. Hilisematel aastatel domineerib dialoogi uurimisel lingvistiline suund. Vene keele dialoogilise kõne kohta võiks nimetada töid, nagu N. J. Švedova «Vene kõnekeele süntaksi peajooni», M. L. Mihhlina dissertatsiooni «Tähelepanekutest dialoogilise kõne süntaksi kohta» ja T. G. Vinokuri «Mõningatest dialoogilise kõne süntaktilistest iseärasustest». Seoses kõnekeele laienenud õpetamisega võõrkeeltes on Nõukogude germanistid reas töödes käsitlenud inglise või saksa keele dialoogi (S. S. Berkner, V. T. Dimitrijeva, N. K. Komarov, L. M. Mihhailov, E. A. Trofimova, M. J. Vais, G. V. Valimova jt.).

Välismaa lingvistid (kättesaadavate tööde põhjal) pole lähtunud dialoogi kui iseseisva kategooria uurimisest, vaid on analüüsi-

¹ Л. Б. Щерба, Восточно-лужицкое наречие, Пг., 1915, стр. 3 и 4 приложения.

² Л. Б. Якубинский, О диалогической речи — «Русская речь», Л. Б. Щерба, изд. Фонетич. Инст. Языков, Пг., 1923, стр. 120—184.

nud dialoogilist kõnet kõnekeele ja konteksti uurimise käigus. Inglise kõnekeele uurijatest võiks nimetada C. Friesi, N. Francist, saksa kõnekeele uurijatest K. Baumgärtnerit, S. Weberit, H. Brinkmanni.

Käesoleva kirjutise eesmärgiks on üldistada seniseid dialoogi-uurimise tulemusi ja teha järeldusi vajalike uurimisülesannete kohta.

Terminoloogiast

Dialooge on proosateoses sageli lehekülgede kaupa, draamateos koosneb dialoogidest ja monoloogidest, vestlus toimub dialoogides. Taolise makroteksti raames dialoogi uurimise ülesanne kuuluku teksti uurimise, tekstoloogia valdkonda. Dialoogi uurimiseks iseseisva konstruktsioonina on vaja uurimisobjekti piiritleda. Selleks liigendatakse tekst suhtelise mõtteterviku alusel iseseisvateks dialoogideks. Enamasti dialoogi esimene komponent sisaldab uut informatsiooni, mis määrab funktsionaalse seose järgnevate komponentidega. Dialoogi järgnevad komponendid sõltuvad esimese vormist ja kommunikatiivsest ülesandest. Dialoogi komponente, mida iseloomustab kõneleja vahetus, nimetatakse repliikideks. Repliigi mõiste ei kattu lause mõistega, sest lause on suhteliselt lõpetatud süntaktiline üksus. Repliik aga võib koosneda mitmest lausest, samuti nagu (spontaanses kõnes) üks lause võib jaotuda kahe repliigi vahel.

«... —, dann könnten wir den Kerl im Theater loswerden, und ...»

«Und du Verwaltungsdirektor werden.» (Söhne, S. 262)

Dialoogi repliigid tekivad vastastikuse mõjutamise käigus kaastvestlejate reageerimiste ahelana, kuni dialoogi mõtteline eesmärk on realiseeritud.

Seega, eraldades dialoogi teistest kõnevormidest ja iseloomustades teda tema funktsiooni seisukohast, võime dialoogi kui kõnekeele funktsionaal-stilistilist kategooriat defineerida temaatiliselt piiritletud repliikide vahetusena, kus vestluse käigus üks repliik kutsub esile teise. See välise tunnuse põhjal antud dialoogi definitsioon on lähtekohaks dialoogi lingvistilisele määratlusele. Viimane osutub võimalikuks, sest mõttelise seose mõjul kujunevad repliikide vahel välja dialoogisisesed keelelise seostatuse vormid. Dialoogi komponentide keeleline seostatus väljendub kõigepealt intonatsioon (alati)³. Repliigi intonatsioon jääb lahtiseks, jääb hõljuma, kuni vestluspartner on vastanud⁴. Peale intonatsiooni võib repliikide vahel olla mitmesuguseid struktuuriliste ja semantiliselt seoste vorme. Struktuurilis-semantiliselt seostatud dialoogi

³ Н. Ю. Шведова, Очерки по синтаксису русской разговорной речи, М., 1960, стр. 281.

⁴ H. Brinkmann, Der deutsche Satz als sprachliche Gestalt «Wirken des Wort», Düsseldorf, 1952, Sonderheft, S. 231.

repliike nimetatakse dialoogiliseks ühtsuseks (диалогическое единство). Selle mõiste tõi lingvistikasse N. J. Švedova⁵.

Dialoogilist ühtsust liigitavad lingvistid kahe- ja kolmeliikmeliseks. Esimesel juhul koosneb dialoog kahest repliigist, küsi- või jutustavast lausest ja sellele reageerivast lausest. Kolmeliikmelise dialoogilise ühtsuse puhul on esimeseks repliigiks jutustav lause, teiseks temast sõltuv küsilause, mis küsimuse vormis kordab mõnd esimese repliigi sõna, sõnade rühma või kogu lauset (непечнор), ja kolmandaks, vastus küsimusele⁶. Kolmeliikmelisest dialoogilisest ühtsusest räägivad lingvistid aga ka kahest repliigist koosneva dialoogi puhul. Siis koosneb teine repliik kahest lausest, kus esimene on emotsionaalne, teine aga mõtteliselt seostatud reageerimine küsimusele⁷. Mõlemad, nii esimene kui ka teine struktuurilis-semantiline kolmeliikmelise dialoogi määratlus ise-loomustavad dialoogide üksikuid võimalikke esinemisvorme. Dialoogi kõigi põhiliste struktuurimudelite kindlakstegemiseni oleks õigem dialooge diferentseerida formaalse struktuurilise tunnuse, s. o. replitseerimiste arvu järgi.

Ülaltoodud terminoloogiat kasutavad põhiliselt Nõukogude dialoogiuurijad. Välismaa autorid ei kasuta mõtteliselt ja struktuuriliselt seotud kõne üksuste kohta ei termineid «dialoog» ega ka «repliik». Ch. Fries nimetab dialoogis esinevaid repliike kõneüksusteks (utterance units). Kõnet alustavale repliigile annab Ch. Fries funktsioonile vastava situatsiooni kõneüksuse («situation utterance unit») nimetuse, vastust nimetab ta vastavalt kommunikatiivsele ülesandele vastuse kõneüksuseks (response utterance unit)⁸. Seega kirjeldab Ch. Fries repliike funktsionaal-kommunikatiivsest aspektist, mis on kooskõlas tema lähenemisega keelele kui funktsionaalsele kategooriale (a functioning tool of society).

Hennig Brinkmann, saksa kõnekeele uurija, nimetab mõttelist tervikut moodustavaid lauseid, mille struktuuris avaldub süntaktiline seos eelneva lausega, partnerlauseiks (Partnersätze)⁹, mis ühtib eespool toodud N. J. Švedova dialoogilise ühtsuse lingvistilise definitsiooniga.

Vaatamata mõningatele erinevustele terminoloogias, on üldmainitud lingvistide uurimisobjektiks dialoogi repliikide struk-

⁵ Н. Ю. Шведова, Очерки по синтаксису русской разговорной речи, М., 1960, стр. 281.

⁶ М. Я. Вайс, Синтаксические структуры диалог. речи нем. языка и их стилистическое использование в современном немецком языке. Автореф., Л., 1964, стр. 11.

⁷ А. Т. Кривоносов, О модальных частицах в немецком языке. — Структурные особенности разговорной речи, Иркутск, 1963.

⁸ C. Fries, The Structure of English. New York, 1952, p. 250.

⁹ H. Brinkmann, Satzprobleme. — «Wirkendes Wort», Düsseldorf, 1957/58, H. 8, S. 249.

tuuri iseärasused, peamiselt semantilis-struktuurilised seosed repliikide vahel. Repliikide struktuurile ei avalda mõju aga mitte ainult dialoogisisised tegurid, vaid ka mitmesugused välised faktorid.

Keeleväliste tegurite mõju dialoogile

Dialoogilise kõne struktuurilisi iseärasusi võib mõista ainult seoses teda mõjustavate keeleväliste teguritega. Dialoogiuurijad viitavad oma töödes kõnekeelele omasele situatiivsusele ja emotsionaalsusele kui teguritele, mis avaldavad mõju dialoogi struktuurile. Töödes puudub aga mõninga struktuurilise iseärasuse konkreetne seletamine ja põhjendamine teda esilekutsunud keelevälise teguriga. Uheks huvipakkuvaks tööks sellel alal on Hennig Brinkmanni artikkel «Die Konstituierung der Rede»¹⁰, kus autor teatud sõnaliikide (pronoomenite, konjunktsioonide, partiklite) kasutamist kõnes põhjendab keeleväliste faktorite mõjuga.

Situatsiooni all mõistame konkreetset olukorda, milles vestlus toimub. Siia kuulub kõik, mis on vestlejate vaateväljas, kaasa arvatud vestlejad ise. Dialoogile on iseloomulik, et ümbritsevaid meeleliselt tajutavaid olendeid ja nende tegevust ei nimetata. Uheks taoliseks situatsiooni mõju keeleliseks väljendiks repliikides on aluse puudumine isikulise asesõna vormis. Samuti ei kasutata, enamasti antud esemetest ja isikutest kõneldes, nimetavaid keelelisi vahendeid (substantiive), vaid neid asendavaid pronoomeneid. Viimastest eelistatakse (sageli osutava žesti, miimika saatel) demonstratiivseid pronoomeneid personaalsetele.

Situatsioon mõjustab eriti esimese repliigi struktuuri, mis on lühendatud või transformeeritud. Küsimusi, nagu: Wer?; Du?; Kommunist?, võib mõista ainult situatsiooni kaudu. Kuid ka teise repliiki kandub üle situatsioonist tingitud elementide väljajätmine. Sageli ei nimetata dialoogis kordagi teemat.

(1) «Hast du alles gut überstanden?»

(2) «Ja! Du auch?»

(3) «Ich?» Und er lacht. «Ich auch, ja, Gott sei Dank!»

(4) «Na, dann ist ja alles gut!» (Väter, S. 26)

Dialoogis kasutatakse verbaalset süntagmat «alles gut überstanden haben» kahe erineva teema kohta, kusjuures kumbagi teemat ei nimetata. 1. repliigis on see abielumehe küsimus sünnituse möödumise kohta, 2. repliigis naise humoorikas küsimus mehe pohmelusest väljapuhkamise kohta.

Situatsiooniga on lähemalt seotud vestlejate ühine keskkond, nende vastastikuste suhete kogumik «Horizont»¹¹, «бытовой кон-

¹⁰ H. Brinkmann, Die Konstituierung der Rede. — «Wirkendes Wort», Düsseldorf, 1965, H. 3, SS. 157—172.

¹¹ H. Brinkmann, op. cit., S. 162.

текст»¹², mis avaldab otsest mõju keeleliste vahendite valikule dialoogis. Isikuid, keda juuresolijad tunnevad, ei nimetata päris-nimega, vaid kas personaalpronoomeni 3. isikuga või demonstraatiivpronoomeniga.

«Kann er denn dafür?»

«Ist er der Schuldige? Sind's nicht die dort?» (Väter, S. 60)

Isikuid, kellest kõneldakse dialoogis, pole vestlejate-sõdurite vaateväljas. Nad on aga eelnenud sündmuste käiguga saanud kõigile niivõrd tuntuks, et piisab personaalpronoomenist er seltsimehe tähistamiseks, kes vangid mahalaskmisele viis, ja demonstriaatiivist die viitamiseks ülemustele, kes selleks käsu andsid.

Kõne emotsionaalsus ei väljendu mitte ainult keelelises vormis, vaid sellega kaasnevad ka kõneleja miimika ja žestid. Viimaste osatähtsus on dialoogis sageli nii suur, et nad, sõnalist väljendit asendades astuvad dialoogis repliigi õigustesse.¹³

(1) «Verswinde, Fritz!»

(2) «Wohin, Jan?»

(3) Hardekopf wies die Kaimauer hinunter.

(4) «Ins Wasser?»

(5) «Nein, in eine von den Jollen.» (Väter, S. 289)

Selles dialoogis on kolmandaks repliigiks esimese kõneleja žest jõe suunas (3). See osutub aga kommunikatiivselt ebapiisavaks, sest küsimust (2) korratakse uue repliigiga (4), millele järgneb žesti konkretiseerimine sõnalises vormis (5).

Kõne emotsionaalsuse keelelisel väljendusel on foneetiline, grammatiline ja leksikaalne aspekt. Spontaanses kõnes tulevad need aspektid esile kõneleja subjektiivse suhtumise kaudu öeldusse. Sageli ei reageeri kõneleja temale esitatud küsimusele otseselt, vaid toob vestlusse küsija seisukohalt ebatähtsaid elemente.

«Und was ist?»

«Alles gut abgelaufen. Ein Junge.» (Väter, S. 25)

Selle asemel, et kohe anda vastuses küsijat huvitavat informatsiooni «Ein Junge» (poiss on sündinud), teatab küsitu kui ema enese seisukohalt kõige südamelähedasema uudise «alles gut abgelaufen» (kõik läks hästi). Toodud näites väljenduvad selgesti emotsionaalsuse kaks aspekti: 1) leksikaalne (täiendavate sõnaühendite sissetoomine) ja 2) grammatiline (inversioon). Kindlasti ei puudu siin ka kolmas emotsionaalsuse aspekt — emotsionaalne intonatsioon.

Kõrvutades kahe olulise keelevälise faktori — situatsiooni ja emotsionaalsuse — mõju keeleliste vahendite kasutamisele dialoogi repliikides, märkame kaht vastandlikku tendentsi. Kõne situatiiv-

¹² Т. Г. Винокур, О некоторых синтаксических особенностях диалогической речи в современном русском языке, Автореф., М., 1953, стр. 6.

¹³ Л. П. Якубинский, О диалогической речи. — «Русская речь». Л. Б. Щерба, изд. Фонет. инст языков, Пг., 1923, стр. 120.

sus põhjustab sageli keeleliste elementide väljajätmise kõnest, olles seega keeleliste vahendite ökonoomia, napisõnalisuse põhjuseks. Kõne emotsionaalsus aga toob sageli kõnesse täiendavaid elemente ja põhjustab repliikides paljusõnalisust, sõnade tulva.

Dialogi repliikidevahelised seosed

Dialogist kui lingvistilisest kategooriast ja suhteliselt iseseisvast lingvistilisest konstruktsioonist võime kõnelda repliikidevahelise struktuurilis-semantilise seostatuse tõttu. Seostatus konstruktsioonis eeldab sellise semantika ja struktuuriga tsentri figureerimist, mis teeb paratamatuks nii järgnevate repliikide esinemise kui ka nende struktuurilis-semantilise seose tsentriga. Kõneüksuste seostatuses, piltlikult raamiks nimetatud ¹⁴, oli Ch. Friesil tsentriks situatsiooni-kõneüksus — küsimus. Selles tavaliselt dialoogi alustavas repliigis väljendub keeleliste vahendite seos funktsionaalse faktoriga, konstruktsiooni sisu, tema kommunikatiivne eesmärk. Küsimuses peituvad seostavad struktuurilis-semantilised funktsioonid ja järgnevate repliikide seostatuse vormid küsimusega on dialoogiüriajate töö peamiseks objektiks. Uurimistulemustes asuvad dialoogiüriajad tavaliselt seisukohal, et küsilause, sisaldades kõiki lauset moodustavaid elemente, on struktuurilises mõttes iseseisev lause ja et järgnevad repliigid, sisaldades ainult vastastikuseks arusaamiseks vajalikke elemente, on struktuuriliselt väljajätelised laused. Küsimuse selline lahendus ei ava aga repliikide seostatuse keerukust ja vajab täpsustamist.

Selliste küsilauseste struktuurile, mille esitamisega küsija tahab saada uut informatsiooni (mitte aga näit. kinnitust oma arvamusel), on omane eriline nn. küsiv inversioon ¹⁵. Inversiooni põhjustab lauses esimesel kohal seisev sõna, milleks on tegusõna pöördeline vorm (üldküsimuse puhul), või küsiv asesõna (eriküsimuse puhul). Küsiv asesõna (pronoomen või adverb) nõuab oma semantikale vastavat puuduvat lauseliiget. Puuduv lauseliige (enamasti objekt, adverbiaal, predikatiiv või atribuut) seisab järgnevas lauses. Seega puudub küsilausel sisuline seos tegelikkusega; ta on ebatäieliku predikatsiooniga lause, mille kasutamine on mõeldav konstruktsioonis, kus järgnevad komponendid annavad sisulise predikatsiooni. L. M. Mihhailov nimetab küsilauseste küsivaid sõnu x-sõnadeks, mis vastuses nõuavad x-i avamist ¹⁶. V. G. Admoni järgi väljub teatud sõnadest süntaktiliste suhete projektsioon, mis ulatub kaugele üle lause piiridest

¹⁴ C. Fries, *The Structure of English*, New York, 1952, p. 165.

¹⁵ Л. Г. Фридман, *Вопросительные предложения в современном немецком языке*, Автореф., М., 1960, стр. 5.

¹⁶ Л. М. Михайлов, *О некоторых типах односоставных предложений в немецкой диалогической речи*, Уч. зап., М., 1964.

ja kutsub esile lausetevahelise süntaktilise parallelismi¹⁷. Küsi-
vast asesõnast *wer?* (küsilause alus) väljuva projektsiooni ees-
märgiks on teateid saada isiku kohta. Soovitud informatsiooni
annab 2. repliigi küsiva asesõnaga samas süntaktilises funktsioo-
nis seisev sõna, sõnaühend või terve lause. Konstruktsioon tervi-
kuna moodustab täieliku predikatsiooniga üksuse, mille kompo-
nentide vahel valitseb süntaktiline parallelism. Põhilise süntak-
tilise parallelismi kõrval esineb küsiva asesõna puhul ka süntak-
tilise funktsiooni nihkeid (näit. ei vastata küsimusele *warum?*
põhjusemäärusega, vaid kohamäärusega). Selliste nihete puhul
avaldavad mõju mitmesugused, osalt eespool kirjeldatud keele-
välised tegurid.

Üldküsimustes, mis üldjoontes nõuavad seisukohavõtmist, on
repliikidevahelised seosed veelgi selgemad. Eitavad või jaatavad
partiklid vastuses loovad repliikidevahelise modaalse seose ja
kogu konstruktsioonist süntaktilise terviku.

Võrreldes esimese repliigiga on dialoogilisele kõnele iseloo-
mulik süntaktiliste üksuste vähenemine järgnevates repliikides.
Esimeses repliigis on 4—6, reeglina mitte aga vähem kui
3 süntaktilist üksust. Järgnevates repliikides on aga tavaline 1—2
süntaktilise üksuse esinemine. Seega ei ole vastastikuseks aru-
saamiseks vaja korrata kõiki esimeses repliigis süntaktiliste
üksustega väljendatud mõtteid. Huvitav on, et sageli jääb korda-
mata just dialoogi peamist mõtet väljendav verbaalne süntagma.

«Mein Herr, haben Sie den Spiegel zertrümmert?»

«Jawohl, hab ich,» bekannte er mannhaft.

«Warum?» wollte der Ordnungshüter wissen.

«Aus Wut!» antwortete der Täter und warf sich in die Brust.

(Väter, S. 17)

Süntagmat «den Spiegel zertrümmern», mis on dialoogi tee-
maks, järgnevas kolmes repliigis uuesti ei formuleerita. Taolist
nähtub, kus verbaalse süntagmaga väljendatud informatsioon
püsib dialoogi repliikides kuni uue verbaalse mõtte tekkimiseni,
nimetab H. Brinkmann lausekonstandiks (Satzkonstanz)¹⁸. Lause-
konstant on dialoogis põhiliseks süntaktilise lühiduse loojaks. Dia-
loogi raamides on ilmselt ekslik lugeda mittetäielike lausete hulka
selliseid, kus eelmises repliigis esinenud lausekonstanti ei kor-
rata. Mittetäielikest lausetest võib dialoogi raames juttu olla
ainult siis, kui mõni seni dialoogis formuleerimata asjaolu jääb
keelelisse vormi valamata. Lausekonstandi tüüpilised struktuurid
ja süntaktilised funktsioonid erirepliikides, samuti tema osa dia-
loogi piirina, on huvipakkuvad küsimused, mis vajaksid käsitlemist.

¹⁷ В. Г. Адмони, Завершенность конструкции как явление синтаксической формы, ВЯ, № 1, 1958, стр. 111, 113.

¹⁸ H. Brinkmann, Die Konstituierung der Rede. — «Wirkendes Wort», Düsseldorf, 1965, H. 3, S. 170.

Dialoogis verbaalse süntagma mittekordamisega domineerivad järgnevates repliikides lauseliikmed (adverbiaal, predikatiiv, objekt, modaal), mida põhiliselt väljendatakse noomenitega. Nii näeme dialoogis süntaktilise lühiduse saavutamiseks nominaliseerimistendentsi, mis on paljude tänapäeva keelte põhiliseks arenemisteeks¹⁹. Ka tänapäeva saksa kõnekeeles on valdavaks nominaalne lausetüüp²⁰.

Tendentsi keeleliste vahendite ökonoomiale näeme dialoogis ka siis, kui dialoogi põhiteema on väljendatud nominaalse sõnaühendiga. Tüüpiline on järgnevates repliikides nominaalgrupi asendamine pronoomenitega, seega semantiline seos repliikide vahel.

1. Hast du dir ein neues Buch geholt?
2. Ja!
3. Aber da hättest du doch nur ein Wort sagen brauchen!
4. Ich habe es gekauft.
5. «Gekauft?» Erstaunt betrachtet sie den Band. Ist das nicht dasselbe, das du gelesen hast?
6. Ja, richtig.
7. Und das hast du gekauft?
8. Ja.
9. Aber du hast es doch schon gelesen?
10. Man kann es immer wieder lesen, Pauline. So was muß man im Hause haben.

(Väter, S. 33)

Dialoogi teemat väljendav sõnaühend «ein neues Buch» esineb ainult dialoogi esimeses repliigis. Kaheksal korral kasutatakse raamatust kõneldes asendavaid pronoomeneid järgmiselt.

4. repliik personaalpronoomen es objektina
5. „ demonstratiivpronoomen das subjektina,
demonstratiivpronoomen dasselbe predikatiivina,
demonstratiivpronoomen das attributiivlause objektina.
7. „ demonstratiivpronoomen das objektina
9. „ personaalpronoomen es objektina
10. „ personaalpronoomen es objektina, indefiniitpronoomenina kasutatud interrogatiivpronoomen was (tugevdatud partikliga es) objektina.

Iseloomulik 5. ja 6. repliigis (pärast autori «erstaunt betrachtet sie den Band») on üleminek personaalpronoomenite kasutamisele demonstratiivpronoomenitele, mis peegeldab situatsiooni mõju (kõnelejate osutamist nende ees lamavale raamatule). Kuuel juhul esinevad pronoomenid repliikides samas süntaktilises funktsioonis.

¹⁹ E. Rieser, Syntaktische Auflockerung und ihr Zusammenwirken mit dem Straffungsprinzip. — «Deutschunterricht», 7/8, 1965, S. 420.

²⁰ Л. М. Полякова, Стилистическое значение неполных предл. в совр. разг. нем. языке, Уч. зап. I. МГПИИЯ, М., 1963, т. 28, стр. 234.

sioonis, s. o. objektina, nagu sõnaühend «ein neues Buch» esimeses repliigis. Asendavate keeleliste vahendite kaudu on süntaktiline parallelism omane lausetele kui kommunikatiivsetele ühikutele üldse, eriti tüüpiline on see aga dialoogile.

Repliikidevahelise struktuurilise seose vormidest võib veel nimetada järgmisi:

1. Korrelaadid teises repliigis, mis asendavad 1. repliigi täis- tähenduslikke sõnu.
2. Määrsõnad teises repliigis, mis viitavad sellele, et käes- olev repliik jätkab eelmises väljendatud mõtet.
3. Sidesõnad (enamasti rinnastavad *und*, *aber*) teise rep- liigi algul. *Und* signaliseerib siin kaasvestleja eelmises rep- liigis väljendatud mõtte jätkamist, *aber* uue mõtte toomist vestlusse.
4. 2. repliigi jätkamine kõrvallausega.
5. 2. repliigi konstrueerimine paralleelselt esimese struktuuriga.
6. Inversioon 2. repliigis esimese mõjul, mis näitab, et 2. rep- liik on esimese süntaktiliseks jätkuks.
7. Emotsionaalsed sõnad 2. repliigi algul, mis ekspressiivselt kommenteerivad eelnevas öeldut ja on seega repliikide seos- tatuse väljenduseks.

Süntaktiliste, semantilis-grammatiliste ja struktuursete seoste liigid dialoogi repliikide vahel pole ees pool tooduga ammendatud. Seoste vormide uurimine on väga laialdane uurimisobjekt, sest iga dialoogi 2. repliigis esineb mõni seose variantidest, nn. järg- nevuse signaal (sequence signal) ²¹, mis viitab eelnevale repliigile ja on seega retrospektiivne.

Dialoogi uurimine ei peaks aga kaugeltki piirduma sellega, et avastada kõiki repliikidevaheliste seoste vorme. Ulesanne seisab pigemini selles, et leida uuritavale keelele kõige tüüpilisemaid dia- loogi struktuure ja kõige sagedamini esinevaid repliikidevahelise seose vorme. Praegu uuritakse ühesuguse põhjalikkusega nii sün- taktilise parallelismi tüüpilisi vorme kui ka harva esinevaid sün- taktilisi nihkeid. Uurimine tüüpilisuse seisukohalt eeldaks kaas- aegsete uurimismeetodite kasutamist, mida dialoogiurijad siiani pole teinud.

Küllaltki laialt uuritud napisõnalisuse kõrval dialoogis on aga sööti jäänud sõnade tulva, paljusõnalisuse uurimine. Paljusõna- lisus avaldub kiillausete, apositsioonide, ütete, vahelehhüüdude jne. põimimises dialoogi. Samuti pole uuritud tavaliselt sisuvaeste sõnaliikide (partiklite) rikastumist uue sisulise tähendusega. Ka omandavad dialoogis grammatilised vormid paradigmaatilise tähenduse kõrval sageli ekspressiivseid ja emotsionaalseid tähen- dusi, mis vajaksid uurimist. Viimast, stilistilise grammatika vald- konda kuuluvat uurimislõiku, tuleks dialoogi seisukohast pidada üheks huvipakkumaks.

²¹ Chr. Fries, *The Structure of English*, N. Y., 1952, p. 251.

LESIKAALSETE ÜHIKUTE INGLISE KEELEST EESTI KEELDE TÖLKIMISE PÕHIPRINTSIPE

U. Lehtsalu

Inglise keele kateeder

Kahe keele (antud juhul inglise ja eesti keele) leksikaalsete ühikute vahel ei ole teatavasti täpset vastavust.¹ Iga keele leksikaalsed ühikud on vastava keele süsteemi elemendid ja neid ei saa mehaaniliselt üle kanda teise süsteemi. Leksikaalsete ühikute kõrvutamine tõlketeoorias võib toimuda ainult nende poolt väljendatava sisu ühtsuse alusel.² Tõlkimisvõimalused sõltuvad seega tähenduslikust vastavusest kahe keele sõnavara elementide vahel.

Peamiste leksikaalsete ühikute, sõnade, tähenduste rahvuslikke iseärasusi võib seletada kolme põhimise teguriga, mis mõjustavad sõnatähenduste moodustumist vastavalt keele struktuurilistele iseärasustele.

Sõnatähenduse moodustumisele avaldavad mõju tähenduslikud seosed leksikaalsete-semantiliste sõnarühmade vahel, millesse sõna kuulub. Teisest küljest võib objektide klass, mida antud sõna tähistab, olla seotud rahvuslike iseärasustega. Kolmandaks ei tähista sõna üksikut objekti, vaid objektide klassi, s. t. sõnal on üldistuse algmed, mis loovad aluse mõiste tekkimisele ja mis on teataval määral tingitud tähistatava objekti või nähtuse funktsioonist ühiskonnas, sellele antavast ühiskondlikust hinnangust ja vastava objektide või nähtuste klassi tunnetatuse astmest. Erinevates keeltes grupeeritakse kõneobjekte erinevalt. See ei ole juhuslik, vaid reeglipärane nähtus.³

¹ Л. С. Бархударов, Общелингвистическое значение теории перевода. — Теория и практика перевода, изд. ЛГУ 1962, lk. 9.

² Erinevusi erinevate keelte leksikaalsete ühikute tähenduse mahu vahel on Ferdinand de Saussure'ist alates hakatud nimetama sõnaliste märkide keelesiseseks tähenduseks (vrd. «внутриязыковое значение», vt. A. A. Уфимцева, О типологическом изучении лексики. — Структурно-типологическое описание современных германских языков, М., 1966, lk. 222).

³ Vrd. näit. S. Ullmann, The Principles of Semantics, Glasgow, 1951, lk. 152 jj.; C. Rabin, The Linguistics of Translation. Aspects of Translation. — Studies of Communication, lk. 125.

Kõneldes tõlgitava teksti leksikaalsete ühikute tähendustest ja nende edasiandmisest vastavate leksikaalsete ühikute abil tõlkekeeles ei mõelda mitte nende leksikaalset tähendust, vaid tähendust antud konteksti raamides. Nii kitsamal kontekstil (sõnaühendil, lausel) kui ka laiemal kontekstil (ümbritsevatel lausetel, peatükil või kogu teosel) on oluline tähtsus vaste valikul tõlkekeeles.

Vastavusastmeid inglise ja eesti keele leksikaalsete ühikute vahel võib liigitada järgmiselt:

1. Eesti keeles võib puududa vaste inglise keele leksikaalsele ühikule kas täiesti või antud tähenduses. Selline äärmuslik nähtus esineb suhteliselt harva ja tuleb ilukirjanduslikus tõlkes ette peamiselt inglise oludega seotud, sageli üldrahvalikust keelest kõrvale kalduvate leksikaalsete ühikute puhul.⁴ Mis puutub aga üldiselt levinud mõisteid tähistavatesse leksikaalsetesse ühikutesse, siis ei tule ilukirjanduse tõlkimisel praktiliselt ette juhte, kus eesti keeles ei leiduks mingit ligikaudset vastet, mis laiendades annaks edasi vastava ingliskeelse leksikaalse ühiku tähenduse, näit. *sandwich-man* = *mees, kes kannab tänavatel reklaamplakateid*; *housemaster* = *Inglise koolides internaadis elavate õpilaste ülevaataja-õpetaja või koolijuhataja abi*.

2. Sagedamini esineb aga juhte, kus lähim eestikeelne vaste ei ammenda kogu ingliskeelse leksikaalse ühiku tähendust, s. t. ingliskeelne leksikaalne ühik on tähenduse mahult kitsam ja konkreetsem sisult rikkam kui eestikeelne vaste. Viimane nõuab seega vastavalt laiendamist.

3. Võib esineda aga ka vastupidine nähtus — inglise keele leksikaalne ühik võib olla tähenduse mahult laiem ja konkreetsem sisult vaesem kui lähim eestikeelne vaste. Siin võib eristada kahte liiki mittevastavust: a) inglise keele leksikaalne ühik võib olla mahult nii lai, et selle konkreetne kontekstiline tähendus ja seega ka eestikeelne vaste oleneb igal üksikul juhul kas kitsamast (sõnalisest) või laiemast (olustikulisest) kontekstist; b) inglise keele leksikaalne ühik võib olla küll mahult laiem kui lähim eestikeelne vaste, seejuures aga lahutatav konkreetse tähendusega leksikaalseteks-semanticisteks variantideks, mille tõlkimisel on võimalik teada sõnaraamatus leiduvatele leksikaalsetele tähendustele, neid tõlgitava konteksti nõuetele kohandades.

4. Juhte, kus ühetähenduslikule inglise keele leksikaalsele ühikule vastab kontekstist sõltumatult samuti ühetähenduslik leksikaalne ühik eesti keeles, esineb ilukirjanduse tõlkimisel suhteliselt harva, sest selline vastavus on võimalik peamiselt ainult terminoloogilise varjundiga sõnade puhul.

⁴ Vrd. A. B. Федоров, Введение в теорию перевода, М., 1958, lk. 139—140.

1. Tähenduse mahult kitsamate leksikaalsete ühikute tõlkimine.

Järgnevalt vaatleme juhte, kus inglise keele leksikaalne ühik on tähenduse mahult kitsam ja konkreetselt sisult rikkam eesti keele lähimast vastest. Selliste leksikaalsete ühikute tähenduse edasiandmiseks kasutatakse harilikult lähima eestikeelse vaste laiendamist.

Tähenduse mahult kitsamate verbide tõlkimine.

Inglise keeles on terve rida liittähendusega verbe, mille semantiline struktuur koosneb mitmest komponendist. Sellistele verbidele võib inglise keeles leida vastavaid sõnaühendeid, mille igas komponendis realiseeritakse liittähendusega verbi üks tähenduslik koostisosa e. semeem, näit. *to gush* = *to flow copiously*. Eesti keelde tõlgitakse selliseid liittähendusega verbe enamasti verbaalse sõnaühendi abil, milles verbi peatähendus e. tuumsemeem realiseeritakse sõnaühendi verbaalses komponendis, lisatähendus või -tähendusvarjund aga määruselises laiendis. Toome mõned näited: *Hailstones smashed against the windowpanes, zigzagged down the chimney and died in the fire* = *Raheterad laksatasid vastu aknaruute, tulid korstnast siksakis alla ja surid leegis* (Sillitoe, KD 63; 66); *There were perhaps forty men lolling on the red benches* = *Umbes nelikümmend meest istus lamaskledes punastel pinkidel* (Snow, CP 128; 110); *The service ended and the congregation trooped out* = *Jumalateenistus lõppes ja kogudus liikus salkadena kirikust välja* (Snow, 247; 211).

Mõnikord lahutatakse ingliskeelses verbis sisalduv täiendav mõttevarjund peatähendusest ja väljendatakse see rinnastavas seoses oleva leksikaalse ühikuga: *chaperoned by the maiden aunt* = *saadetuna ja valvatuna vallalise tädi poolt* (Galsworthy, IPh 29; 20).

Vahel tuleb verbi tõlkimisel, millele selle põhitähenduses leidub enam-vähem ammendav eestikeelne vaste, viimast laiendada ainult teatud tähenduses. Näitena võib tuua verbi *to dress*. Põhitähenduses vastab sellele kogu tähendust ammendav eestikeelne verb *riietuma*, ingliskeelne verb võib aga tähendada veel *pidu-* või *õhturõivaid selga panema* ja nõuab tõlkimisel vastava laiendi lisamist: *he did not remember ever having seen her in black, and the thought passed him: «She dresses even when she's alone»*. = *Soames ei mäletanud teda iialgi mustas näinud olevat ja tal käis mõte läbi pea: «Isegi üksi olles riietub ta õhtuks ümber.»* (Galsworthy, Ch 155; 86).

Vahel puudub eesti keeles ingliskeelsele verbile tähenduselt lähedane verbaalne vaste igas tähenduses ja selle semantiline

funktsioon antakse edasi tõlkes kasutatavat verbi laiendava määrusega. Põhisõnaks on sellisel juhul konkreetset sisult vaesem verb, mille valik sõltub suurel määral tõlgitavast kontekstist. Näitena võib tuua verbi *to trespass*: *She's trespassing — I must have a board up = Ta on keelatud pinnal — tarvis lasta tahvel üles panna* (Galsworthy, Ind 15; 337); *"I've been trespassing; I came up through the coppice and garden"* = *«Tulin keelatud teed kaudu, läbi metsatuka ja aia* (Galsworthy, Ch 174; 104).

Tähenduse mahult kitsamate nimisõnade tõlkimine.

Inglise keeles on rida liittähendusega nimisõnu, millele võib leida vasteid atributiivsete sõnaühendite hulgast, näit. *flummery* = *agreeable humbug, empty compliment*. Eesti keelde tõlgitakse selliseid nimisõnu peamiselt sõnaühendi abil, kusjuures peatäendus antakse edasi ühendi põhisõnas, lisatäendus aga täiendilises komponendis: *Brodzinski loved English flummery* = *Brodzinski armastab inglaste tühiseid meelitusi* (Snow, CP 39; 36); *Mrs. Henneker did not listen to any repartee of mine* = *Minu lõõgivalmeid vastuseid mrs. Henneker ei hakanud kuulamagi* (Snow, CP 54; 48).

Tähendust ammendavat vastet ei ole eesti keeles võimalik leida ka mõnele ingliskeelsetele abstraktsetele nimisõnadele, nagu näiteks *self*. Silveti sõnaraamat (1948) annab seletuse: *tema, nagu ta varem oli, praegu on jne*. Sõltuvalt kontekstist on mõnikord tõlkimisel võimalik leida mõni tähenduselt lähedane abstraktne nimisõna: *It was like a denial of the whole self, body and soul, body as well as soul* = *See oli nagu tema isiksuse, maise ja vaimse mina mahasalgamine* (Snow, CP 241; 207). Enamasti tuleb aga tõlkimisel kasutada mõnda konkreetsema tähendusega kontekstilist sünonüümi: *if he went off by his blue-eyed well-leggined self* = *kui ta läheks sinna omapead — sinisilmne põlvpükstes poisike* (Sillitoe, KD 11; 9); *There he was — a dark, and as if harried shadow of his sleek and brazen self* = *Seal ta nüüd oli — tume ja otsekui paljaks riisutud vari endisest siledast ja ülbest keigarist* (Galsworthy, Ch 279; 197). Vahel tuleb selliste nimisõnade muutmisel kogu lause struktuuri muuta: *Seeing Margaret and me, Diana slid her guest on to another group, and became her managing self* = *Nähes meid Margaretega, juhtis Diana oma vestluskaaslase teiste külaliste juurde. Nagu alati, võttis ta jälle juhtimise enda kätte* (Snow, CP 84; 74).

Ammendav eestikeelne vaste puudub näiteks ka nimisõnal *say*. Silveti sõnaraamat annab seletuse: *õelda olev, kõnek. kõnelemisvõi kaasarääkimis- või otsustamisvõimalus*. Tegelikult sõltub eestikeelne vaste igal üksikjuhul suurel määral tõlgitavast kontekstist:

your say in her affair is confined to paying out her income = *Sinu o s a t e m a a s j u s p i i r d u b h o o l i t s e m i s e g a , e t t a o m a r a h a k ä t t e s a a k s* (Galsworthy, Ch 177; 106).

Nagu verbid, nii võivad ka nimisõnad inglise keeles olla sisult rikkamad vastavatest eestikeelsetest leksikaalsetest ühikutest ainult mõnes tähenduses. Nii näiteks on nimisõnal *sex* selle põhitähenduses ammendav eestikeelne vaste olemas. Inglise keeles kasutatakse nimisõna *sex* aga veel muudes tähendustes, nagu sugupoolte vahe, vastassugupoolse võlumine, armastusega seotud küsimused üldse jms. Sellises tähenduses tuleb nimisõna *sex* tõlkimisel laiendada mõnda lähimat eestikeelset vastet või kasutada mõnda kontekstiliselt sünonüümi: *In a homoeopathic age, when boys and girls were co-educated, and mixed up in early life till sex was almost abolished, Jon was singularly old-fashioned* = *Jon oli kummaliselt vanamoeline homöopaatilisel ajastul, mil poisse ja tüdrukuid koos kasvatati ja nii varakult harjutati koos elama, et s u g u d e v a h e o l i p e a a e g u k a d u n u d* (Galsworthy, L 69, 38); *She behaved as if she wouldn't welcome sex from me in any shape or form* = *Ta käitus nii, nagu ei salliks ta l ä h e n e m i s t m i n u p o o l t m i n g i l k u j u l e g a m i n g i s v o r m i s* (Braine, RT 78; 63); *"What were you talking about?" "Sex,"* = *«Millest te rääkisite?» «A r m u a s j a d e s t ,»* vastasin mina (Braine, RT 163; 142).

Tähenduse mahult kitsamate omadussõnade tõlkimine.

Kuigi vähemal määral, esineb ka ingliskeelsete omadussõnade tõlkimisel juhte, kus lähim eestikeelne vaste ei hõlma kõiki sõna tähendusvarjundeid ja seda tuleb tõlkes laiendada: *There was a great sycophantic applause* = *Järgnes tugev, o r j a m e e l s e l t m e e l i t a v a p l a u s* (Snow, CP 115; 110); *Those boys are so particular* = *Need noormehed on nii täpsed i g a s p i s i a s j a s* (Galsworthy, Ch 86; 25); he was well-built and very upright, and always pleased Jolyon's aesthetic sense = *Ta oli hea kehaehitusega, väga sirge rühiga ja meeldis alati Jolyoni ilutundele* (Galsworthy, Ch 177; 52).

Omadussõna liittähendust on vahel tõlkimisel otstarbekohane lahutada kaheks rinnastavas seoses olevaks komponendiks: *Roger gave a boisterous laugh* = *Roger naeris valjusti ja lustakalt* (Snow, CP 31; 28).

Leksikaalsete ühikute sünonüümsuse osa tõlkimisel.

Väljendusvahendite sünonüümsusel on rahvuslik iseloom, s. o. nad sõltuvad iga keele ajaloolistest seadustest. Sagedasele inglise keele leksikaalsete ühikute suuremale määratletusele eesti keelega võrreldes aitab kaasa inglise keelt iseloomustav sünonüümide rohkus. Tänu arvukatele laenudele on inglise keeles mõne mõiste väljendamiseks terve rida sünonüüme, mida eesti keeles on võimatu eristada: *he was a foreigner, or alien as it was*

now called = *ta oli välismaalane* (Galsworthy, L 177; 137). Sünonüümid on mõnikord omandanud erinevaid tähendusvarjundeid, mis tõlkimisel lähevad kaduma. Nii näiteks vastab sünonüümidele *scent* (= mingi eriline lõhn), *perfume* (= lõhnav auranus) ja *fragrance* (= magus lõhn) eesti keeles üksainus üldisema tähendusega sõna *lõhn*:

When the door was opened to him his sensations were regulated by the scent which came — that perfume — from away back in the past, bringing muffled remembrance: fragrance of a drawing-room he used to enter, of a house he used to own — perfume of dried roseleaves and honey!

Kui üks avati, mõjutas ta tundeid kaugest minevikust tulev lõhn, ähmaseid mälestusi elustav lõhn, vaimus nägi ta lõhnavat salongi, kuhu ta tavatses sisse astuda; nägi maja, mis temale oli kuulunud. Kuivatatud roosilehtede ja mee lõhn!

(Galsworthy, Ch 155) (85)

Paratamatult jääb siin tõlge vaesemaks originaalist. Stiilivõttena ei ole sõna *lõhn* kordamine halb, sest see väljendab hästi seda painajalikku muljet, mida tuttav lõhn Soamesile avaldas. Kaduma on aga läinud autori peened mõttevarjundid sünonüümide kasutamisel: ukse avamisel tungib Soamesile ninna tuntud eriline lõhn, mis toob kaasa minevikumälestusi. Edasi meenutab see Soamesile tema endise salongi meeldivat lõhna, mille tekitasid vaasi asetatud kuivatatud roosilehed.

Toome veel ühe näite. Osaliste sünonüümide *silent* ja *still* tähenduste erivarjundite edasiandmiseks on eesti keeles harilikult võimalus olemas: *She was never still and rarely silent* = *Ta ei püsinud iial liikumatult ja vaikis harva* (Braine, RT 110; 92). Järgnevas näites aga, kus sünonüüme kasutatakse liikumist tähistava verbi laiendamiseks, ei saa viimast vastet kasutada ja mõlemaid sünonüüme tõlgitakse ühise vastega *vaikselt*: *She had seated herself in the swing, very silent and still* = *Väga vaikselt istus Holly kügele* (Galsworthy, Ch 303; 220).

Nagu nähtub eelnevatest näidetest, ületatakse sünonüümide eristamisvõimaluse puudumisega seotud raskused enamasti mõne üldmõiste kasutamisega.

Peale erinevate tähendusvarjundite edasiandmise võivad sünonüümid erineda ka stiililt. Selliste sünonüümide edasiandmine nõuab tõlkijalt head stiilitunnetust, et leida ligikaudu samasse stiilinivoosse kuuluvaid vasteid eesti keeles. Toome näite õnnestunud tõlkest: *Zombies always pass away or cross the Great Divide or go into the sunset* = *Kretiinid alati lahkuvad siit ilmast või lähevad teise maailma või varisevad mullapõue* (Braine, RT 30; 16).

2. Tähenduse mahult laiemate leksikaalsete ühikute tõlkimine.

Alljärgnevalt vaatleme leksikaalsete ühikute tõlkimist, mis inglise keeles on tähenduse mahult laiemad ja seetõttu konkreetset sisult vaesemad lähimast eestikeelsest vastest. Siin võib ilmuda kahte liiki mittevastavus: ingliskeelne leksikaalne ühik võib olla kas tähenduselt üldisem või mitmetähenduslikum lähimast eestikeelsest vastest.

Üldisema tähendusega leksikaalsete ühikute tõlkimine.

Sõnad, mis väljendavad paljusid mõisteid, võivad ise muutuda ebamäära-teksteks. Inglise sõnavara iseloomustavad arvukad leksikaalsed ühikud (peamiselt nimisõnad, vähemal määral ka verbid ja omadussõnad), mille tähendusel puuduvad teravad piirjooned ja mis on niivõrd üldise tähendusega, et neid on võimalik kasutada väga erinevate mõistete väljendamiseks (vrd. ingl. k. *'omnibus words'*, prants. k. *'mots passe-partout'*).

Tõlkeraskused on selliste sõnade puhul tingitud peamiselt asjaolust, et vastavate üldmõistete olemasolu puhul nii inglise kui ka eesti keeles ei tarvitse nad vastavuses olla kõigis tähendustes ja kasutamisevõimalustes. Sõnaraamatutes võib selliste sõnade tõlkimiseks leida ainult üldjuhiseid, konkreetne edasiandmisviis sõltub aga igal juhul tõlgitavast kontekstist.

Näitena võib tuua nimisõna *thing* võimalikke tõlkimisviise eesti keeles. Nimetatud sõna võib esineda mis tahes materiaalse objekti tähenduses (vrd. eesti k. vastet *asi*, mida saab kasutada ainult elutute asjade kohta): *I don't think we'd ever fight a thing that size, honestly, you know* = *Ma ei usu, et meil üldse on mõtet võidelda nii suure looma vastu, ausõna* (Golding, LF 155; 110); *Look at the way he's always giving her things* = *Näha juba sellestki, kuidas ta aina kingitusi teeb* (Galsworthy, MP 67; 60); *"I can't hardly move with all these creeper things"* = *«Igavene häda on siit väädi puntrast välja saada* (Golding, LF 11; 5); *"I'd like to set the goat free... It's such a shame to tie things up"* = *«Ma vabastaksin meelsasti soku... On häbiasi elavaid olendeid kinni siduda* (Galsworthy, SP 268; 350).

Materiaalsete objektide kõrval võib nimisõna *thing* väljendada ka mittemateriaalseid vaimseid mõisteid: *The valuable things in the book were there* = *Raamatul ei puudunud oma väärtuslikud küljed* (Snow, CP 192; 164); *she handled 'things' as she handled undergardeners* = *Ta suhtus mõtetesse nagu aednikuabilistesse* (Galsworthy, IPH 188; 144).

Nimisõna *thing* võib tähistada ka töönaidist, teost. Vastavalt ka eestikeelne tõlge: *Have you read that charmin' thing of*

Poser's = *Kas olete lugenud seda Poseri kütkestavat teost* (Galsworthy, IPh 198; 151).

Mitmuse vormis võib nimisõna *thing* tähistada ka olukorda, tingimusi, sündmusi üldse. Selles tähenduses võib tõlkimisel eesti keelde kasutada vastet *kõik, elu, olukord* jms.: "*No one likes — being right out of things*" — «Kellelegi ei meeldi elust kõrvale jääda» (Snow, CP 57; 51); *It'll only stir things up* = *see ainult äratab kõik jälle ellu* (Galsworthy, L 290; 236); *It was better to recognize that things were hopeless* = *Oli parem mõista, et olukord on lootusetu* (Galsworthy, B 162; 201). Sageli antakse sõna *thing* tähendus selles funktsioonis edasi kaudselt, kogu lausekonstruktsiooni muutes: *Things went on like this for years* = *Nii elasid kümme aastat* (Sillitoe, FBP 73; 220); *I succeeded in making the best of things* = *Ma tulin kuidagi viisi toime* (Sillitoe, FBP 73; 220).

Mitmuse vormis võib vaadeldav nimisõna tähistada ka mingiks otstarbeks vajalikke esemeid: *cleaning the supper things away* = *sööginõusid koristades* (Galsworthy, AT 277; 36); "*We might have a game before lunch; you can have my other racquet,*" "*I've got no things,*" = «Me võiksite teha ühe mängu enne lõunaeinet; sa võiksid võtta minu teise reketi.» «Mul ei ole rõivaid kaasas.» (Galsworthy, IPh 182; 140).

Ainsuse vormis koos määrava artikliga kasutatakse nimisõna *thing* tähenduses antud olukorras parim: *The thing is to win victories* = *Tähtis on võita* (Galsworthy, IPh 249; 187); *The thing is to walk as much as you can* = *Peaasi on kõndida nii palju kui võimalik* (Galsworthy, SS 85; 66).

Emotsionaalses tähenduses võib nimisõna *thing* esineda väga erinevate tundevarjundite, nagu põlgus, kaastunne, kiindumus jms. väljendajana. Eesti keelde tõlgitakse sõna *thing* emotsionaalses tähenduses tavaliselt vastava emotsionaalse värvinguga kontekstilise sünonüümi abil sõltuvalt nimisõna juurde kuuluvast epiteedist: *Miss Miller, poor thing! looked ... overworked* = *Miss Miller, vaeseke, ... näis ületöötanud* (Brontë, JE 48; 54); *The 'Old Things' — Aunt Juley and Aunt Hester* = *'Vanakesed'* — *tädi Juley ja tädi Hester* (Galsworthy, Ch 73; 13). Metafoorse epiteedi puhul on vahel kogu sõnaühendit võimalik asendada nimisõnalise metafooriga: "*You little sharp thing!*" = «*Oh te väike naaskell!*» (Brontë, JE 40; 46).

Ka mitmuse vormis võib nimisõna *thing* esineda emotsionaalses tähenduses, kusjuures selle tähenduse edasiandmine tõlkes sõltub peaaegu täielikult kontekstist: *He made things for himself* = *Ta teeb endale ise elu raskeks* (Galsworthy, P 256; 265); *Down there one could say things* = *Oma kodus võiks mõndagi öelda* (Galsworthy, Ch 104; 41).

Kõnekeeles tarvitatakse nimisõna *thing* sünonüümina üldises tähenduses substantiivi *business*, samuti ka *affair* ja *job*. Kõik

need nimisõnad on tähenduse laienemise tagajärjel kaotanud konkreetse semantilise funktsiooni ja neid võib kasutada erinevate objektide või nähtuste tähistamiseks. Tõlkimine oleneb selliste sõnade puhul suurel määral kontekstist. Toome mõned näited: *killed in that first Afghan business* = *langes esimeses Afganistani sõjas* (Galsworthy, B 101; 126); "*Shall we stop and have a look at that Memorial affair they made such a fuss about?*" = «Kas peatume ja vaatame toda mõlestussammasi, millest tehti nii palju kära?» (Galsworthy, SS 63; 48); *Old Mrs. Antolini's hair was full of those iron curler jobs* = *Mrs. Antolini pea oli lokirulle täis* (Salinger, CR 188; 153); *He just got a Jaguar. One of those English jobs that can do around two hundred miles an hour.* = *Ta ostis endale hiljuti «Jaguari» — see on väike inglise masin, mis võib teha ligi kakssada miili tunnis* (Salinger, CR 27; 5).

Üldisema tähendusega nimisõnade hulka kuuluvad ka mõned üldmõisted, mis eesti keeles nõuavad harilikult konkretiseerimist vastavalt tõlgitava kontekstile: "*Coming over for a drink, honey?*" *Eva asked her* = «Kas tulete meiega natukeseks klaasi tõstima, kallid?» küsis Eva temalt (Braine, RT 52; 38); *I asked if he wouldn't have a drink* = *Küsisin talt, kas ta ei tahaks ühe napsi teha* (Snow, CP 82; 73).

Nagu eelnevatest näidetest ilmneb, sõltub üldise tähendusega sõnade tõlkimine olulisel määral tõlgitavast kontekstist.

Polüsementiliste sõnade tõlkimine.

Järgnevalt vaatleme inglise keele leksikaalsete ühikute tõlkimist, mis on küll tähenduse mahult laiemad lähimast eestikeelsest vastest, mille semantilist struktuuri saab aga lahutada konkreetseteks tähendusteks (s. o. polüsementilised sõnad).

Et kogemuse konkreetsus on piiritu, keele ressursid aga piiratud, siis on keele leksikaalsetel ühikutel enamasti mitu tähendust.

Sõna semantilises sisus eristatakse tavaliselt kolme elementi: põhitähendust kui antud perioodi kõige produktiivsemat, teisejärgulist tähendust või tähendusi ja ülekantud tähendust. Polüsementiliste sõnade tõlkimisel tuleb kõigepealt selgusele jõuda, millises tähenduses tõlgitav sõna antud konkreetsetes kontekstis esineb. Alles siis võib toimuda sõnale sobiva eestikeelse vaste leidmine, mis olenevalt tõlgitavast kontekstist sageli väljub sõnaraamatutes leiduvate vastete raamidest.

Inglise ja eesti keele kõrvutamisel torkab eeskätt silma paljude verbide ja nimisõnade struktuuriline erinevus kummaski keeles. Nii näiteks on ligikaudu kolmandikul inglise keele verbidest nii sihiline kui ka sihitu tähendus. Need on suure kasutamissagedusega laia tähendusega verbid. Selliste verbide tähendusliku sisu määritlemine toimub peamiselt süntagmaatilises plaanis (s. o. sõnaühendeis). Semantiliselt struktuurilt erinevad sellised tähen-

duselt laiemad verbid konkreetsema sisuga ja tähenduselt kitsa-
 matest eesti keele verbidest. Siia kuuluvad verbid *to cast, to wear,*
to break jt. Nii näiteks võib verbi *to wear* tõlkida eestikeelse vas-
 tega *kandma*, kui juttu on riietest, soengust, ehetest jms. Laiemas
 tähenduses *omama* aga sõltub tõlge suurel määral konkreetsest
 kasutamishugust: *She wasn't wearing her usual lavender* =
Alice polnud kasutanud oma tavalist parfüümi — *lavendlit*
 (Braine, RT 233; 208); *When he walked briskly down the hall,*
he wore a nervous smile = *Kui ta kärmesti läbi halli läks,*
virvendas ta näol närviline naeratus (Wilson, LL 277; 290).

Polüsemantiliste sõnade tõlkimisel esinevad vead on sageli
 tingitud sellest, et sõnale tuuakse vaste selle põhitähenduses,
 arvestamata tõlgitavat konteksti, milles sõna võib esineda mõnes
 teisejärgulises või ülekantud tähenduses. Nii näiteks tõlgitakse
 verbi *to grind* põhitähenduses vaste abil *jahvatama*, muusikast
 rääkides aga ei ole see vaste sobiv, nagu nähtub alljärgnevast
 tõlkest:

*The organ woman plied her
 handle slowly; she had been
 grinding her tune all day —
 grinding it in Sloane Street
 hard by, grinding perhaps
 to Bosinney himself. (Gals-*
worthy, MP 273).

Väntoreli-naine tiirutas aeg-
laselt vänta; ta oli oma viisi
päev otsa jahvatanud, —
ka lähedal oleval Sloane Stree-
til; võib-olla jahvatas ta
seda Bosinneyle endale. (241)

Õigem oleks tõlkida: *ta oli oma viisi päev otsa leierdanud...*

Mõnikord võib polüsemantiline sõna ka ilukirjanduses esineda
 spetsiifilises, ühe või teise teadusalaga seotud tähenduses, millist
 võimalust sageli ei arvestata. Nii näiteks on omadussõnal *proper*
 heraldikas spetsiifiline tähendus *loomulikkudes värvides*. Alljärg-
 nevas tõlkes on aga ekslikult kasutatud vastet sõna vananenud
 tähendusele: *the crest was a "pheasant proper"* = *vapi tipp-*
ilustuseks oli «ilus faasan» (Galsworthy, MP 200; 177). Eeltoodut
 arvestades võiks aga tõlkida: *vapi tippilustuseks oli loomulikes*
värves faasan.

Vead polüsemantiliste sõnade tõlkimisel tekivad ka siis, kui
 tõlkija ei arvesta, et sõna võib olla kasutatud mitte otseses, vaid
 figuratiivses tähenduses. Nii näiteks tähistab nimisõna *sports-*
man ülekantud tähenduses ausa mängu mängijat, õiglast isikut,
 samuti aga ka julge mängu harrastajat. Järgmises näites on
 aga sõna ekslikult tõlgitud selle otseses tähenduses:

The sight of his uncle oppo-
site, too, was a sharp incentive.
He was so far from being a
sportsman that it would
be worth a lot to see his face.
 (Galsworthy, Ch 255)

Ka enda vastas istuva onu
nägemine oli tugevasti ergutav.
Onu Soames polnud põrmugi
sportlane, — maksis tõesti
vaadata, mäherduse näo ta teeb
sellise uudise juures. (175)

Kõne all on Val Dartie vabatahtlik sõjaväkke astumine ja sensatsioon, mida uudise teatavakstegemine tekitas Forsyte'ide hulgas. Situatsiooni arvestades võiks sõna *sportsman* tõlkida: *onu Soames ei pidanud ise julgustükkidest põrmugi lugu*.

Leksikaalsete ühikute tõlkimise põhiprintsiipide kohta võib kokkuvõttes öelda, et kui üldlevinud mõisteid tähistavate sõnade puhul nii absoluutset vastavust kui ka vaste puudumist esineb ilukirjanduse tõlkimisel inglise keelest eesti keelde suhteliselt harva, siis sagedamini tuleb ette juhte, kus leksikaalsete ühikute tähenduse maht ja seega ka konkreetne sisu ei lange mõlemas keeles kokku.

Kui inglise keele leksikaalne ühik on tähenduse mahult kitsam ja vastavalt sisult rikkam lähimast eestikeelsest vastest, siis ületatakse selle tõlkimisega seotud raskused tavaliselt viimase laiendamise teel või kasutatakse mingit kontekstiliselt sünonüümi. Sõltuvalt eesti keelele omasest väljendusviisist antakse täiendav mõttevarjund vahel edasi rinnastavas seoses oleva leksikaalse ühikuga.

Inglise keeles esinevate üldisema tähendusega leksikaalsete ühikute puhul, mida võib kasutada väga mitmesuguste mõistete väljendamiseks, sõltub tõlkimisviis olulisel määral tõlgitavast kontekstist. Sõnaraamatutes võib selliste leksikaalsete ühikute tõlkimiseks leida ainult üldjuhiseid.

Leksikaalsete ühikute puhul, mis on küll mitmetähenduslikud, mille semantiliselt struktuuri saab aga lahutada konkreetseteks tähendusteks (s. o. polüsementiliste sõnade puhul), sõltub sobivaima vaste leidmine tõlkija oskusest kindlaks määrata, kas tõlgitav sõna esineb tekstis oma põhitähenduses, teisejärgulises või ülekantud tähenduses.

Kasutatud teoste lühendid:

Braine, RT	John Braine, Room at the Top. Moscow 1961; tõlge: Tee ülesmäge. Tõlkinud V. Kivilo. ««Loomingu» Raamatukogu» nr. 28—31, 1962.
Brontë, JE	Charlotte Brontë, Jane Eyre. New York 1957; tõlge: Jane Eyre. Tõlkinud E. Raidaru. Tallinn 1959.
Galsworthy, AT	John Galsworthy, Apple Tree. Caravan. The Assembled Tales of John Galsworthy. New York 1925; tõlge: Ünapuu. Tõlkinud J. Schwalbe. Tartu 1927.
B	John Galsworthy, Beyond. London 1929; tõlge: Üle piiri. Tõlkinud A. Pärn. Tartu 1937.
Ch	John Galsworthy, In Chancery. The Forsyte Saga. Leipzig 1926; tõlge: Forsyte'ide saaga II. Tõlkinud M. Sillaots. Tallinn 1960.
Ind	John Galsworthy, Indian Summer of a Forsyte. The Forsyte Saga. Leipzig 1926; tõlge: Forsyte'ide saaga I. Tõlkinud M. Sillaots. Tallinn 1960.
IPh	John Galsworthy, The Island Pharisees. Leipzig 1913; tõlge: Saare variserid. Tõlkinud L. Anvelt. Tallinn 1961.

- L John Galsworthy, *To Let. The Forsyte Saga*. Leipzig 1926; tõlge: Forsyte'ide saaga III. Tõlkinud M. Sillaots. Tallinn 1960.
- MP John Galsworthy, *The Man of Property. The Forsyte Saga*. Leipzig 1926; tõlge: Forsyte'ide saaga I. Tõlkinud M. Sillaots. Tallinn 1960.
- P John Galsworthy, *The Patrician*. Leipzig 1911; tõlge: Patriits. Tõlkinud M. Sillaots. Tartu 1938.
- SS John Galsworthy, *The Silver Spoon*. Leipzig 1927; tõlge: Höbelusikas. Tõlkinud G. Pärn. Tartu 1937.
- Salinger, RT Jerome David Salinger, *The Catcher in the Rye*. Moscow 1968; tõlge: Kuristik rukkis. Tõlkinud V. Raud. «Loomingu» Raamatukogu» nr. 32—34, 1961.
- Sillitoe, FBP Alan Sillitoe, *Fisher-Boat Picture. The Loneliness of the Long Distance Runner*. London 1962; tõlge: Kalapaadiga pilt. Tõlkinud V. Raud. Inglise novelle. Tallinn 1967.
- Sillitoe, KD Alan Sillitoe, *Key to the Door*. London 1961; tõlge: Ukse võti. Tõlkinud V. Raud. Tallinn 1967.
- Snow, CP Charles Percy Snow, *Corridors of Power*. New York 1963; tõlge: Võimu telgitagused. Tõlkinud U. Lehtsalu. Tallinn 1968.
- Wilson, LL Mitchell Wilson, *Live with Lightning*. Moscow 1967; tõlge: Elu täis äikest. Tõlkinud J. Lohk. Tallinn 1960.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРЕВОДА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ЭСТОНСКИЙ

У. Лехтсалу

Резюме

В статье рассматриваются основные принципы перевода лексических единиц с английского языка на эстонский. Указывается на редкость в художественной литературе случаев полного совпадения значения единиц английского языка со значением соответствующей лексической единицы эстонского языка. Также ограничены случаи полного отсутствия эстонского соответствия какой-либо единице английского языка. Более распространены случаи неполного совпадения объема значения, а следовательно, и объема конкретного содержания лексических единиц в английском и эстонском языках.

Если лексическая единица английского языка богаче по содержанию, чем самое близкое ей соответствие в эстонском языке, то при переводе приходится прибегать к распространению последнего.

При переводе английских лексических единиц общего значения, которые беднее по содержанию, чем их эстонские соответствия, особое значение приобретает контекст, так как контекстуальное соответствие нередко выходит из рамок значений, фиксируемых в словарях.

Для правильной передачи многозначных слов переводчику необходимо выяснить тип значения слова в переводимом контексте. Ошибки, встречающиеся в переводческой практике, происходят, главным образом, от неумения переводчика различать главное, второстепенное и переносное значение.

MAIN PROBLEMS OF TRANSLATING LEXICAL UNITS FROM ENGLISH INTO ESTONIAN

U. Lehtsalu

Summary

The degrees of correspondence between lexical units in English and in Estonian may be classified as follows:

1. Absolute equivalents can be found mainly in scientific literature, they are seldom met in works of fiction. There may exist no Estonian equivalent of an English lexical unit altogether or in a certain meaning. On translating fiction no equivalent may be found only in the case of lexical units which have been drawn from some dialectal or substandard form of language such as argot or jargon.

2. The closest Estonian equivalent may not exhaust the whole meaning of an English lexical unit, i. e. the English lexical unit may be narrower in meaning and richer in contents than the Estonian equivalent. In order to translate such lexical units, extension of the corresponding Estonian equivalents is usually indispensable.

3. The closest Estonian equivalent may be narrower in meaning than the English lexical unit. Here, two cases of the lack of absolute equivalence can be distinguished: 1) an English lexical unit may be of a more general meaning than the closest Estonian equivalent. Dictionaries can give only general advice on the translation of such words. The actual translation depends greatly on the context translated. 2) an English lexical unit may have more meanings than its Estonian equivalent. In order to translate polysemantic words, the translator should first make it clear in which meaning the word is used, i. e. what is its contextual meaning. It usually suffices for this purpose to examine the narrower context. There are, however, cases, where a broader context should also be taken into consideration. Mistakes in translating polysemantic words occur mainly if the translator takes a figurative or secondary meaning for the principal one or vice versa.

THE REGIONAL SETTING IN ARNOLD BENNETT'S FIVE TOWNS NOVELS

A. Luigas

Chair of English

As early as 1893, in his first short story of any artistic merit, "A Letter Home", Bennett already introduced a Five Towns character. And between that date and 1916 he wrote some thirteen novels and a great number of short stories dedicated to the same region. In chronological order the novels are: "A Man from the North" (1898), "Anna of the Five Towns" (1902), "Leonora" (1903), "Sacred and Profane Love" (1905), "Whom God Hath Joined" (1906), "The Old Wives' Tale" (1908), "Helen with the High Hand" (1910), "Clayhanger" (1910), "The Card" (1911), "Hilda Lessways" (1911), "The Regent" (1913), "The Price of Love" (1914) and "These Twain" (1916).

The Five Towns is the literary name Bennett gave to his home district, an isolated area in the North of Staffordshire, known as the Potteries. In Bennett's youth the Five Towns were five independent boroughs, very similar in appearance, lying close together in the upper valley of the River Trent. From north to south they were Tunstall, Burslem, Hanley, Stoke-on-Trent and Longton. The real names of the boroughs Bennett changed into "Turnhill", "Bursley", "Hanbridge", "Knype", and "Longshaw" respectively. A sixth borough, Fenton, was left out of the general title of the Five Towns for euphonious reasons:

"I deliberately left out Fenton, because the sound of the phrase "Six Towns" is not so good as the sound of "Five Towns". The "i" in "five" is an open vowel. The "i" in "six" is a close vowel and not nearly so striking to my mind. A broad sounding phrase for this district was very important."¹

The Five Towns were really one large sprawling town with outlying villages. In 1907 an inquiry began, which after prolonged

¹ Quoted after J. B. Simons, *Arnold Bennett and His Novels*, Oxford, 1938, p. 26.

negotiations led to the amalgamation of the six pottery towns to form the county borough of Stoke-on-Trent in March 1910. In 1925, after an extension of its boundaries, Stoke-on-Trent was raised to the status of a city, with a total population of 240,428, according to the census of 1921. On the spur to the west stood Newcastle-under-Lime, an ancient market centre, which though radically different in its interests and outlook can also be reckoned in the district. It is "Oldcastle" in Bennett's novels, while "Axe" stood for Leek.

A bird's eye view of the sprawling Five Towns is provided by Bennett himself:

"Hanbridge has the shape of a horse and its rider, Bursley of half a donkey, Knype of a pair of trousers, Longshaw of an octopus, and little Turnhill of a beetle".²

In Bennett's lifetime the Five Towns were the centre of the greatest pottery industry in the capitalist world, which employed over 35 per cent of the local working population.³ Besides the staple industry, coal-mining and iron-smelting were also developed. Coal-mining employed about 21 per cent of the working male population and served not only the needs of the pottery industry but also those of an important iron and steel trade.⁴

The general aspect of the district was dreary and cheerless. Above the house-tops rose ovens and factory chimneys sending forth black smoke day and night. Bennett himself has described the ruinous effect of the industry on the countryside:

"For this the architecture of the Five Towns is an architecture of ovens and chimneys; for this its atmosphere is as black as its mud; for this it burns and smokes all night, so that Longshaw has been compared to hell; for this it is unlearned in the ways of agriculture, never having seen corn except as packing straw and in quartern loaves; for this, on the other hand, it comprehends the mysterious habits of fire and pure, sterile earth; ... for this it gets up in mass at six a. m., winter and summer, and goes to bed when the public-houses close; for this it exists — that you may drink tea out of a teacup and toy with a chop on a plate. All the everyday crockery used in the kingdom is made in the Five Towns — all, and much besides".⁵

² Arnold Bennett, *The Old Wives' Tale*, Moscow, 1962, p. 31.

³ Great Britain, *Essays in Regional Geography by Twenty-Six Authors*, Cambridge, 1930, p. 297.

⁴ *Ibid.*, p. 299.

⁵ *The Old Wives' Tale*, pp. 31, 32.

But only a few miles away from this atmosphere of smoke and "architecture of ovens and chimneys", in the small villages clustered around the boroughs, existed the ordinary, unchanging country life of England. Staffordshire is richly watered, full of trees, meadows and little hills, with ancient churches and bridges and not lacking even a cathedral town, Lichfield. In short, the county "has everything that England has, . . . and England can show nothing more beautiful and nothing uglier than the works of nature and the works of man to be seen within the limits of the county. It is England in little, lost in the midst of England".⁶

To understand the reasons for Staffordshire's early isolation from the rest of the community one must go back to the county's remote past. In his biography of Arnold Bennett, Reginald Pound refers to the early history of Staffordshire as follows:

"In Britain the chain-harrows of early history, tumbling unevenly over the human scene, left largely untouched various racial and social groups segregated from the main community existence by geographic or economic influences in valleys and dales and hill pockets and sleepy hollows. There they resisted change or survived in spite of it, community remnants never thoroughly mastered, converted and absorbed.

This was the condition of some of the peoples of the north-west where the Roman wave, losing force, percolated rather than rolled on, and where there resides a human type which received fewer alien elements than its more exposed neighbours."⁷

The main reason why the forefathers of the people in the Potteries were left untouched by Roman and Christian influence and why they retained longer their pagan way of life, was that formerly there happened to be little communication between Staffordshire and London, or the sea. The fact, that the Staffordshire men lived in isolation for a comparatively long period, has left its stamp on the whole county.

If we further glance at the history of the county, we shall see that it has not always been an industrial centre as it is nowadays. Up to the seventeenth century, it was mainly an agricultural district, famous for its sheep-rearing and flax-growing, whereas the centres of the iron industry in the early days were situated in Sussex, Kent, Surrey and Gloucestershire, now known as rural

⁶ Arnold Bennett, *The Old Wives' Tale*, pp. 29—30.

⁷ Reginald Pound, *Arnold Bennett*, London, 1952, p. 59.

areas. This was due to the existing stage of technique in the metal industry in general. The smelting of iron and other metals was carried out by means of charcoal, as the use of coal in furnaces was not yet known. Consequently a near and plentiful supply of wood was necessary, and this could be found in the above-mentioned counties. By the sixteenth century, however, the great forests were nearing depletion, and it became necessary to find other means of heating the furnaces. Hence the great importance of coal, as a result of which the iron industry shifted farther to the West, spreading up the Severn and through the coalfields of South Staffordshire to Wolverhampton and Birmingham (where it has stayed to the present day). Other branches of industry followed the coalfields and, from the seventeenth century onwards, we can regard Staffordshire as an industrial district.

Coal-mining now began to develop rapidly besides the manufacture of iron and pot-making, though in their embryo the latter had existed in the district during the early Middle Ages. The first coal-mines are mentioned from the thirteenth century, although they then served merely domestic purposes. Staffordshire pot-making is of still earlier origin, dating from the eleventh century, though official references to potters in the local court rolls date from the fourteenth century.

In this early stage pot-making was confined to a small number of handicraftsmen only, who made use of the local coarse clay to produce rough household-ware. In the fourteenth century the making of wall tiles and bricks was introduced, but it was not until the seventeenth, and especially the eighteenth century that the pottery industry began to develop on a large scale. This was due to the finer china clay that was transported to the Potteries from Cornwall by the sea.

The general technique of pot-making, like that of other branches of industry, was rather primitive up to the radical industrial innovations in the eighteenth century that led to the Industrial Revolution in England.

The Industrial Revolution had begun with important inventions in the textile industry. Then in 1782 came the most far-reaching innovation of its time, the steam-engine, introduced by James Watt, which brought about sweeping changes in nearly every branch of industry. It invaded both foundries and mines, and did not leave the Potteries untouched, though perhaps it met with more resistance here than elsewhere.

In the history of the Potteries the name of one man is particularly prominent. In 1763 Josiah Wedgwood had founded pottery works at Etruria, now in the parliamentary division of Hanley. Some fifteen years later, now the owner of a great china and porcelain factory, he installed one of Watt's engines in his works

for crushing and grinding raw material, as well as for mixing clay.⁸

Engels in his "Conditions of the Working Class in England" has given a survey of the foundation of the Potteries and their rapid growth, alongside with the development of other industries in the eighteenth century:

"The impulse, once given, was communicated to all branches of industrial activity, and a multitude of inventions ... received double importance from the fact that they were made in the midst of universal movement... The steam-engine first gave importance to the broad coal-fields of England; the production of machinery began now for the first time, and with it arose a new interest in the iron mines which supplied raw material for it... Moreover, all mines are now more energetically worked than formerly. A similarly increased activity was applied to the working of tin, copper, and lead, and alongside of the extension of glass manufacture arose a new branch of industry in the production of pottery, rendered important by the efforts of Josiah Wedgwood about 1763. This inventor placed the whole manufacture of stoneware on a scientific basis, introduced better taste, and founded the Potteries of North Staffordshire, a district of eight English miles square, which, formerly a desert waste, is now sown with works and dwellings, and supports more than 60,000 people."⁹

Josiah Wedgwood developed what had been a small village industry into a great craft. Staffordshire was no longer a sparse unrecognized community living in isolation. Its craftsmen were respected all over the world. The villages where pottery was made became towns — Burslem, Hanley, Stoke, Tunstall and Longton — that sent their wares to every part of the globe.

But even in the eighteenth century, when Staffordshire began to move towards prosperity, the process was still a slow one. This was mainly due to the fact that the pottery trade still possessed a large element of handicraft work. Not all the pottery owners were so eager to mechanize the work as Josiah Wedgwood had been. Far down the nineteenth century the old primitive methods continued to be used. The craft was carried on from father to son, from generation to generation. The smallness of the pottery firms also hindered the owners from introducing large-scale mechanization, and the old methods persisted long after they were outdated. Most of the raw material was still ground

⁸ J. H. Clapham, *An Economic History of Modern Britain*, Cambridge, 1938, p. 187.

⁹ Karl Marx and Frederick Engels, *On Britain*, Moscow, 1953, pp. 45, 47.

by water — or windmills.¹⁰ The “blunging”, that is, the mixing of the raw materials, was carried out by hand, as was also “wedging”, the combining and recombining of clay lumps to secure uniformity of texture in the mass.¹¹

Bennett has given a rather detailed picture of this early period in the development of the local industry in his novel “Clayhanger”. Here we read how the seven-year-old Darius Clayhanger “was engaged in clay-wedging. That is to say, he took a piece of raw clay weighing more than himself, cut it in two with a wire, raised one half above his head and crashed it down with all his force upon the other half, and he repeated the process until the clay was thoroughly soft and even in texture.”¹²

The clay was then pressed into moulds, which were carried into the drying stoves by little boys called “mould runners.”

The “stove” itself was a room lined with shelves and fitted with “a red-hot stove and stove-pipe in the middle... Each mould with its plate had to be leaned carefully against the wall”¹³ in order not to do damage to the soft clay of the newly-created article.

In the same book Bennett depicts the hard work of the “mould-runners” through the same “child-man” Darius. His business is to carry the newborn plates in the moulds as quickly as possible into the drying stove:

“The atmosphere outside the stove was chill, but owing to the heat of the stove, Darius was obliged to work half naked. His sweat ran down his cheeks, and down his chest, and down his back, making white channels and lastly it soaked his hair.”¹⁴

During the intervals when there were no moulds to be carried into the stove, Darius was set to work at “claywedging”. His exhausting working day lasted from half past five in the morning till eight in the evening, and each Saturday he got only a shilling for his week’s labour. The moulding usually took place in long subterranean cellars “which never received any air except by way of the steps and a passage, and never any daylight at all... When in full activity all these stinking cellars were full of men, boys and young women, working close together in a hot twilight”.¹⁵

The working day in these dungeons was longer than anywhere else. As the moulding work was mainly piecework, six days’ work

¹⁰ J. H. Clapham, *op. cit.*, p. 187.

¹¹ *Ibid.*, p. 187.

¹² Arnold Bennett, *Clayhanger*, I, Leipzig, Tauchnitz, 1911, p. 38.

¹³ *Ibid.*, pp. 37, 38.

¹⁴ *Ibid.*, p. 38.

¹⁵ *Clayhanger*, I, p. 41.

was usually done in four, in consequence of which the working day stretched to eighteen, or even nineteen hours.

The vivid picture of this brutal exploitation of child labour in the Potteries is borne out by Engels:

"Among the children whose work is especially injurious are the mould-runners, who have to carry the moulded article with the form to the drying-room, and afterwards bring back the empty form, when the article is properly dried. Thus they must go to and fro the whole day, carrying burdens heavy in proportion to their age, while the high temperature in which they have to do this increases very considerably the exhaustiveness of the work. These children, with scarcely a single exception, are lean, pale, feeble, stunted; nearly all suffer from stomach troubles, nausea, want of appetite, and many of them die of consumption. Almost as delicate are the boys called "jiggers", from the "jigger" wheel which they turn. By far the most injurious is the work of those who dip the finished article into a fluid containing great quantities of lead, and often of arsenic, or have to take the freshly-dipped article up with the hand. The hands and clothing of these workers, adults and children, are always wet with this fluid, the skin softens and falls off under the constant contact with rough objects, so that the fingers often bleed, and are constantly in a state most favourable for the absorption of this dangerous substance. The consequence is violent pain, and serious disease of the stomach and intestines, obstinate constipation, colic, sometimes consumption, and, most common of all, epilepsy among children..."¹⁶

To crown the inhumanity of the system there was the constant possibility of being flogged by the master, or of losing the miserable job altogether. The only refuge from starvation for the poor, both children and adults, was the workhouse, the "Bastille", as it is called in "Clayhanger". Bennett introduces an appalling passage on the conditions in the workhouse to which little Darius is sent because his father, "having been too prominent and too independent in a strike, had been blacklisted by every manufacturer in the district".¹⁷

To escape from starvation the blacklisted man and his family had to settle in the "Bastille", where the work and living conditions were still worse, so that the eighteen and nineteen hours a day in a damp dungeon seemed by comparison like freedom. Bennett also shows that the hardest trials were reserved for those who had offended the existing order or had tried to escape from

¹⁶ Fr. Engels, op. cit., p. 240.

¹⁷ Clayhanger, I, p. 43.

it. A heart-rending flogging scene in the "Bastille" gives us an idea of the inhumanity of the workhouse:

"In the low room where the boys were assembled there fell a silence, and Darius heard someone whisper that the celebrated boy who had run away and been caught would be flogged before supper. Down the long room ran a long table. Someone brought in three candles in tin candlesticks and set them near the end of this table. Then somebody else brought in a pickled birch-rod, dripping with the salt water from which it had been taken, and also a small square table... and then a captured tiger, dressed like a boy, with darting fierce eyes, was dragged in by two men, and laid face down on the square table, and four boys were commanded to step forward and hold tightly the four members of this tiger. And, his clothes having previously been removed as far as his waist, his breeches were next pulled down his legs. Then the rod was raised and it descended swishing, and blood began to flow; but far more startling than the blood were the shrill screams of the tiger... Flogging in the workshop was different, a private if sanguinary affair between free human beings. This ritualistic and cold-blooded torture was infinitely more appalling in its humiliation. The screaming grew feebler, then ceased; then the blows ceased, and the unconscious infant (cured of being a tiger) was carried away leaving a trail of red drops along the floor".¹⁸

Nor did the insanitary workmen's homes in the Five Towns, as well as in other developing industrial centres, afford them much consolation. They lived in small unventilated and ill-drained hutments spreading round the factories on all sides. These thousands of hovels were to be the slums of the industrial cities of the future.

The hard and cheerless life of the early proletariat inevitably made it seek some way of escape from grim reality. The first attempts of this kind were spontaneous and unorganized. Although, owing to the smallness of the capitalist enterprises in the Five Towns, labour troubles were comparatively rare, there were the "furious '40-s when mobs of hungry potters swept through the district wrecking and looting until the Dragoon Guards had to be called out and scatter them with musket fire".¹⁹

From 1850 onwards the labour troubles began to calm down, giving place to relative stabilization. The "Golden Age" of

¹⁸ Clayhanger, I, pp. 45, 46.

¹⁹ Reginald P o u n d, op. cit., p. 61.

Victorian England, with its doctrine of "laissez faire", now made itself felt in the Five Towns district. This was a time of financial speculation and bold individual enterprise. Bennett introduces to us several "self-made men" in the Five Towns who had become rich by hard and ruthless struggle. The most typical among them, Darius Clayhanger, the boy from the "Bastille", became the first steam-printer in the Five Towns and the owner of a prosperous printing-shop, though in order to drive others he had first to drive himself.

It was also a time of tremendous growth of the Five Towns, as in the country's economic life in general. The Five Towns became the greatest earthenware centre not only in England, but in the whole capitalist world. As Frank Swinnerton points out, in the middle of the 19th century the Potteries began to send "their wares by every new means of transport to centres from which they travelled across the ocean. Pride of craft, pride of uncommon wisdom, pride of prosperity gave the whole county an assurance of being and making, the best there was in England..."²⁰

But though after the Industrial Revolution the Five Towns marched ahead with the rest of industrial England, their pace was slower than elsewhere. Since Roman times the local people had always lived in isolation, had always resisted change. As Bennett remarks in his "Old Wives' Tale", the district was still backward in the sixties, when

... "in all the Five Towns there was not a public bath, nor a free library, nor a municipal park, nor a telephone, nor yet a board-school... Incredible as it may appear, there was nothing but a horse-tram running between Bursley and Hanbridge — and that only twice an hour; and between the other towns no stage of any kind! One went to Longshaw as one goes to Peking. It was an era so dark and backward that one might wonder how people could sleep in their beds at night for thinking about their sad state... A poor, blind, complacent people! The ludicrous horse-car was typical of them..."²¹

Harvey Darton, puts the conservatism of the Five Towns down to the egotism and self-sufficiency of its inhabitants:

"Egotism, then, moral and social, is their predominant characteristic. It is a local condition, explained by local conditions. The Potteries refused railways at first. They had been engaged for countless generations in one self-sufficing and prosperous craft. They preserved, therefore,

²⁰ Frank Swinnerton, *op. cit.*, p. 7.

²¹ *The Old Wives' Tale*, pp. 39, 40.

without change, not merely their trade customs, but their personal manners. They were, until quite recent years, a piece of England walled off in the very heart of England. The motor and railway had made great transformations; but until 1880 or a little later the Townsmen dwelt like the Albanians before the Turkish Revolution, who, when the Young Turks first prevailed, were observed to come from their hill fortresses, blinking, curious, armed with strange weapons, into a world, a social order, they had never seen."²²

It was only towards the last decades of the nineteenth century that the railways forced their way through the Five Towns, when gas was already giving place to electricity as lighting and when libraries and other public institutions were beginning to make their appearance. Bennett, gives an exhaustive picture of the evolution of the Five Towns during these later years:

"West and north and south are the Five Towns... Here they have breathed for a thousand years; and here to-day they pant in the fever of a quickened evolution, with all their vast apparatus of mayors and aldermen and chains of office, their gas and their electricity, their swift transport, their daily paper, their religions, their fierce pleasures, their vices, their passionate sports, and their secret ideals!... Railway stations, institutes, temples, colleges, grave-yards, parks, baths, workshops, theatres, concerts, cafés, pawnshops, emporiums, private bars, unmentioned haunts, courts of justice, banks, clubs, libraries, thrift societies, auction-rooms, telephone exchanges, post-offices, marriage registries, municipal buildings"...²³

Such are already the late-Victorian Five Towns during Bennett's lifetime and the main object of his study. In many ways the Five Towns of the period offer a typical example of the appalling contrasts of modern industrial regions. On the one hand we see grim factories, mean workers' dwellings lining slippery muddy streets in an atmosphere of smoke and dust — on the other hand the "polite suburbs" of the rich factory owners and aldermen.

Late-Victorian England itself is marked by an abrupt change of values, it is the end of one epoch in the development of capitalism, and the beginning of another — imperialism. In the Five Towns we hear an echo of the general economic crisis of the capitalist world: the growing foreign competition, the onslaught of big business and the widespread failures of the small business

²² F. J. Harvey Darton, *op. cit.*, p. 39.

²³ Arnold Bennett, *Whom God Hath Joined*, Leipzig, Tauchnitz, 1907, pp. 11, 12.

firms. The bankruptcies of John Stanway in "Leonora", and those of Titus Price and Maria Critchlow in «Anna of the Five Towns» and "The Old Wives' Tale" respectively, are typical of this period of competition. Ephraim Tellwright, the financier in "Anna of the Five Towns", has become a menacing figure, not connected with the actual industrial process, but able to dictate his will to the people and business firms dependent on him.

The growing complexity of the capitalist system makes itself felt also in the gradual amalgamation process of the formerly independent municipalities, referred to at the beginning of the article. Reading "The Old Wives' Tale", we see how Bursley, the mother of the Five Towns, loses its former key position to Hanbridge, the geographical centre of the district. Under the leadership of Hanbridge a broad campaign for uniting the five pottery boroughs is carried on, and meets with violent opposition on the part of the declining Bursley:

"Federation was the name given to the scheme for blending the Five Towns into one town, which would be the twelfth largest town in the kingdom. It aroused fury in Bursley, which saw in the suggestion nothing but the extinction of its ancient glory to the aggrandizement of Hanbridge. Hanbridge had already, with the assistance of electric cars that whizzed to and fro every five minutes, robbed Bursley of two-thirds of its retail trade — as witness the steady decadence of the Square! — and Bursley had no mind to swallow the insult and become a mere ward of Hanbridge. Bursley would die fighting." ²⁴

As industrial capital becomes more and more centralized, both the wealth and the population are doubled. The rising new class of the industrial workers also grows into a vast army calling attention to social injustice and exploitation. The labour movement, temporarily appeased in the mid-Victorian period, breaks out with new vigour. Foreign competition brings in its wake frequently recurring periods of depression. Wide-scale lock-outs and lowered wages strike further blows at the living conditions of the workers. A wave of strikes sweeps over the country and does not leave the complacent Five Towns untouched. In "Hilda Lessways", as well as in other Bennett's novels and short stories, we get casual glimpses of strikers' meetings where desperate men are determined to fight for a better life.

Though at the end of the nineteenth century the working and living conditions in the Five Towns are as bad as anywhere else in England, the labour movement does not acquire such an

²⁴ The Old Wives' Tale, p. 601.

organized and wide-scale character as in the neighbouring big industrial centres of Manchester, Birmingham etc. One of the reasons for this is again the smallness of the pottery firms, which prevents the workers from organizing on a large scale. In "Anna of the Five Towns" Bennett gives an example of a typical pottery firm in Henry Mynors' factory:

"Mynors' works was acknowledged to be one of the best, of its size, in the district — a model three-oven bank, and it must be remembered that of the hundreds of banks in the Five Towns the vast majority are small, like this: the large manufactory with its corps of jacketmen, one of whom is detached to show visitors round so much of the works as it is deemed advisable for them to see, is the exception."²⁵

The pottery firms, such as Mynors' potbank, were in fact small family businesses, employing about 100 workers; and for a century workmen of the same families had been employed there. The employer, unlike that of a large business enterprise, was well-acquainted with all his workmen.

J. B. Priestley visiting the Potteries for the first time is also struck by the smallness of the business firms there and suggests in his "English Journey" that:

"It is for these reasons that serious labour troubles have been rare in the Potteries, though the folk there are sturdily independent."²⁶

Another, no less important factor, is the general ideological stagnation, the prejudices, conservatism and the gloomy religious atmosphere of the whole district. The progressive ideas of class struggle have to penetrate the thick walls of reactionary propaganda before they can reach the workers. The ruling classes have powerful means of either buying the workers or their "souls". Many of the leading tradesmen and factory owners are at the same time prominent figures of Wesleyan Methodism (the important religious sect of the district), and from the pulpit influence the workers in their own interests. All Bennett's Five Towns novels indicate how tremendous a force Wesleyan Methodism is among the people of the district.

The extent of the backwardness of the Five Towns, as compared with other parts of industrial England, becomes especially clear, if we try to get a glimpse at them in more recent times.

²⁵ Arnold Bennett, *Anna of the Five Towns*, Leipzig, Tauchnitz, 1912, pp. 139, 140.

²⁶ J. B. Priestley. *English Journey*, Tauchnitz, Leipzig, 1934, p. 241.

In 1934, in the above-mentioned "English Journey", J. B. Priestley describes the fate of Bennett's famous Five Towns twenty years after the writer's death. He sees the Five Towns as living a kind of provincial life, "an exceptionally mean dingy provinciality, of Victorian industrialism in its dirtiest and most cynical aspect".²⁷

Speaking about the peculiarities of the district and of its inhabitants, he says: "It resembles no other industrial area I know. I was at once repelled and fascinated by its odd appearance".²⁸ Being a Yorkshireman himself, accustomed, as he says, to "see so much grim evidence of toil,"²⁹ he had expected to see "the huge dark boxes of factories and the immensely tall chimneys"³⁰ with which he was familiar. But although there was more smoke than he had ever seen before, "so that if you looked down upon any of these towns the drift over it, was so thick that you searched for the outbreak of fire"³¹, he did not see any tall chimneys or factory buildings, but only "a fantastic collection of narrow-necked jars or bottles"³² above the house-tops that were the pottery kilns and ovens. According to Priestley, one of the most characteristic features of the district was its littleness and shabbiness:

"Everything there is diminutive. Even the landscape fits in, for though there are hills, they are all little ones. I seemed to be paying a visit to Lilliput. The region is a clutter of small towns... but inside in these towns everything is small too... The houses, which stretch out in a ribbon development for miles and miles, are nearly all workmen's cottages, and if they are not actually small of their kind, they contrive to suggest they are... I was so dominated by this idea of littleness that I could not use my eyes, the very people are small, sturdy enough, of course, and ready to give a good account of themselves; but nearly all stunted in height... It is a marvel to me that the cups and saucers turn out the right adult size."³³

Priestley adds that, though the Five Towns occupy a central position, lying not far from Liverpool, and Manchester in the north, and Birmingham in the south, so that they can communicate easily with nearly any part of the country,

²⁷ I. B. Priestley, *op. cit.*, p. 218.

²⁸ *Ibid.*, p. 216.

²⁹ *Ibid.*, p. 216.

³⁰ *Ibid.*, p. 216.

³¹ *Ibid.*, p. 216.

³² *Ibid.*, p. 216.

³³ *Ibid.*, pp. 215, 216.

“there is something so self-contained about them and their peculiar industry that they convey a most unusual impression heightened by their odd littleness and shabbiness.”³⁴

While noting the peculiarities of the Five Towns as a minor seat of industry and therefore insufficiently mechanized, Priestley at the same time admires the sturdiness of the fine workmen whose trade, owing to the said state of backwardness as compared with other industrial centres, has still remained a highly specialized and difficult craft. In this respect the potters, to his mind, are different from the average modern workers:

“They are not merely doing a job for so much a week. They are craftsmen. They are doing something that they can do better than anybody else, and they know it. When they come to their work, they do not dawdle, as most people do nowadays, people who have to leave their personalities behind as they clock in; on the contrary, these men — and no doubt many of the women too — become more themselves, enlarge their personalities, just because it is here that they can use their skill and find an outlet for their zest. Nearly all of them are on piecework, and I have more than a suspicion that, the pottery trade being what it is today, they have to make full use of that skill and that zest in order to take home at the week-end a decent living wage. Nevertheless, I am convinced that most of these men would scorn to do a poor job, even if it were in no danger of being discovered. Their pride would not allow them to be slovenly. For this reason, they are left to themselves to get on with the job, are trusted and respected.”³⁵

Thus Priestley, in common with many of Bennett's biographers, Harvey Darton, Reginald Pound, Frank Swinnerton and others, stresses the smallness and shabbiness of the district, the peculiarities of its geographical position and industry that have laid their stamp on the local people and account for their conservatism and backwardness as well as their sturdiness and “common sense”. All this is, however, best shown by Bennett himself, for in

³⁴ I. B. Priestley p. 218.

³⁵ Ibid., p. 230.

Note: Here Priestley is obviously idealizing both the relation between the employers and the men, and the traditional methods of exploitation. This is in accordance with the romantic and fundamentally reactionary nature of his social ideas. He is right, however, in stressing the local peculiarities both of the industry and the workers.

the Five Towns he was born and bred and here he has also laid, in whole or in part, the scene of his best and most characteristic novels.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОН РОМАНОВ «ПЯТИ ГОРОДОВ» АРНОЛЬДА БЕННЕТА

А. Луйгас

Резюме

«Пять городов» (The Five Towns) — литературное название, которое Беннет избрал для ограниченного промышленного района в средней части Англии на севере графства Страффордшир, где в течение столетий развивалась гончарная и фаянсовая промышленность. В этом одном из самых мрачных и грязных уголков старой промышленной Англии (The Potteries) прошло детство и юность Беннета. Своей литературной славой он также обязан правдивому описанию родной провинции.

В цикле романов «Пяти городов» Беннет знакомит читателей с особенностями географического расположения этих маленьких городков, их историей, развитием их промышленности, а также и со своеобразным складом нравственной и умственной сторон их жителей, которые тесно связаны с первыми двумя обстоятельствами.

Хотя действие региональных романов Беннета происходит в 1860—1900 гг., которые известны в истории Англии как поздне-викторианский период, но нити действий некоторых романов проникают до 1830 г., затрагивая непосредственные отклики на промышленную революцию Англии. Так вводит Беннет своих читателей в более ранний период истории Англии и трактует действия романов с позиций истории.

В данной статье автор ограничивается анализом истории и политико-экономического развития «Пяти городов» по романам Беннета. Своеобразие реализма Беннета в этом цикле романов, характеристика действующих лиц и другие чисто литературоведческие проблемы оставлены преднамеренно за рамками данной статьи. Этим проблемам будет посвящена следующая статья об Арнольде Беннете: "Arnold Bennett and His Five Towns Novels".

ARNOLD BENNETT'I «VIIE LINNA ROMAANIDE» REGIONAALNE TAUST

А. Луигас

Resümee

Käesolevas artiklis «The Regional Setting in Arnold Bennett's Five Towns Novels» on antud lühike ülevaade tuntud inglise kirjaniku Arnold Bennett'i «Viie linna romaani» regionaalse tausta kohta.

Viis linna (The Five Towns) on kirjanduslik nimetus, mille Bennett valis piiratud tööstusrajoonile Kesk-Inglismaal, Staffordshire krahvkonna põhjaosas, kus sajandite jooksul oli välja kujunenud õitsev savi- ja fajansitööstus. Selles vana tööstusliku Inglismaa ühes kõige süngemas ja räpasemas nurgas (The Potteries) möödus Bennetti lapsepõlv ja noorus. Ka kirjandusliku kuuluse omandas ta oma sünniprovinci tsietruu kirjeldamisega.

Oma «Viie linna romaani» tsükliis tutvustab Bennett lugejat nende väike-linnade geograafilise asetuse isärasustega, nende ajaloo ja tööstuse arenguga samuti linnaelanike omapäraste moraali- ja vaimuomadustega, mis on tihedas seoses kahe eelneva teguriga.

Kuigi enamiku tema regionaalsete romaanide tegevus kulgeb 19. saj. viimastel aastakümnetel (aastatel 1860—1900), mis on Inglise ajaloos tuntud nn. hilise Viktooria-ajana, ulatuvad mõnede romaanide tegevusniidid 1830. aastatesse puudutades tööstusrevolutsiooni otseseid järelkajaid selles rajoonis. Nii viib Bennett oma lugeja Inglise ajaloo varajasematesse aegadesse ja käsitleb sündmusi historismi põhimõttest lähtudes.

Antud artiklis on piirdutud linnade ajaloolise ja majandus-poliitilise arengu vaatlusega nagu see leiab kajastust Bennetti romaanides. Bennetti realismi omapära selles romaanide tsükli, tegelaste iseloomustus ja teised puht kirjanduslikud probleemid on meelega käsitlusest välja jäetud, sest neid vaadeldakse järgnevas artiklis «Arnold Bennett and His Five Towns Novels».

THE USE OF COMMON-CASE FORMS OF SUBSTANTIVES AS PREMODIFIERS IN EARLY MODERN ENGLISH

O. Mutt

Chair of English

§ 1 Introduction

This article is a sequel to two earlier papers dealing with the rise and spread of the use of substantives in the common case as prepositive attributes (henceforth — substantival premodifiers) in Old and Middle English, respectively.¹

The investigation ranges from roughly 1500 to 1700. The discussion follows more or less along the lines of our treatment of sequences such as *stone wall*, *London street*, *summer holiday* in the preceding periods of the language. A survey of some persisting difficulties in distinguishing compound words from free collocations of words (loose syntactic groups) is followed by a section devoted to new pairs of homonymous substantives and adjectives. Various factors contributing to the consolidation of the use of substantival premodifiers in Early Modern English is reviewed in a separate section. A final section deals with the structural and semantic types of substantival premodifiers in the period under consideration.

The corpus investigated comprises 1,750 instances of the use of substantival premodifiers found on 2,200 pages of text (equivalent to approximately 750,000 running words) drawn from thirty-six authors. An attempt has been made to include samples of the principal functional styles and registers of the English language in the 16th and 17th centuries. About 50% of the texts excerpted came from plays, 30% from prose works (scientific prose, sermons, the 1611 edition of the Bible, private letters, Acts of Parliament, etc.). The remaining 20% of the texts were of a poetic character.²

Although the bulk of the material was perforce collected from literary prose and verse, the spoken language is reflected at least to a certain extent in the dialogue in plays, letters and diaries (especially of the Restoration period). Although much of the con-

versation in the works of fiction of the period has a literary flavour, it probably does incorporate remembered scraps of actual talk. In the latter half of the 16th century, court proceedings in England began to be taken down in some form of shorthand. These records are a fairly reliable source of information about the kind of language that people used as they stood in the dock or the witness-box.³ Despite the relatively scanty examples of authentic spoken language among our material, we have ventured to draw some tentative conclusions about the incidence of substantival premodifiers in colloquial Early Modern English.

.

The relative freedom of English spelling, pronunciation, grammatical and lexical usage as reflected in the works of 16th—17th century writers gives us valuable insight into the relatively more rapid workings of language change at a time when there was as yet comparatively little restraint in the shape of a generally accepted literary standard.⁴ The transition from Middle English (= ME) to Early Modern English (= EMoE)⁵ witnessed a steady spread of the use of substantival premodifiers. This took place against a background of the extensive development of the category of the attribute in EMoE. The supply of new adjectives by means of affixation and borrowing did not prove sufficient to meet the growing demand for more flexible means of expressing attributive relations which resulted from the broadening of the horizons of human knowledge in the 16th and 17th centuries. This period saw a marked intensification of what V. I. Lenin called the process of the discovery of new aspects of and relations between things and phenomena.⁶ The developments in economic, political and cultural life which accompanied the Renaissance in England, the great sea voyages and the rise of a vigorous capitalist nation, called for an elaboration of the linguistic resources of expressing the newly-discovered relations between things and the salient features of hitherto unknown objects and phenomena.

It was during this period that the English language came to depend less on its native morphological resources of deriving new adjectives and to rely increasingly on other possibilities of expressing attributive relations. These possibilities included the large-scale borrowing of adjectives from Latin and Greek in the 16th and early 17th century. The striving of the language for perfection as a means of communication also led to the gradual extension of the use of prepositional attributes and especially of substantives in the function of prepositive attributes.

.

§ 2 Compound Words and Syntactic Word-Groups in Early Modern English

Some of the difficulties involved in distinguishing compound words and loose syntactic word-groups that are familiar to us from the preceding Middle English period continue into Early Modern English.⁷ These difficulties are mainly due to the irregular use of the hyphen and the occurrence of invariable genitives. Throughout the 16th and well into the 17th century there prevailed the same extreme uncertainty in the use of hyphens as in the ME period. The constituent parts of what are obvious compounds (semantic integrity, usual solid or hyphenated spelling) are still occasionally written separately without a hyphen. Some examples of the detached spelling of collocations usually written as one word (with or without a hyphen) are: *tre toppes* (Hawes, PP); *after none* (OB, 1566); *store houses, land markes, marchaunte men, liffe time, platte fourme, handy craft men* (More, U); *corne field, greene wood tree, necke lace* (Sh.). On the other hand, the equivalents of what would today be loose syntactic groups are not infrequently spelt solid or hyphenated: *stonewall* (Sackville, *Mirroure*, 52, 1), *brick-wall* (Sh., WT, IV, 4); etc. The continuing lack of any effective prescribed standard of orthography means that the spelling in these cases is frequently a reflection of the subjective attitude of the writer or editor, or simply a matter of habit. One and the same collocation could be sensed to be a compound in one context and a loose syntactic group in another.⁸

Survivals of earlier invariable, i. e. uninflected genitives continue to occur throughout the 16th century and, to a lesser extent, in the 17th century. In the majority of cases these are the genitival forms of substantives ending in a sibilant sound. It was also common in EMOE to drop the genitive inflexion after sibilants in proper nouns, particularly in classical names: *Achilles spoiles* (Surrey, *Æneid* II, 351); *Boreas blastes* (Sackville, *Mirroure*, 2, 4); *Venus starre* (Sp., Sh. Cal., Dec., 84); *Phoenix throne* (Sh., T., IV, 1). Some common nouns with a final sibilant also belong here: *Highnesse frowne* (Sh., T., V, 1); *huntresse name* (Sh., AYL, III, 2); *Well in Iustice name and the Kings* (Jonson, BF, II, 1, 48). The genitive ending -s is frequently omitted before words beginning with s-: *for companie sake* (Mulcaster, *Elem.*, p. 88); *by fountaine side* (Sp., F. Q., 40, 6); *thou silly shepeheard swayne* (Sp., Sh. Cal., Nov. 47); *at Custom-house key* (Jonson, EMH, III, 1); *stood by the highway side* (Bunyan, PP, p. 141). The omission of the genitival ending -s in such cases is apparently the result of haplology motivated by economy of effort and considerations of euphony (the desire to avoid the accumulation of sibilant sounds). Forms without an ending are also often preferred in verse so as not to mar the metre.⁹

In most of the preceding examples the attributes may easily be recognized as invariable genitives. There is more ambiguity in other cases. Thus W. Franz takes the following instance from Shakespeare: *at street end* (MW, IV, 2), and apprehends the word *street* as being in the genitive.¹⁰ Ed. Mätzner, on the contrary, holds the same instance to be a compound word.¹¹ W. Franz's interpretation would appear to be correct as this and most of his other examples of invariable EMOE genitives (*at my horse heels, his owne country fashion, after inspecting the beast bowels*) are obvious survivals of earlier uninflected genitives. Such cases where a double interpretation is possible are a fairly common occurrence in EMOE texts: ... *where he chaunced to finde certayne of his contrey shyppes* (More, U., I, p. 4); *Scho was like a caldrone cruk* (Ballad of Kynd Kytток); *Is not enough, that thrust from heaven dew* (Sp., F. Q., V, 42, 5); It is interesting to note that the uninflected form *household* continues to be used as a pre-modifier throughout the 17th century: *under his household roof* (Sh., R. II, IV, 1); *household gluttony* (Milton, Areopagitica); *necessary household business* (Walton, CA).

Certain other constructions of minor importance should be mentioned which resemble the use of substantives as prepositive attributes and add to the confusion that one encounters when delimiting different types of word-groups in EMOE.

The apostrophe with the genitival ending -s began to be written in the genitive singular about 1680 (approximately 1780 in the case of the plural).¹² Consequently it is sometimes difficult before these dates to distinguish between a genitive form and the prepositive attributive use of a substantive in the common case of the plural: *brute beastes bodies* (More, U., II, 9), *the restraint of sounds autorite* (Mulcaster, Elem., p. 105); *they came forth of the fennes brookes*;¹³ *Fountain's Abbey, Fountain's Dale* (within "Robin Hood"); *stands tipto on the mistie Mountaines tops* (Sh., RJ. III, 5, 10); *Fell from high princes courts, or ladies bowres* (Sp., F. Q., V, 51).¹⁴

Special studies of the phenomenon (E. Ekwall 1913, G. Graband 1965) have not succeeded in ascertaining the precise time of or the reasons for the decline of the uninflected genitive. English grammarians of the 17th and 18th centuries refer only to those s-less genitives that are recognized by standard literary usage and do not mention the survivals of earlier uninflected genitives which occur in the works of Shakespeare, Ben Jonson, the Authorized Version of the Bible and elsewhere.¹⁵

Whatever the interpretation to be laid on individual cases, there can be no doubt that the frequent occurrence of attributive collocations containing invariable genitives strengthened the tendency to use substantives, especially proper names, as premodifiers in EMOE.

§ 3 Homonymous Substantives and Adjectives in Early Modern English

The number of formally identical substantives and adjectives increased steadily throughout the 17th and 18th centuries. As in the preceding ME period¹⁶ homonymous substantives and adjectives came into being as a result of (1) convergent phoneticomorphological development, (2) borrowing from French or Latin (in some cases also ultimately from Greek), (3) conversion of substantives into adjectives, (4) conversion of adjectives into substantives. The homonymity of substantives and adjectives could come about as a result of any single one of these possible developments or in consequence of a combination of two or more processes.

In addition to several scores of substantivized adjectives¹⁷ the stock of homonyms grew in the Early Modern English period by at least another twenty adjectivized substantives. Accepting the relevant dates and derivations given in the Oxford English Dictionary, it would appear that new homonymous adjectives came into being at some time during the 16th and 17th centuries from the following substantives: *adamant, animal, bridal, cavalier, crescent, damp, darling, dwarf, hackney, halcyon, haphazard, level, melancholy, minikin, moot, orange, pollard, proof, spruce, staple, vassal, virgin, zany*.¹⁸

In order to distinguish cases of complete adjectivization from those of the repeated attributive use of a substantive, we have sought to apply the following morphological, syntactical and semantic criteria: (1) formation of the degrees of comparison (when logically possible); (2) modification by means of an adverb; (3) coordination with other adjectives; (4) predicative and absolute use; (5) use with the prop-word *one*; (6) possession of the semantic characteristic of non-substantivity, etc. Even these criteria, however, are not always entirely reliable evidence that a substantive has become an adjective and we may be mistaken in regarding some substantives in frequent attributive use as adjectives (e. g. *animal, dwarf, vassal*, etc.).

It should be pointed out that the OED (or, for that matter, any other of the major dictionaries of the English language) is often inconsistent in distinguishing adjectives from attributively used substantives (e. g. *alabaster, paper, wood*, etc. are referred to as adjectivized substantives). The historical background of some presumable adjectives as given in the OED is confused (e. g. *middling, mock, signal*, etc.). In some cases the OED does not give a definite answer as to whether the adjective has come from the noun or vice versa (e. g. *base, chill, cross, fit, mean, vile*, etc.)

The lack of appropriate illustrative material does not make it possible for us to prove conclusively the complete adjectivization

of such words as *argent*, *damask*, *meacock*, *pet*, *retail*, *rival*, *random*, *ruffian*, *second-hand*, *sham*, *truant*, *vermilion*, *wholesale*, etc. Although these words occur frequently as premodifiers already in the 16th and 17th centuries, illustrations of their use in a predicative function, coordination with "true" adjectives, etc. belong to the 18th — 19th centuries. Most of the nouns concerned have adjectival homonyms in presentday English, e. g. *random*, *sham*, *truant*, *vermilion*, etc.

No survey of homonymous substantives and adjectives in EMOE could claim to be anything like complete if it did not cover the numerous cases of the substantivization of adjectives which occurred in this period. Lists of such words, however, may be found elsewhere.¹⁹ It is our purpose merely to demonstrate that the number of homonymous substantives and adjectives increased in EMOE and that this development helped to reinforce the tendency to use substantives as prepositive attributes.

On the whole, the EMOE period appears to have known more homonymous substantives and adjectives than any other stage in the development of English, either preceding or subsequent. There were some additions to this class of homonyms in the 18th century and later, but as quite a number of earlier homonyms fell into disuse, the rate at which the class increased numerically showed a tendency to decline.²⁰ The numerous instances of the substantivization of adjectives and of the adjectivization of substantives which occur in 16th—17th century texts are indicative of the relative ease with which words could be transferred from one part of speech to another in EMOE. They are also indicative of a widespread tendency to regard both parts of speech as mutually interchangeable. This attitude found corroboration in and it simultaneously reinforced the use of practically any substantive in the common case as a prepositive attribute.

§ 4 Minor Factors Encouraging the Attributive Use of Substantives

In an earlier paper we have pointed out that the disintegration of the old substantival and adjectival declensions, the levelling out of case inflections and the establishment of a fixed word-order were the essential prerequisites which made it possible for the use of substantival premodifiers to originate and spread.²¹ The occurrence in the language of a large number of nominal compounds together with the break-up of many of them in ME and the existence of considerable numbers of homonymous substantives and adjectives were among the other important factors which encouraged the use of substantives as prepositive attributes. Several minor contributing factors (all of which began

to make themselves felt in the preceding ME period) should also be mentioned.

We have already referred to the occurrence of invariable genitives in EMoE texts as a source of confusion in distinguishing between different types of attributive collocations and at the same time as a phenomenon which encouraged the tendency to employ substantival premodifiers.²² Of some importance in this connection are also the genetic or accidental similarity of certain suffixes and endings common to both adjectives and substantives and the use of substantives in appositional constructions or as predicates.

1. Similarity of Some Suffixes and Endings.

Already O. Jespersen drew attention to the possibility that the accidental similarity of the common adjectival endings that one sees in substantives such as *bridal*, *crystal*, *dainty*, *kindred*, *shoddy* and *gallows* (*gallows*) may have favoured their transition to adjectives.²³ O. Jespersen finds that in the following instances substantives were used as adjuncts (i. e. adjectives) because their endings were mistaken for adjective endings: *that suck'd the honie of his musicke vowes* (Sh., Hamlet, III, 1), *the Affricke shore* (Marlowe, F., 348).²⁴ This seems all the more plausible since there were numerous adjectives in common use at the time with a similar ending: *rustick*, *magicke*, *angelick*, *domestick*, etc.

In the same connection O. Jespersen refers to Shakespeare's adjectival or attributive use of the substantive *funeral* and his apparent ignorance of the existence of the adjective *funereal*. Indeed, it is not only Shakespeare, but his contemporaries, also, who often either confuse the substantive with the adjective or deliberately employ the first instead of the latter: *the cedar proud and tall, ... the cypresse funeral* (Sp., F. Q., I, 8); *used ... in the furnishing of their funerall Pompe* (Sp., Sh. Cal., glosse to November, 145); *the funeral laudatives* (Bacon, E., p. 122); *funeral fire* (Jonson, P, I, 1); *our funeral sermon* (Taylor, H. D.).

The contribution of this factor to the spread of substantival premodifiers was not entirely negligible. This becomes obvious if one takes note of the fact that the majority of the fully or partially adjectivized substantives listed on p. 7 have endings that resemble well-known adjective-forming suffixes. Thus the existence of a large group of adjectives in *-al*, *-el*, *-le* will have made it easier for new adjectives such as *animal*, *bridal*, *level*, *rival*, *vassal*, etc., to establish themselves; *argent* and *crescent* could conveniently find a place among other adjectives in *-ent* (< the Latin participial ending); *darling*, *kitling*, *sterling* were helped on their way to adjectivization by the resemblance of their endings to the participial *-ing* (cf. also the attributive use of

middling and *changeling*); the model of *coward*, *bastard* and *blanchard* facilitated the adjectivization of *pollard* and *wizard*,²⁵ etc.

It is easy to multiply the number of EMoE examples of the attributive use of substantives with endings resembling those of adjectives. A sampling of our EMoE collection yields a wide range of instances including the repeated use of substantives in *-y*: *bully*, *ivory*, *lily*, *honey*, *peony*, *city*, *country*, *lackey*, *scurvy*; in *-ant*: *lieutenant*, *truant*, *tyrant*; in *-el* (*-al*, *-yl*, *-le*): *tinsel*, *chisel*, *rascal*, *festival*, *nuptial*.

It is hardly a coincidence that in many examples of the nonce use of substantives as premodifiers, the form the such substantives recalls that of adjectives. As a case in point one could refer to the *-le* endings in the following instances from Shakespeare's "As You Like it": *your bugle eye-balls* (III, 5, 47); *the bubble reputation*²⁷ (II, 7, 152).

Of particular interest is the case of the disguised compound substantive *bridal* (< ME *brydale*, OE *brȳdeala*, literally 'bride-ale', i. e. a bridal feast, wedding feast). The accidental similarity of the vestigial ending of this disguised compound to the familiar adjectival suffix *-al* facilitated the attributive use of the substantive in Late ME and led to its adjectivization in the 18th century.

The similarity of some substantive and adjective suffixes helps to account for only a fraction of the cases of the attributive use of substantives in EMoE. In the vast majority of cases substantival premodifiers possessed no such endings. Nevertheless, there can be no doubt that the similarity of endings smoothed the way to attributive use and possible eventual adjectization for more than a score of substantives in EMoE. Consequently the importance of the phenomenon should not be underrated.

2. Substantives in Apposition

The dual character of the appositional use of substantives as both a result of and a factor encouraging the tendency to employ substantives attributively has been touched upon in an earlier paper by the present writer.²⁸

Substantives in apposition occur frequently in EMoE texts. Of special interest is the growth of the number and variety of appositional collocations involving geographical names: *Derntoun kirk*, *Falkland fall*, *Creede lane*, *Birnam wood*, etc.²⁹ In such collocations the proper noun usually stands before the common noun. Examples of common nouns in preposition are generally cases of traditional usage, e. g. the French pattern in *the county Surrey*, *the river Thames*, or are due to stylistic reasons: *O Fountain Arethuse* (Milton, *Lycidas*), *the Hill Lucre* (Bunyan, *PP*; occurs also as *Lucre Hill*).³⁰

In some instances it is difficult to decide whether a given collocation of words is a genitival group containing an invariable genitive or an appositional construction: *Nor Flaunders chere lettes not my syght to deme...* (Wyatt, CL, 94); *over Lethe Lake* (Sp., F. Q., III, 36, 6); *the fight at ... Trebye fyeld* (Sackville, *Mirrour*, 60, 2); ... *comes down from Broad-way Gate* (Bunyan, PP, 148).

A number of substantives denoting family relationship, social status or which are evaluative in character are widely employed in appositional constructions in LME and EMoE texts. They include *father, mother, sister, daughter, master, vassal, maiden neighbour, ruffian, rascal, tyrant*, etc. Some substantives in widespread appositional use at the time have since either become rare in this function (*neighbour, stranger, traitor*) or even archaic (*goodman, whoreson*).³¹ It should be added that the repeated appositional use of some substantives, e. g. *darling, rival, vassal*, etc. probably contributed to their eventual adjectivization.

The range and variety of appositional use in the EMoE period appears to have attained proportions equal to or actually exceeding those characteristic of the phenomenon in presentday English: *butcher Mowbray's breast* (Sh., R II, I, 2); *the false houswife Fortune* (Sh., A. Cl., IV, 13, 44); *that tyrant Giant Despair* (Bunyan; PP); *the foul fiend Apollyon* (ibid.); *my old schoolfellow Elborough* (Pepys); *our Sovereign Lord the King* (J. Wilmot).

3. Predicative Use of Substantives

The frequent cases of the substantivization of adjectives and of the adjectivization of substantives which occur in 16th—17th century texts³² are evidence of a certain blurring of the borderline between the two parts of speech. The latter development became possible largely because of the almost complete lack of morphological or derivational distinctions between adjectives and substantives which was the result of the collapse of the old substantival and adjectival declensions in the ME period. The disappearance of concord between adjectives and their headwords and the increasing numbers of monosyllabic adjectives and substantives (without any endings characteristic of either part of speech) means the absence of any formal obstacle to the use of a substantive in the function of an attribute, i. e. a function that is primarily characteristic of adjectives.

Some further proof of a certain loosening of the boundary between adjectives and substantives in EMoE is provided by the not infrequent occurrence of substantives as predicatives, without a preceding article or other determinative word.

As is well-known the predicative is the significant part of the nominal predicate and serves to characterize the subject of

the sentence. It is possible to distinguish different types of predicatives according to their meaning and they can be expressed by a variety of means.³³

A substantive can function as the predicative of a sentence and serves to assign the subject to a special class or kind, to denote qualification, etc., or to indicate that the notions expressed by the subject and the predicative are regarded as identical.³⁴ As a general rule Present-day English as well as Early Modern English use the indefinite article (more seldom some other determinative) before singular predicative substantives. The exceptions to this rule are few in number and well delimited.³⁵ The omission of a determinative word before a substantival predicative is such cases where one would regularly expect to find a determinative is evidence that the substantive in question is regarded as adjective. A nonce use by an individual may catch the fancy of other speakers or writers and the substantive may thus be launched on its way to eventual adjectivization.

Additional intensification of what might be called the adjectival functioning or "adjectivity" of a predicative substantive is attained by means of the addition of an adverbial modifier to the substantive.

The following is a representative selection of examples drawn from the works of Shakespeare where the "adjectivity" of a predicative substantive is enhanced by the omission of a determinative or by the addition of an adverbial modifier: *their cheeks are paper* (HV, II, 2, 74); *men are Aprill when they woo, December when they wed: Maidens are May when they are maiden, but the sky changes when they are wives* (AYL, IV, 1, 153—156); *Since the more faire and christall is the skie* (R II, I, 1, 41); *I'll not call you tyrant* (WT, II, 3, 115); *Who was most Marble, there changed colour* (WT, V, 2, 100); Fal. *Yea; if he said my ring is copper. — Prince. I say 'tis copper: ...* (1 H IV, III, 3, 160—161).

M. Deutschbein has suggested that the adjectivisation of some substantives such as *proof*, *first-rate*, etc. was encouraged by constructions like *the ship was (of) first rate which* came to be understood as the predicative use of the corresponding substantive.³⁶ This suggestion is plausible enough, but any more far-reaching conclusions would presuppose the detailed study of the development of each pertinent word.

A classical case of the adjectivization of a substantive is that of the word *cheap*. The adjective *cheap* was originally a substantive meaning a barter, price, a good purchase, a bargain (OE *cēap*, ME *chep*). The adjective *cheap* came about as a result of the repeated predicative use of *good cheap* as in *that is good cheap* (cf. Dutch *goedkoop*, comparative *goedkooper*; French (*à bon marché*). As late as the early 16th century *cheap* was used

in the same way, and it was only gradually that the collocation *good cheap* was contracted and the substantive *cheap* turned into a predicative adjective meaning low in price, inexpensive, the opposite of dear.³⁷

Closely related to the predicative use of substantives is their attributive use in a position detached from the relevant head-word or in an absolute position (i. e. where the head-word has been omitted). Examples of such a usage are extremely rare and our material includes only the following cases: *The trees, though summer, yet forlorne and leane* (Sh., Tit. II, 3, 94); *for men have marble, women waxen minds* (Sh., Lucr., 1240); *he tastes styles ... and tells you which is genuine, which sophisticated and bastard* (S. Earle, A Critic).³⁸ Cf. also: *geve we well, or fountaine water* (OB, 1573);³⁹ *Cicero lookes with such ferret, and such fiery eyes* (Sh., JC, I, 2, 186); *an eunuch or the virgin voice* (Sh., Cor., III, 2, 114)). Likewise of interest in this connection are some isolated cases of the use of substantives as postpositive attributes: *Necke lace Amber* (Sh., WT, IV, 5, 224).⁴⁰ Substantival premodifiers may be separated from their headwords by one or more adjectives: *Did instigate the Bedlam braine-sick Duchesse* (Sh., 2 H VI, III, 1, 51); *Ah, you whorson little valiant Villaine, you* (Sh., 2 H IV, II, 4, 224); *within their alabaster innocent arms* (Sh., R III, IV, 3, ii); *their damask sweet commixture shown* (Sh., LLL, V, 2, 296).⁴¹

The predicative use of substantives without a preceding determinative and the various other usages mentioned above which involve substantives are additional evidence that substantives were increasingly regarded as capable of functioning on a par with adjectives.

§ 5 Types of Substantives Used as Premodifiers

The Early Modern English period witnessed a marked increase in the number and variety of substantival premodifiers.

Proper nouns came to be used in this capacity to an extent which recalls similar usage in present-day English: *som Smithfeild Ruffian* (Ascham, Scolemaster, I, 118); *in Creede Lane* (Sp., Sh. Cal., title-page), *a Chartreux friar* (Sh., H VIII, I, 2, 148); *in London streets* (Sh., R II, V, 5, 77), *a Barbary cocke-pidgeon* (Sh., AYL, IV, 1, 157).⁴²

In comparison with ME, compound substantives became a common occurrence in the function of a prepositive attribute. Confining oneself to examples taken mainly from the works of Shakespeare, it is possible to distinguish the following kinds of compounds employed as premodifiers:

(1) Substantive + substantive: *a dozen crabtree staves* (H. VIII, V, 4, 8); *sow-skin Bowget* (WT, IV, 2, 20); *dovehouse wall* (RJ, I, 3, 27), *Rye-straw hats* (T, IV, 1, 136).

A new sub-type appears consisting of a gerund followed by a substantive: *a working-day world* (AYL, I, 3, 12).⁴³

(2) Adjective + substantive: *bluebottle rogue* (2 H IV, 4, 22); *green-sickness carrion* (RJ, III, 5, 157); *red-lattice phrases* (MW, II, 2, 28).

Some types of compound substantival premodifiers not recorded in earlier English now make their appearance. They include such as consist of:

(3) Numeral + substantive: *thy two-hand sword* (2 H VI, II, 1, 45); *you two-penny tear-mouth* (Jonson, P, III, 1); *thy three-hours wife* (RJ, III, 2, 99); *for three foot stool mistaken me* (MND, II, 1, 52). Our other examples of this type all contain the numeral "three": *his three-square shield* (Sp., F. Q.); *a three-sound barke* (ibid.); *the 3 Tun tavern* (Pepys, p. 5).

(4) Preposition + substantive: *inland petty spirits* (2 H IV, IV, 3, 119); *inland man* (AYL, III, 2, 367); *underhand means* (AYL, I, 1, 148). Cf. compounds of preposition (or adverb) + verb: *upstart unthrifts* (R II, II, 3, 122), *upstart crow* (the reference to W. Shakespeare attributed to Robert Greene).

(5) Verb + substantive: *these tell-tale women* (R, III, IV, 4, 150); *you call me misbeliever, cutthroat dog* (MV, II, 1, 112); *a shove-groat shilling* (Jonson, EMH II, 2).

(6) Substantive + verb: *about cock-shut time* (R III, V, 3, 70).⁴⁴

It is not our purpose to investigate the extent to which different types of non-adjectival prepositive attribute other than substantival premodifiers were used in EMoE. One cannot, however, help noticing certain conspicuous absences among the kinds of non-adjectival premodifier which are familiar to us from present-day English.

Thus, for instance, so-called group attributes are meagrely represented. There are only a few prepositive groups consisting of sb. + conj. + sb. (cf. present-day English *cat-and-dog life*): *the rapier and dagger man* (Sh., MiM, IV, 3, 15); *that same sword and buckler Prince of Wales* (1 H IV, I, 3, 230). Groups made up of sb. + prep. + sh. (MoE *house-to-house search*, *eye-of-poll speech*), adv. + prep. + sb. (MoE *out-of-doors life*), prep. + prep. + sb. (MoE *up-to-date information*) are likewise few and far between, e. g. *a world-without-end bargain* (Sh., LLL, V, 2, 797); *your cat-a-mountain* (= *cat-of-mountain*) *looks* (Sh., MW, II, 2, 28); cf. *your purple-in-grain beard* (Sh., MND, I, 2, 98).

Our collection does not include a single instance of the prepositive attributive use in EMoE of whole clauses or sentences (cf. MoE *ne'er-do-well fellow*, *a do-as-I-tell-you-or-get-out-of-my-house sort of father*).

Abbreviations were rare in EMoE and we have not been able to record any employed as prepositive attributes (cf. MoE *UNO representative, VIP treatment*).

Sequences of substantival premodifiers such as *home appliance repair business, amusement park ticket seller*, etc. are common in present-day English and the tendency to use heavy premodification is said to be spreading.⁴⁵ Although it is usual enough for compound words to be used as prepositive attributes in EMoE,⁴⁶ there are only a few instances of a series of mutually coordinated or subordinated substantives functioning as premodifiers to a common headword, e. g. *your French-crown colour beard* (Sh., MND, I, 2, 99); *You peasant swain, you whorson malt-horse drudge!* (Sh., TSh, IV, 1, 132); *some few foot-and-half-foot words* (Jonson, EMH, Prologue); *a pair of riding grey serge stockings* (Pepys, p. 12).

Our collection does not include any obvious examples of the prepositive attributive use in EMoE texts of pluralia tantum or other substantives in the plural of the common case.⁴⁷

§ 6 Position of Substantival Attributes

In the overwhelming majority of instances substantives in the common case that are used as attributes stand before the words they qualify, i. e. they are prepositive. As a rule, prepositive substantival attributes occupy a position immediately in front of their headwords. It is only in some exceptional cases, chiefly for metric reasons in verse, that the substantival attribute (or adjectivised substantive) may be found standing after its headword: *lawe canon* (Skelton, *Why came Ye...*, 413); *his banners sable* (Sh., Per., V, Prol. 19); *Bugle-bracelet, Necke lace Amber; Perfume for a Ladies Chamber* (Sh., WT, IV, 5, 224); *his mantle hairy and his bonnet sedge* (Milton, *Lycidas*, 104).

It is interesting to note that in the case of coordination with an adjective, a substantival premodifier in EMoE stands almost invariably after the adjective (or adjectives): These *yellow cowslip cheeks* (Sh., MND, V, 1, 340); *those fresh morning drops upon the rose* (Sh., LLL, IV, 3, 28); *base lackey peasants* (Sh., R III, V, 3, 318). Instances of a reverse order are relatively rare: *spite of cormorant devouring time* (Sh., LLL, I, 1, 4); *their alabaster innocent arms* (Sh., R III, IV, 3, 11); *their damaske sweet commixture* (Sh., LLL, V, 2, 297).⁴⁸

§ 7 Substantival Premodifiers in the Works of Individual Authors: Considerations of Style and Genre

The range of examples presented and discussed in the preceding sections of this paper will probably have convinced the reader that the structural variety and frequent occurrence of

substantival premodifiers in EMoE texts bears a certain resemblance to current English usage. Actually the boldness with which some authors of the period use substantives attributively is striking even in comparison with 20th century standards. Although every substantive or substantive equivalent in the language today is potentially capable of being used in the function of a premodifier, this potentiality is not commonly exploited to the full. On the other hand even a short list of attributive collocations drawn at random from the works of any of the major Elizabethan authors is likely to include examples like *midnight weeds*, *cormorant belly*, *vinegar aspect*, *maggot ostentation*, *yellow cowslip cheeks*, etc. Such collocations seem to have been produced in a natural, free and easy manner by Shakespeare and his contemporaries, but would be regarded as daring nonce usages in the work of a present-day writer. Shakespeare is, of course, particularly distinguished for the originality, expressiveness and frequency with which he employs substantival premodifiers. But most of the other Elizabethan poets and dramatists and, to a somewhat lesser extent, the prose writers, also made ample use of this new and flexible means of expressing attributive relations. Description of Elizabethan English call attention to the considerable latitude of usage that existed at the time and which applied to the vocabulary, pronunciation, spelling, morphology as well as to syntax.⁴⁹ The rapid expansion of the use of substantival premodifiers appears to have been in keeping with the venturesome and vigorous spirit of the age. An analysis of representative texts from the second half of the 17th and of preliminary data on the early 18th century reveals a considerable falling-off in the currency and variety of substantival premodifiers. Thus, of the 1,750 examples we have collected from 2,200 pages of 16th and 17th century texts, 950 (i. e. 57%) come from 900 pages of the works of Shakespeare and his immediate contemporaries (i. e. from 41% of the total number of pages examined). Consequently the bulk of the texts excerpted (1,300 pages or 59% of the total) yielded only 800 examples.

The decline in the extent to which substantival premodifiers are used is more conspicuous in formal literary style. In texts written in a more informal style approaching colloquial style (e. g. S. Pepys "Diary") attributes of this type continue to abound although here likewise they are certainly less frequent than in works produced in the early part of the 17th century.

It is not until the 19th century that the attributive use of common-case forms of substantives again attains a frequency and range in some functional styles of the English language which recalls the exuberant use of such premodifiers in the works of Shakespeare, Marlowe, Ben Jonson and many other Elizabethans.⁵⁰

The reason or reasons for the noticeable decline in the use of substantival premodification after the opening decades of the 17th century is not quite clear. It is probable that the conservative attitude to linguistic usage which gained ground after the freedom and frank experimentation of the Elizabethan age also put a curb on the use of substantives in the function of adjectives. It is somewhat unexpected, however, that the numerous grammarians of the period do not as a rule even mention the new use to which substantives were being put.⁵¹ This conspicuous omission could perhaps be accounted for by the fact that the grammarians of the 17th and early 18th centuries were confronted with such an array of more formidable matters in grammar, vocabulary, pronunciation and spelling that they simply overlooked a relatively minor "irregularity" such as the use of substantives in an unusual function.

A conspicuous feature of EMoE texts, especially texts in verse, is the repeated occurrence of some "traditional" substantival premodifiers. Already in the 14th and 15th centuries there was a marked tendency to use certain substantives over and over again in habitual comparisons such as *red as a rose*, *red as a ruby*, *clear as crystal*, *green as the emerald*, etc. The same substantives *rose*, *ruby*, *coral crystal*, *emerald*, etc. also began to occur as prepositive attributes.⁵² Some other substantives denoting precious stones and minerals or plants came to be used as premodifiers on analogy and a whole set of such words habitually used as attributes came into being.⁵³ These traditional attributes are especially characteristic of poetry, but they are met with in prose texts as well. The attributes in question first became noticeable in the late 14th century and continue to be widely employed throughout the 15th and 16th centuries. Some traditional premodifiers of the type under consideration continue to occur even later,⁵⁴ and a few have apparently become adjectivized (*rose*, *lily*, *crystal*, *sable*, *ivory*, *alabaster*, *adamant*, etc.).

Late ME and EMoE texts also contain other types of substantival premodifiers that appear to have become traditional. Thus one finds that Ed. Spenser uses agent nouns in *-er* as attributes to the names of trees in very much the same way that Chaucer does (cf. *builder oake*, *carver holme* in F. Q., I, 9, and Chaucer's *byldere ok*, *pilere elm*, *shetere ew* in the Parlement of Foules, 176—180). Some compound attributes of the bahuvrihi type also occur over and over again in poetry: *light-foot*, *red-cross*, etc.

It should also be pointed out that a number of substantives that were habitually used in appositional collocations by EMoE authors are no longer commonly employed in this capacity: *traitor*, *neighbour*, *stranger*, *whoreson*, etc.⁵⁵

§ 8 Some Notes on the Semantics of Substantival Premodifiers

The survey of the semantics of substantival premodifiers that follows does not make any claim to be complete. Our aim is not an exhaustive treatment of all the shades of meaning conveyed by substantival premodifiers in EMoE, but a general account of the types of attributive relations expressed by substantival premodifiers and of any possible tendencies in their development.

A comparison of EMoE material with ME material reveals that the principal semantic types of attributive relations expressed by prepositive substantives had come into being by the end of the ME period.⁵⁶

A substantival premodifier could express or denote the following: (1) the state of consisting of or being made of (from) a given material or substance; (2) the possession of a colour or consistency characteristic of a material or substance; (3) various properties or qualities based on temporal relations; (4) various properties or qualities based on spatial relations; (5) various other properties or qualities connected with, e. g. profession, social status, family relationship, shape, size, etc.

The noticeably greater variety and frequency of substantival premodifiers in EMoE as compared with ME appears to be mainly due to (1) the extension of the sphere of usage of these principal types and the development of numerous more or less well-defined sub-types, and (2) the increasingly frequent figurative use of substantival premodifiers (a rare phenomenon in ME). We have set ourselves the specific task of ascertaining (1) which new kinds of attributive relations if any came to be expressed by this means in the 16th and 17th centuries, and (2) which semantic features of present-day substantival premodification were still lacking in EMoE, and are, consequently, of more recent origin.

It is in the light of our overriding interest in the quantitative and qualitative growth of the original semantic types of substantival premodification that we have sifted and collated our EMoE examples. In doing so we have sought to classify them on the basis of the principal types of attributive relations expressed by substantival premodifiers that had taken shape by the close of the ME period and which were enumerated above.

1. Substantives denoting a material or substance are widely used as premodifiers in EMoE texts. There are two principal types of qualities and properties expressed in ME by means of such substantives: (1) the state of consisting of or being made of (from) a given material or substance, and (2) the possession of a colour or consistency characteristic of such a material or substance.

(1) By the beginning of the 17th century a stage was reached

where practically any substantive denoting a material or substance could be employed as a prepositive attribute: *mud walles* (More, U., II, 2, p. 56), *glasse vessels* (ibid., 6, p. 77), *waxe candelles* (ibid., 9, p. 136);⁵⁷ *ivory chaire* (Sp., F. Q., X, 31, 9); *tinsel figurie* (Gascoigne, The Steel Glas, 776; also note the title itself); *rye-straw hats* (Sh., T, IV, 1, 136); *latten bilbo* (Sh., MW, I, 1, 167); *osier cage* (Sh., RJ, II, 3, 7); *sow-skin bowget* (Sh., WT, IV, 3, 20); *chevril glove* (Sh., TN, III, 1, 13); *your whalebone bodice* (Jonson, P., II, 1); *silk hose* (Jonson, EMH, I, 2); *Stone walls do not a prison make, / Nor iron bars a cage* (R. Lovelace); *small quartz crystals* (Th. Fuller); *diamond ring* (OB, 1664); *a parchment roll* (Bunyan, PP., 135); *a grievous crab-tree cudgel* (ibid., 135);

In all of these examples the meaning conveyed by the premodifier is that the concrete object denoted by the headword consists entirely or in part of the material or substance indicated by the attribute. Substantives employed to express the state of consisting of or being made of (from) a material or substance represent one of the earliest possibilities of the attributive use of the common-case form of substantives.⁵⁸

It should be noted that the head-words in the sampling of relevant 16th century instances given above denote concrete objects as is the case in all ME examples.⁵⁹ It is only towards the end of the 16th century that names of materials and substances begin to be used figuratively with headwords that denote persons or express abstract ideas. This tendency is particularly noticeable in the works of Shakespeare and his contemporaries. When the pattern of such a figurative use had been created, the prospects for a further extension of the range of substantival premodification increased considerably.

The opportunities inherent in this new development were quickly seized upon by the writers of the period. Cf., e. g., *in my green velvet coat* (Sh., WT, I, 2, 157) and *Through the velvet leaves the wind ... 'gan passage find* (Sh., LLL, IV, 3, 105); *Left and abandoned of his velvet friends* (Sh., AYL, II, 1, 50); *thy chevril conscience* (Jonson, P. I, 1); *their wormwood comedies* (ibid.); *russet yeas and honest kersey noes* (Sh., LLL, V, 2, 414); *taffeta phrases* (Sh., LLL, V, 2, 407); *of such vinegar aspect* (Sh., MV, I, 1, 54); *sea water green* (Bacon, E., 147).

EMoE texts provide no evidence of any consistent attempt to differentiate between the meanings of substantival premodifiers and corresponding adjectives in *-en* where presentday English makes such a distinction as in, e. g. *gold watch* (made of gold) — *golden hair* (figurative meaning: hair that is like gold in colour), *brass knocker* (made of brass) — *brazen* (= hard-sounding) *voice*; *lead poisoning* (poisoning caused by lead) — *leaden sleep* (sleep that is heavy like lead), etc. In EMoE as in LME the

choice between the two means of expression (and the corresponding prepositional attributes) appears to have been primarily a matter of habit or to have been governed by considerations of space, metre, etc.:⁶⁰ *golden cheynes* (More, U., II, 6, 80); *miller's ... golden thumbe* (Gascoigne, S. G., 1080); *Juno's golden chaine* (Sp., F. Q., IV, 17, 5); *cowslips ... In their gold coats* (Sh., MND, II, 1, 11); *Spread over the silver waves thy golden haire* (Sh., CE, III, 2, 48); *brazen trumpet* (More U., 1, 5, 69); *brazen cannon* (Sh., Ham., I, 1, 73); *thy Brasse voyce* (Sh., Tr. + Cress. I, 3, 257); *what says this leaden casket?* (Sh., MV, II, 7, 15); *sleep ... with leaden legs ... doth creep* (Sh., MND, III, 2, 365); (stag) *... did stretch his leatherne coat* (Sh., AYL, II, 1, 37); (Phebe) *... has a leatherne hand* (Sh., AYL, IV, 3, 25); cf. (deer's) *leather skin* (Sh., AYL, IV, 2, 11); *your blacke silke hair* (Sh., AYL, III, 5, 46); *silken terms precise* (Sh., LLL V, 2, 407).

(2). It has already been pointed out that the earliest figurative use of substantival premodifiers was that of the names of some minerals and plants to express possession of a particular colour or consistency, e. g., *ME coral, crystal, rose, ruby*, etc.⁶¹ Such a usage was at first confined to certain headwords only and gave rise to a number of more or less stable collocations which occurred mainly in poetic texts. Thus *crystal* was traditionally used in combination with the headwords *water* or *air*, *ruby* and *coral* with *lips* and *cheeks*. Gradually the number of such substantival premodifiers grew. Other substantives denoting plants, fruit, minerals came to be used in the same function on analogy: *Aurora ... Ischit of hir safron bed and evir hours* (Douglas, Æneados, 14); *schane the beriall strandis* (ibid., 60); *araied all in lilly white* (Sp., F. Q., III 6, 2); *ebon shades* (Milton, L'Allegro, 8); *amber light* (ibid., 61); *diamond rocks* (Milton, Comus, 881). Shakespeare uses traditional collocations alongside his own numerous innovations: *cherry lips* (MND, V, 1, 193); cf. *cherry nose* (MND, V, 1, 339); *amber hairs* (LLL, IV, 3, 87); *lily lips* (MND, V, 1, 338); *yellow cowlip cheeks* (MND, V, 1, 340); *hazel eyes* (RJ, III, 1, 23).

A new feature of substantival premodification in EMoE is the widespread use of names of plants not only when referring to their flowers, fruits, buds, branches, etc., but also when speaking of objects consisting or made of them. Such a development is a logical extension of the possibility of using substantives to indicate the material of which something is made: *olyve twestis* (Douglas, Æneados, 165); *strawberry levys* (ibid., 120); *olive gerlond* (Sp., F. Q., VI, 13, 9); *on cypresse stadle stout* (ibid., 14, 8); *yuie twyne* (ibid., 14, 9); *musk-rose buds* (Sh., MND, II, 2, 3); *crabtree staves* (Sh., H. VIII, V, 4, 8); *broome groves* (Sh., T, IV, 1, 66).

At least two of Shakespeare's metaphorical uses of the names

of plants as prepositive attributes have given rise to stable phraseological collocations, viz. *salad days* (A + Cl., I, 5, 74) and *primrose path* (Ham., I, 3, 50).⁶²

2. Substantival premodifiers expressing various temporal characteristics are employed in EMoE on a scale that recalls present-day usage.

ME compound words containing *time* as their second constituent are habitually written as two words in EMoE: *dynner tyme* (More, U., II, 5, p. 71); *harvest tyme* (Wyatt, CL, I, 13); *spring time* (Sp., Sh. Cal., March); *supper time* (Sh., T, III, 1, 95); cf. the use of *season* in *nyght season* (More, U., II, 8, p. 119); *in the vacation season from warres* (Elyot, Gov., Ch. XVIII, 1)⁶³.

The names of holidays, months, seasons and the days of the week continue to be employed attributively and occur with increasing frequency in combination with headwords other than the usual *day*, *time* or *season*: *Palme Sondaie battaile* (OB, 1564); *to make me Christmas game* (Sp., Sh. Cal., Dec., 26); *in Whitsun week* (Sh., 2 H IV, II, 1, 99); *the Hays bushes* (Sp., Sh. Cal., March, glosse); *in December snow* (Sh., R II, I, 3, 298); *these summer flies* (Sh., LLL, V, 2, 409); *and his Sabbath work* (Bacon, E., p. 11); *from Wednesday morning till Saturday night* (Bunyan, PP., p. 135).

Other kinds of substantives are similarly used: *the Noonetide sun* (Sh., T. V, 1, 42); *this twelvemonth term* (Sh., LLL, V, 2, 858); *these fresh morning drops upon the rose* (Sh., LLL, IV, 3, 28); *his evening glory* (F. Quarles); *far-off curfew sound* (Milton, II Penseroso); *a thick midnight fog* (Vaughan, W.); ... *drank a good morning draft* (Pepys).

The range of temporal characteristics expressed by substantival premodifiers is too broad to be exhaustively dealt with on the basis of our relatively limited material.⁶⁴ A significant new feature stands out prominently, however, from even a superficial analysis of EMoE usage in this field: one is struck by the number of prepositive attributes expressing temporal relations that have a strong qualitative connotation.

Thus the premodifier *midnight* refers not merely to something occurring in the middle of the night, but is also suggestive of uncanniness and eeriness in Shakespeare's *midnight weedes* (Ham., III, 2, 272), *midnight mushrumps* (T, V, 1, 39); and especially in the well-known line from "Macbeth": *How now, you secret, black, and midnight hags!* (IV, 1, 48). *Holiday* in *holiday foolerie* (Sh., AYL, I, 3, 15) and *holyday humor* (Sh., AYL, IV, 1, 71) is synonymous with *joyous* or *gay*, and may very well be used of something not necessarily associated with a festival day; cf. figurative use with the meaning of *spiritual* in ... *hynder the holy-day ploughyng, the church ploughinge* (Latimer, Sermon, 142).

An extension of meaning is present in such case as the following taken from Shakespeare: *summer smocks* (LLL, V, 2, 914; i. e. probably light and thin smocks); *winter wind* (AYL, II, 7, 175; a cold penetrating wind); *shining morning face* (AYL, II, 7, 146; suggests dulness and drowsiness), *February face* (MN, V, 4, 41; implies gloom and worry).

In spite of the diversity of temporal relations expressed by substantival premodifiers in EMoE texts, some types of such premodifiers in common use to-day appear to be lacking. At any rate our material does not include any EMoE equivalents of such present-day collocations as *two-day journey*, *six-o'clock supper*, etc.

3. The characterization of objects and persons which is based on some spatial relation continues to spread in EMoE. In addition to the frequent use of geographical names in appositional constructions (e. g. *Troye town*, *Trebye field*, *Lerna Lake*, *Derntoun kirk*, *Falkland fell*, *Birnam wood*, *Hames Castle*, *Hampton Court*, *Creede lane*, etc.),⁶⁵ geographical names are also used as premodifiers to names of things and phenomena. Although the majority of such premodifiers refer to place of origin or location [*a Houndsditch man* (Jonson), *mantle of Lincoln green* (Robin Hood), *Flanders mares* (OB, 1655), *Bristol diamonds* (Fuller), *Cheshire cheese* (Pepys), *Margate ale* (Pepys), *Epsom blankets* (Dryden), *Norwich druggat* (Dryden)], there is often a qualitative overtone present. This connotation may be deliberately pleasant or disagreeable. The semantic implications of such an attributive use are often lost to the speaker of present-day English unless he is familiar with the linguistic, historical and general cultural background.

The proper names in *the Indy Sapphire blew* (Skelton, P. Sp., 1031) or *a Chartreux friar* (Sh., H VIII, I, 2, 148) are apparently mere references to the origin of the gem and the friar respectively. The collocation *Smithfeild Ruffian* (Ascham, Scolemaster, I, 118) contains a hint of the rudeness and brutality characteristic of the cutthroats who formerly frequented the trading mart of Smithfield in London. There is a markedly derogatory implication in Shakespeare's use of *Ethiop* in the following lines from "As You Like It": ... *Woman's gentle brain could not drop forth such giant rude invention, / Such Ethiop words, blacker in their effect / Than in their countenance* (IV, 3, 34—37). Similarly there seems to be a suggestion of emphasis *I will be more jealous of thee than a Barbary cocke-pidgeon over his hen* (Sh., AYL, IV 1, 151). In the context *it is a right Jerusalem blade* (Bunyan, PP., p. 351) the word *Jerusalem* carries a suggestion of fine quality.⁶⁷ Cf. also *I will have my husband to buy me a London gowne* (OB, 1598), where *London* is used with an implication of good quality, and its neutral meaning in *London streets*, *London gates*, etc.

In some cases a geographical name and its headword constituted an idiomatic collocation, e. g. *Flaunders chere* (Wyatt, CL, 94) which meant drunkenness and debauchery; *Scharborowe warnynge* (OB, 1553), i. e. no warning at all. A disguised or concealed place-name occurs in Shakespeare's use of *bedlam* in ... *did instigate the bedlam brain-sick duchesse* (2 H VI, III, 1, 51).

Place names from fable and fiction are also used as premodifiers: e. g., *up with purgatory picke-purse* (Latimer, Sermon, 311); *in peace may passen over Lethe lake* (5p., F. Q., III, 36, 6).⁶⁸

Geographical names were not the only source of premodifiers expressing properties and general characteristics based on some spatial relation. A new type of attributive collocation appears in the early 16th century when words such as *country*,⁶⁹ *city*, *town*, *village*, *shire*, *parish*, *home*, etc. begin to be employed as premodifiers to a wide range of headwords: *towne mouse* (Wyatt, CL, 43; cf. *feldishe mouse*, *ibid.*, 2); *shiere townes* (More, U., II, p. 50); *parish clarke* (Udall, RD, III, 3, 82); *some country lasse* (Sp., Sh. Cal., March, glosse); *a country servant-maid* (Sh., R. III, I, 3, 107); *city woman* (Sh., AYL, II, 7, 75); *village curs* (Sh., H VIII, II, 4, 157); *home alarms* (Sh., R II, I, 1, 205); *a suburb humour* (Jonson, EMH, I, 2); *state affairs* (Milton, TE); *suburb trenches* (Milton, Areopagitica), *The Town Lady and the Country Squire* (OB, c. 1700); cf. also *land travel* (Bacon, E), *sea voyages* (*ibid.*); *upland hamlets* (Milton, L'Allegro), *corner house* (OB, c. 1664).

In addition to their straightforward reference to location or origin such premodifiers often have a qualitative connotation: *with country clothes yclad* (Gascoigne, S. G., 449); *country copulatives* (Sh., AYL, V 4, 58); *village curs* (Sh., H VIII, II, 4, 157; here the premodifier *village* implies that the dogs in question were especially vicious and noisy).

4. In addition to the major types of substantival premodifiers in EMoE that have been dealt with in the preceding sections, it is possible to distinguish several minor types. Some of the latter did not exist or were only beginning to appear in the ME period.

(1) One such group of premodifiers comprises substantives that refer to persons who are engaged in some profession or trade, act or behave in a certain way, or belong to some other class of individuals that share a common characteristic or characteristics.

The words *shepherd* and *neighbour*⁷⁰ are among the first substantives which came to be widely used as premodifiers beginning with the early 16th century: *poore shepparde howses* (More, U., II, 2), *my shepherd peres* (Sp., Sh., Cal., Dec. 39); *the Shepheard youth* (Sh., AYL, IV, 3, 157); *our neighbour nations*

(Mulcaster, Elem., p. 90), *the neighbour woods* (Sp., F. Q. VIII, 11, 9), *thy neighbour kings* (Marlowe, T, 721); *sweeten with thy breath this neighbour air* (Sh., RJ, II, 6, 27); amongst all *neighbor states* (Bacon, E., p. 121), *a neighbor oak* (Browne, B. P., 699).

Various other substantives began to be used on the analogy of *shepherd* and *neighbour*, and by the end of the 16th century a broad range of meanings was conveyed by premodifiers denoting persons: *my fellow ministers* (Sh., Cor., I, 1, 123); *my stranger soul* (Sh., R. III, I, 4, 28); *rebel Angels* (Milton, PL, I, 38); *those pilgrim stories* (Bunyan, PP., p. 201); *monarch oaks* (Dryden, M., 27).

A distinct subgroup of substantival premodifiers with an execratory or otherwise pejorative connotation developed on the basis of the appositional use already in ME of *traitor*, *coward*, *villain*, etc. This group includes such substantives as *caitiff*, *harlot*, *lackey*, *regamuffin*, *rascal*, *rogue*, *ruffian*, *scoundrel*, *strumpet*, *vagabond*, *whorson*, etc.: *a caitiff wretch* (Sh., RJ, V, 1, 52); *that harlot strumpet Shore* (R III, III, 4, 73); *base lackey peasants* (R III, V, 3, 318); *You ragamuffin rascal* (Jonson, P, I, 1); *these rascal knaves* (Sh., T Sh., VI, I, 134); *To die in ruffian battle?* (Sh., 2 H VI, V, 2, 49); *scoundrel fellows* (OB, c. 1685);⁷¹ *Ah, you whorson little valiant Villaine* (Sh., 2 H IV, II, 4, 224); *a braggadochio captain* (Dryden, EDP, p. 47).

In the case of some substantives denoting persons the formal similarity to participles or adjectives may have encouraged their attributive use: *servant monster* (Sh., T, III, 2, 4 et passim; generally spelt with a hyphen in modern editions); *thou shalt be my lieutenant monster* (ibid., 18; cf. punctuation in modern editions: *Thou shalt be my lieutenant, monster, or my standard*). The formal similarity of their endings with those of familiar adjectives is also responsible, at least in part, for the frequent use in an attributive function of most of the substantives mentioned in the preceding paragraph (*lackey*, *fellow*, *rascal*, *strumpet*, etc.).⁷³

A distinct subgroup of substantival premodifiers consists of words expressing various family relationships. Here again the attributive functioning of such substantives seems to be based on an earlier use in appositional constructions: *all they brother cardinals* (Sh., H VIII, III, 8, 258); *flood me in thy sister flood of tears* (Sh., CE, III, 2, 42); *King Edward's widow sister* (Sh., R III, I, 1, 109); *our parent earth* (Jonson, P, V, 1). In some cases the repeated attributive use of *mother* or *father* with certain head-words led to the establishment of stable collocations: *mother nature* (More, U., II, 6; appositional use); *mother tongue*⁷⁴ (Tyndale, Obedience, line 2 et passim; cf. ME *burpe tonge*); *the father philosophers* (Mulcaster, Elem., p. 83).

(2) Various substantival premodifiers begin to be employed in EMoE when a headword is characterized from the view-point of its size, shape or general appearance.

The first recorded cases of the attributive use of *giant* date from the end of the 15th century. The word was borrowed from French, and there was a tendency to use it like an adjective as in the French language.⁷⁵ A number of other substantives began to be used analogically in the 16th and 17th century to characterize the size or shape of something: *a cat's-eye ring* (OB, c. 1664); *they mountain belly* (Dryden, M., 193). Of particular interest is a subgroup of premodifiers expressing the small size or weakness of whatever is denoted by the headword. It includes *infant*, *baby*, *dwarf*, *poppet* and *pygmy*:⁷⁶ *the infant rind of this weak flower* (Sh., RJ, II, 3, 23); *wears upon his baby brow the round top of sovereignty* (Sh., M., IV, 1, 88; the reference is to the brow of a child wearing a crown); *Their stature neither dwarf nor giantish* (OED, 1634); *a poppet prince* (OB, c. 1685); *these little dwarf Spirits, we call Elves and Fairies* (OED 1686); *pygmy body* (Dryden, A + A, Past I, 157).

As the range of substantives capable of characterizing the shape or general appearance of a headword was extended, the similarity between whatever was expressed by the premodifier and denoted by its headword could sometimes be not too obvious. Thus in *fyschis ... with ... chysell talys* (Douglas, Æneados, 58) the metaphorical use of *chisel* to describe the shape of fishes' tails is quite comprehensible. On the other hand Shakespeare's apparently nonce use of *beetle in beetle brow* (RJ, I, 2, 32) to depict a shaggy, bushy or prominent brow is an instance of a farfetched simile (even if the comparison has established itself in the language).⁷⁷

A striking new development in EMoE is the attributive use of substantives denoting all kinds of creatures possessing some conspicuous characteristic or characteristics. As can be expected, it is Shakespeare who was especially ingenious at producing such metaphorical collocations. In addition to *beetle brow* which was mentioned above, he has, e. g., *blue-bottle rogue* (2 H IV, V, 4, 22; an allusion to the blue dress of a beadle, O. M.); *cormorant* (i. e. greedy, O. M.) *belly* (Cor., I, 1, 128; cf. *this cormorant war*, Tr. + Cress., II, 2, 6); *dormouse valour* (TN, III, 2, 22); *The dragon wing of night* (Tr. + Cress, V, 8, 17); *Those pelican daughters* (KL, III, 4, 74); *Such ferret and such fiery eyes* (JC, I, 2, 186); *O serpent heart* (RJ, III, 2, 73); *low-crooked curtsies and base spaniel fawning* (JC, III, 1, 43); *wild-goose chase* (RJ, II, 4, 77).

On the whole the use of substantival premodifiers with a figurative and metaphorical meaning develops apace beginning

with the last quarter of the 16th century. This tendency is noticeable in the case of the names of materials and substances, as well as in substantives denoting periods of time, persons and animals.⁷⁸ Indeed, if one judges by the following random sampling of instances drawn from the works of Shakespeare, there do not seem to have been any restrictions on the kinds of substantive capable of being used in a figurative sense in the late 16th and early 17th century; *welkin eye* (WT, I, 2, 137); < OE *wolcen* 'sky, heaven'; *welkin* is apparently used in the sense of blue); *rash bavin wits* (1 H IV, III, 2, 61; *bavin* = dry waste brushwood; used in a derogatory sense); *And send him many years of sunshine days* (R II, IV, 1, 221); *a grandsire phrase* (RJ, I, 4, 37); *For my perticular grieffe / Is of so flood-gate and ore-bearing Nature* (Oth., I, 3, 56).

The principal findings of this survey of the development of the attributive use of substantives in their common-case form in 16th and 17th century English can be summed up as follows:

1. The profound material and cultural changes in 16th and 17th century Britain were attended by the discovery of many new aspects of things and phenomena. The continued striving of the language for perfection in the Early Modern English period led among other things to an elaboration of the means of expressing attributive relations in general and to an extension of the use of substantival premodifiers in particular.

2. The linguistic preconditions for the increasing use of substantival premodifiers existed in early 17th century English as a result of the thorough morphological and syntactical changes which had taken place in the Middle English period (loss of inflexions distinguishing adjectives from substantives, establishment of a fixed word order, disintegration of old nominal compounds, an increase in the number of homonymous adjectives and substantives, etc.). The growing need for the elaboration of the means of expressing attributive relations in the 16th and 17th centuries was accompanied by the realization of the possibilities inherent in these preconditions.

3. The types of attributive relations that had come to be expressed by means of substantival premodifiers towards the close of the Middle English period (state of being made of or from a material or substance, possession of a colour or consistency characteristic of a given material or substance, some characteristics based on temporal or spatial relations, etc.) continued in use and actually proliferated in Early Middle English. Various new subtypes came into being and formed the nuclei of a shift by accretion towards the large-scale use of substantival premodification (substantives denoting persons, animals; geographical names, etc.).

4. The marked increase in the number and variety of substantives used as prepositive attributes, i. e. the quantitative growth of the phenomenon, was accompanied by a qualitative change: the figurative and metaphorical use of substantival premodifiers becomes a common occurrence. The lexical and stylistic possibilities that this development opened up were multifarious. Substantival premodifiers become a convenient means of rendering emotional shades of meaning (recurring elements of poetic diction, various execratives, etc.).

5. By the middle of the 17th century most of the structural and semantic types of substantival premodifiers that occur in present-day English already existed in the language. Practically any substantive was potentially capable of being employed as a premodifier. Simple stem-like as well as derivative and compound substantives were used attributively. The apparent gaps that stand out as a result of a comparison with the English language of today are due primarily to the absence or rare occurrence in EMOE of certain structural varieties of substantives and their equivalents (abbreviations, group substantives or quotation-nouns, etc.).

6. Substantival premodifiers are especially frequent and varied in character in the works of the Elizabethan writers. It is significant that of the 1,750 cases of substantival premodification we recorded from 2,200 pages of 16th and 17th century texts, 950, i. e. 57%, come from works by Shakespeare and his immediate contemporaries (which make up 41% of the total number of pages examined). The relative currency of substantival premodifiers declines perceptibly after the early 17th century, particularly in formal literary prose. From the 1630s to 1700 most of the types of substantival premodifier that came into use in the preceding two centuries continue to occur but their incidence is greatly reduced. The exuberance with which substantival premodifiers are employed in a figurative sense by the Elizabethan poets and dramatists practically disappears in Milton and the writers of the Restoration period.

Abbreviated Titles of Excerpted Early Modern English Texts and Various Other Publications Referred to

Ascham, Scolemaster	= R. Ascham, The Scolemaster
Bacon, E.	= F. Bacon, The Essays or Counsels Civil and Modern
B + F, Phil.	= F. Beaumont and J. Fletcher, Philaster, or Love Lies A-bleeding
Berners, Froissart	= J. Berners, Translation of the "Chronicles" of Froissart
Browne, B. P.	= W. Browne, Britannia's Pastorals (Book I, Song V)
Bunyan, PP	= J. Bunyan, The Pilgrim's Progress from This World to That Which Is to Come

Douglas, Aeneados	= G. Douglas, Proloug of the xii. bok of Æneados
Dryden, A + A	= J. Dryden, Absalom and Achitophel
Dryden, EDP	= J. Dryden, An Essay of Dramatic Poesy
Dryden, M	= J. Dryden, Mac-Flecknoe; or, a Satire on the True Blue Protestant Poet T. S.
Earle, Critic	= J. Earle, A Critic
Elyot, Gov.	= Th. Elyot, The Governour
Fuller	= Th. Fuller, The Good Schoolmaster (from The Holy State)
Gascoigne, S. G.	= G. Gascoigne, The Steel Glas
Hawes, PP	= S. Hawes, The Passetyme of Pleasure
Jonson, BF	= B. Jonson, Bartholomew Fair
Jonson, EMH	= B. Jonson, Every Man is His Humour
Jonson, P	= B. Jonson, The Poetaster
Latimer, Sermon	= H. Latimer, Sermon on "The Ploughers"
Lovelace	= R. Lovelace, To Althea from Prison
Lyndesay, M	= D. Lindsay, The Monarchie
Marlowe, F	= Chr. Marlowe, The Tragical History of Doctor Faustus
Marlowe, T	= Chr. Marlowe, Tamburlaine the Great
Milton, Comus	= J. Milton, Comus
Milton, Il Penseroso	= J. Milton, Il Penseroso
Milton, L'Allegro	= J. Milton, L'Allegro
Milton, Lycidas	= J. Milton, Lycidas
Milton, PL	= J. Milton, Paradise Lost
Milton, TE	= J. Milton, Tractate of Education
More, U.	= Th. More, Utopia
Mulcaster, Elem.	= R. Mulcaster, The Elementarie
OB	= (The) Oxford Book of English Talk, ed. J. Sutherland, Oxford 1953
Pecock, Repressor	= R. Pecock, The Repressor
Pepys	= S. Pepys, Diary
Quarles	= F. Quarles, Invidiosa Senectus
RH	= Robin Hood and the Curtal Friar (early 17th century ballad)
Sackville, Mirrour	= Th. Sackville, Induction to the Mirrour for Magistrates
Sh., A. + Cl.	= W. Shakespeare, Antony and Cleopatra
Sh., AYL	= W. Shakespeare, As You Like It
Sh., Cor.	= " , Coriolanus
Sh., CE	= " , Comedy of Errors
Sh., Ham.	= " , Hamlet
Sh., 1 H IV	= " , First Part of King Henry the Fourth
Sh., 2 H IV	= " , Second Part of King Henry the Fourth
Sh., H V	= " , The Life of King Henry the Fifth
Sh., 2 H VI	= " , Second Part of King Henry the Sixth
Sh., H VIII	= " , King Henry the Eighth
Sh., JC	= " , Julius Caesar
Sh., KL	= " , King Lear
Sh., LLL	= " , Love's Labour's Lost
Sh., Lucr.	= " , The Rape of Lucrece
Sh., M.	= " , Macbeth
Sh., MfM	= " , Measure for Measure
Sh., MV	= " , The Merchant of Venice
Sh., MN	= " , Much Ado about Nothing
Sh., MND	= " , A Midsummer Night's Dream

Sh., MW	=	"	, The Merry Wives of Windsor
Sh., Oth.	=	"	, Othello
Sh., Per.	=	"	, Pericles, Prince of Tyre
Sh., R II	=	"	, The Tragedy of King Richard the
		Second	
Sh., R III	=	"	, The Tragedy of King Richard the
		Third	
Sh., RJ	=	"	, Romeo and Juliet
Sh., T	=	W. Shakespeare,	The Tempest
Sh., TGV	=	"	, The Two Gentlemen of Verona
Sh., Tit.	=	"	, Titus Andronicus
Sh., TN	=	"	, Twelfth Night
Sh., Tr. + Cress.	=	"	, Troilus and Cressida
Sh., TSh.	=	"	, The Taming of the Shrew
Sh., WT	=	"	, The Winter's Tale
Skelton, P. Sp.	=	J. Skelton,	Phyllipp Sparowe
Skelton, Why Come Ye	=	J. Skelton,	Why Come Ye Nat to Courte
Sp., F. Q.	=	Ed. Spenser,	The Faerie Queene (Book 1)
Sp., Sh. Cal.	=	Ed. Spenser,	The Shepheardes Calendar
Surrey, Aeneid	=	H. Surrey,	Translation of ii. Book of the Aeneid
Taylor, HD	=	J. Taylor,	Holy Dying
Tyndale, Obedience	=	W. Tyndale,	The Obedience of a Christian Man
Udall, RD	=	N. Udall,	Ralph Roister Doister
Vaughan, W.	=	H. Vaughan,	The World
Walton, CA	=	I. Walton,	The Compleat Angler, or the Contemp-
			lative Man's Recreations
W. S.	=	W. W. Skeat,	Specimens of English Literature,
			from the "Ploughman's Crede" to the "Shep-
			heardes Calender", (A. D. 1354 to A. D. 1579),
			Oxford 1880
Wyatt, CL	=	Th. Wyatt,	Of the Courtier's Life

Other Abbreviations Used

EMoE	=	Early Modern English
Lat.	=	Latin
LME	=	Late Middle English
ME	=	Middle English
MoE	=	Modern English
OED	=	Oxford English Dictionary
OFr.	=	Old French
TRÜT	=	Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised [Transactions of Tartu State University]
ZAA	=	Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik

Notes and References

¹ See O. Mutt, On the Preconditions in Old English That Facilitated the Subsequent Development of the Use of Substantives in the Common Case as Prepositive Attributes, "Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised" ("Transactions of Tartu State University" = "TRÜT"), viihik nr. 117, Tõid filoloogia alalt, Tartu 1962, pp. 229–245; id., The Use of Substantives in the Common Case as Prepositive Attributes in Middle English, "TRÜT", viihik nr. 216, Tõid romaa-ni-germaani filoloogia alalt, Tartu 1968, pp. 43–66; cf. also id., The Use of Substantives as Premodifiers in Early English, "Neuphilologische Mitteilungen", LXIX (1968), No. 4, pp. 578–596.

² For a list of sources excerpted, see p. 87 ff.

³ A valuable source of such information is The Oxford Book of English Talk. Edited by J. Sutherland. Oxford 1953.

⁴ Cf. H. C. Wyld, A History of Modern Colloquial English, Oxford 1936, Chap. IV (esp. pp. 111—114).

⁵ In this paper ME stands for Middle English, EMoE = Early Modern English, OE = Old English, MoE = Modern English. For a full list of abbreviations used see below, p. 89.

⁶ В. И. Ленин, Философские тетради, М., 1938, p. 212.

⁷ See O. Mutt, The Use of Substantives in the Common Case as Prepositive Attributes in Middle English, "TRÜT", viihik nr. 216, Tõid romaani-germaani filoloogialalalt, Tartu 1968, pp. 44—47.

⁸ See Э. П. Шубин, К вопросу о сложном слове и словосочетании в английском языке. Уч. зап. Пятигорского пед. ин-та, т. 10, Пятигорск, 1955, p. 462 for a discussion of some problems associated with the disintegration of compounds into word-groups and the fusion of collocations into compounds in Early Modern English. E. P. Shubin tends to overrate the reliability of spelling as a criterion when distinguishing word-groups from compounds.

⁹ In this connection see E. V. Pennanen, Notes on the Grammar in Ben Jonson's Dramatic Works, "Acta Academiae Socialis", Ser. A, Vol. 3, Tampere 1966, p. 31, where it is pointed out that 80% of the endless forms in B. Jonson's works occur in verse.

For an account of the origin and incidence of uninflected genitive forms in EMoE, see E. Ekwall, The s-less Genitive in Early Modern English, "Minneskrift till Axel Erdmann", Uppsala—Stockholm 1913, pp. 53—57; cf. G. Graband, Die Entwicklung der Frühneuenglischen Nominalflexion, Tübingen 1965, pp. 128—132.

¹⁰ W. Franz, Shakespeare-Grammatik, Heidelberg 1909, p. 190.

¹¹ Ed. Mätzner, Englische Grammatik, I. Theil, Berlin 1880, p. 259.

¹² К. Бруннер, История английского языка, т. II, М., 1956, p. 17.

¹³ This example occurs in a longer quotation from L. Mascall's Booke of Fishing with Hooke and Line (1590) printed in the British journal "Animals" (February 1968, p. 445). In the following sentence we find: *They have such a plenty in the fenne brookes* . . .

¹⁴ Some other pertinent examples are discussed by G. Graband, op. cit., p. 124 ff.

¹⁵ See G. Graband, op. cit., pp. 130—132.

¹⁶ See our paper on substantival premodifiers in Middle English ("TRÜT", viihik nr. 216, Tartu 1968), p. 48.

¹⁷ Cf. C. Bergener, A Contribution to the Study of the Conversion of Adjectives into Nouns (Diss.), Lund 1928, p. 44 ff.

¹⁸ For a more detailed discussion of these cases see O. Mutt, The Adjectivization of Nouns in English, "Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik", 1964, no. 4, pp. 346—349.

¹⁹ See C. Bergener, op. cit., and E. Gerber, Die Substantivierung des Adjektivs im 15. und 16. Jahrhundert (Diss.), Göttingen 1895.

²⁰ The number of cases of the adjectivization of substantives since the beginning of the 18th century is probably under twenty (in chronological order: *pink*, *game*, *fancy*, *average*, *carmine*, *lilac*, *rose*, *ginger*, *partisan*, *amateur*, *bogus*, *bully*, *mauve*, *shoddy*, *lavender*, etc.). Some completely or partly adjectivized compound substantives might also be included here, e. g. *middle-class*, *matter-of-fact*, *first-rate*. The total number of such cases is, however, smaller than that in either the EMoE period (over twenty cases, see above, p. 7) or in the ME period (ab. thirty cases). At the same time a number of adjectives belonging to homonymic sets consisting of substantives and adjectives (and often comprising verbs as well) dropped out of use, e. g. *confect* (+ 1662), *defect* (+ 1664), *connex* (+ 1699), *neglect* (+ 1724), *constitute* (+ 1808), etc.; see D. W. Lee, Functional Change in Early English, Menasha, Wisconsin 1948, p. 123.

- ²¹ See our The Use of Substantives in the Common Case as Prepositive Attributes in Middle English ("TRÜT", No. 216, Tartu 1968) pp. 48—49.
- ²² See above p. 65.
- ²³ O. Jespersen, A Modern English Grammar on Historical Principles, Part II, Vol. 1, p. 326; cf. H. Bradley, The Making of English, London 1937, p. 65; for some ME material see our The use of Substantives in the Common Case as Prepositive Attributes in Middle English ("TRÜT", No. 216, Tartu 1968), pp. 49—50.
- ²⁴ O. Jespersen, op. cit., p. 330.
- ²⁵ The substantive *wizard* appears to have undergone adjectivization somewhat later (according to the OED the word is used as a substantival premodifier in the 16th—17th centuries; cases of coordination with other adjectives occur beginning with the early 19th century; cf. also recent colloquial usage, e. g. *a wizard car; it was absolutely wizard*, etc.).
- ²⁶ The relevant words in this list are given in their established present-day spelling.
- ²⁷ This is more likely an appositional construction; cf. the attributive use of the substantive in *Bubble Act* (passed by Parliament in 1719), *bubble companies* (< the notorious South Sea Bubble).
- ²⁸ O. Mutt, The Use of Substantives in the Common Case as Prepositive Attributes in Middle English ("TRÜT", No. 216, Tartu 1968), p. 54.
- ²⁹ See below, p. 82.
- ³⁰ Cf. К. Бруннер, История английского языка, т. II, М., 1956, p. 33.
- ³¹ See also below, p. 67.
- ³² See above p. 77.
- ³³ Cf., e. g., В. Н. Жигадло, И. П. Иванова, Л. Л. Иофик, Современный английский язык. Теоретический курс грамматики. М., 1956, p. 258.
- ³⁴ Ibid.
- ³⁵ See, e. g., R. W. Zandvoort, A Handbook of English Grammar, 4th edition, London 1966, §§ 349—351.
- ³⁶ M. Deutschbein, System der neuenglischen Syntax, Cöthen 1917, p. 214, fn. 4.
- ³⁷ Cf. Ed. Mätzner, Englische Grammatik, I Theil, Berlin 1880, p. 302; O. Jespersen, A Modern English Grammar on Historical Principles, Part II, Vol. 1, p. 322; L. Kellner, Historical Outlines of English Syntax, London 1913, pp. 80, 124. The first adjectival use of *cheap* recorded in the OED dates from 1509: *of meate and druyne there was great plenty. Nothyng I wanted, were chepe or dere*.
- ³⁸ For a discussion of some other similar cases see И. П. Шубин, Атрибутивные имена в языке Шекспира и их генезис, Уч. зап. Пятигорского пед. ин-та, т. 14, Пятигорск, 1957, pp. 106—108.
- ³⁹ *Well* in this example is probably the attributive component of a detached compound word, cf. *furred with fox and lambskins too* (Sh., MfM, III, 2, 9), *the wall-newt, and the water* (Sh., KL, III, 4, 133); *their hackney and hunting-horses* (OB, c. 1670).
- ⁴⁰ Cf. below, p. 75.
- ⁴¹ See below, p. 75.
- ⁴² Cf. below, p. 82.
- ⁴³ The perennial problem of distinguishing between gerunds and participles crops up in connection with some of the numerous premodifiers ending in *-ing* that occur in EMoE texts. If *fowling net* (Sp., Sh. Cal.), *wynding scheit* (Lyndesay, M.), *mourning weedes* (Sp., F. Q.) are evidently collocations with a gerundial premodifier, one hesitates to determine the nature of the first component in *are past our daring days* (Sh., RJ, I, 4, 35); *the sayling pine, the cedar proud and tall* (Sp., F. Q., I, 8, 6); *th' Almightyes lightning brand does light* (ibid., III, 21, 8). For further pertinent cases see И. П. Шубин, op. cit., pp. 251—257.

⁴⁴ The substantive *cockshut* still lives in English dialects.

⁴⁵ Cf. O. Mutt, Some Recent Developments in the Use of Nouns as Premodifiers in English, "ZAA" Vol. 15 (1967) No. 4, pp. 406—407.

⁴⁶ See above, p. 73.

⁴⁷ So-called plural attributives are becoming increasingly common in present-day English; see O. Mutt, op. cit., pp. 402—403. For some doubtful cases see above p. 66; cf. *three-hours wife* (Sh., RJ, III, 2, 99) where the attribute may also be analyzed as a genitive plural form.

⁴⁸ For some other pertinent examples, see above, p. 73.

⁴⁹ See, e. g., A. C. Baugh, A. History of the English Language, 2nd Edition, New York, 1957, § 185; Y. M. Biese, Origin and Development of Conversions in English, "Annales Acad. Scient. Fennicae", B XLV, 2, Helsinki 1946, p. 337; E. V. Pennanen, Notes on the Grammar in Ben Jonson's Dramatic Works, Tampere 1966, p. 16.

⁵⁰ The present writer has prepared a survey of the incidence of substantival premodification in 18th—19th century English for publication in No. 4 of this series of "TRÜT"; cf. also R. Leonard, The Types and Currency of Noun + Noun Sequences in Prose Usage 1750—1950 (M. Phil. thesis, University College London 1968).

⁵¹ Actually the sole exception that has come to our notice is Alexander Gill. In his *Logonomia Anglica* (nach der Ausgabe von 1621 herausgegeben von O. Jiriczek, Strassburg 1903), pp. 78—79, A. Gill refers to "substantiva sterilia", a group of substantives which do not produce adjectives, but can themselves be used as such (*ipsius adiectivi vicem supplent*), e. g. *sea* and *pewter* in the *sé-water* (*aqua marina*) and a *peuter-salt* (*Salinum stanneu*). The author goes on to demonstrate the "sterility" of proper names functioning as attributes, e. g. a *Lundon di* (*tinctura Londinensis*, an *Oxford gluv* (*cheirotheca Oxoniensis*, *Wustershër salt* (*sal Vigorniensis*), etc.. He also deals with the attributive use of substantives when discussing case regimen. A. Gill points out that "substantiva sterilia" hardly ever stand in the genitive case form, e. g. *Mj household affairz* (*meae res domesticae*), a *glas windöu* (*fenestra vitrea*), where one cannot use the forms *houshöldz* and *glasez*. A. Gill recommends that the learner of English should not use such constructions and should rely more on the of-phrase (e. g. *the affairs of mj houshöld*, a *windöu of glas*, *salt of Wustershër*, etc.).

⁵² See our The Use of Substantives in the Common Case as Prepositive Attributes in Middle English ("TRÜT", No. 216, Tartu 1968), pp. 57—58.

⁵³ See below p. 80 ff. for names of minerals, etc.

⁵⁴ E. g. Shakespeare uses the collocations *cherry lips*, *lily lips*; Th. Carew — *coral lips*; F. Beaumont and J. Fletcher — *crystal springs*; J. Milton — *crystal battlements*, *ebon shades*.

⁵⁵ Cf. above p. 71.

⁵⁶ Cf. our The use of Substantives in the Common Case as Prepositive Attributes in Middle English, p. 59 ff.

⁵⁷ The spelling (the use of the hyphen included) of attributive collocations such as the ones presented here was notoriously inconsistent in the 16th century; consequently some of our examples may be detached compound words; cf. above, § 2.

⁵⁸ See O. Mutt, On the Preconditions in Old English That Facilitated the Subsequent Development of the Use of Substantives in the Common Case as Prepositive Attributes, "TRÜT", nr. 117, Tartu 1962, pp. 242—243.

⁵⁹ See our paper The Use of Substantives in the Common Case as Prepositive Attributes in Middle English, p. 59.

⁶⁰ Ibid., p. 60; cf. И. Р. Гербач, Суффиксальное образование прилагательных в новоанглийский период, «Исследования по грамматике», «Ученые записки ЛГУ», № 180, Л., 1955, p. 154.

⁶¹ See above, p. 77.

⁶² For the use of names of birds and animals as prepositive attributes with a figurative meaning, see below, p. 85.

⁶³ Cases such as *summer-day* — *summer's day* require special study.

⁶⁴ A detailed analysis of such cases is given in Э. П. Шубин, Атрибутивные имена в языке Шекспира и их генезис, Пятигорск 1957, pp. 228—239. E. Shubin classifies the relevant material according to whether the substantival premodifiers (which he alleges belong to a distinct class of so-called attributive nouns) denote (1) seasons, (2) months, (3) days, (4) festive occasions, holidays, etc.

⁶⁵ See above, p. 70.

⁶⁶ A possible qualitative overtone in the case of place-names used as premodifiers seems to have originated not earlier than the 14th century; cf. our The Use of Substantives in the Common Case as Prepositive Attributes in Middle English, p. 62.

⁶⁷ It is interesting to note that no semantic difference seems to have existed in EMOE between adjectives derived from geographical proper names and the latter used as premodifiers. Thus, e. g., in Book I of "Paradise Lost" J. Milton employs the prepositive attributes *Norwegian* and *Norway* indiscriminately, the choice between the two being apparently governed only by considerations of metre: *Him, haply slumbering on the Norway foam* (line 203) — *the tallest pine / Hewn on Norwegian hills, to be the mast* (line 293); cf. *in the stout Norwegian ranks* (Sh., M, I, 3, 95); *our Turkey company never sent the like to the Grand Signior* (Jonson, EMH, I, 1). Cf. the present-day distinction between *Russian dance* — *Russia leather*, *Turkish bath* — *Turkey carpet*, *African governments* — *Africa specialist*, etc.; see E. Kruisinga, A Handbook of Present-day English, Part II, Groningen 1932, pp. 140—142, R. W. Zandvoort, A Handbook of English Grammar, London 1966, § 795.

In the context *they are not China dishes, but very good dishes* (Sh., MfM, II, 1, 100), the word *China* is short for *china-ware*. Cf., however, *a box of china oranges* (Pepys, p. 6).

⁶⁸ *Lethe in Lethe lake* may also be an invariable genitive, see above, p. ...

⁶⁹ The substantive *country* and some other words of the type under consideration occur at first in genitival collocations or detached compounds (e. g. in More's "Utopia" we find: *theyre owne contreye men; hys contreye shuyppes*, etc.; cf. also *store houses, land markes, market place*). See above, p. ... In the 17th century the word *country* begins to be used especially frequently as a premodifier in both prose and verse (probably the final -y contributed to its popularity).

⁷⁰ The substantive *neighbour* was originally used in appositional constructions and this apparently facilitated its subsequent use as a premodifier; see above, p. 71.

⁷¹ In some of the examples just listed, the substantival attribute may probably also be construed as an apposition.

⁷² The execrative premodifier *whor(e)son* appears to have been something of a vogue word in colloquial English in the late 16th and early 17th centuries. It occurs repeatedly in Shakespeare, Jonson, Marlowe, etc. but then soon falls into disuse.

⁷³ Cf. above, pp. 69—70.

⁷⁴ The component *mother* in *mother tongue* is a survival of an old invariable genitive form.

⁷⁵ There were even attempts to make the word agree in number and gender with the headword according to the French pattern: *grete palaysses, gyantes fourres* (OED, Caxton); see our The Use of Substantives in the Common Case as Prepositive Attributes in Middle English, p. 53.

⁷⁶ A later addition to this group is *midget* as in *midget car*; note also the inherent contradiction in the present-day collocation *baby grand piano*.

⁷⁷ Scholars disagree as to the origin and chronology of *beetle brow*. Thus H. C. Wvld points out that already ME knew the compound word *bitel-browed*;

see his Universal Dictionary of the English Language (London 1936) under *beetle*.

⁷⁸ See above, pp. 80, 81—82.

ÜLDKÄANDES NIMISÕNADE KASUTAMISEST PREPOSITIIVSE TÄIENDI FUNKTSIOONIS VARASES UUSINGLISE KEELES

O. Mutt

Resümee

Töös käsitletakse üldkäändes nimisõna kasutamist prepositiivse täiendina (näit. *stone wall, London street, summer holiday*) varases uusinglise keeles (1500—1700). Uurimus põhineb 1750 kasutamishul, mis on kogutud 80-st tekstist 36-lt autorilt (näidendid, luuletused, teaduslik proosa, erakirjavahetus jne.; kokku 2200 lk. teksti, s. o. ca 750 000 sõna).

Erilist tähelepanu pööratakse järgmistele küsimustele: 1) varase uusinglise perioodil kujunenud nimisõnadega homonüümsed omadussõnad; 2) mõnede nimi- ja omadussõna tuletusliidete juhuslik või etümoloogiline sarnasus; 3) nimisõnade tarvitamine lisandi või öeldistäite funktsioonis; 4) antud tüüpi täiendite esinemus eri autorite töödes ja erinevates funktsionaalsetes stiilides. Kirjutis lõpeb ülevaatega varasel uusinglise perioodil prepositiivse täiendina kasutatud nimisõnadest ja nende abil väljendatud atributiivsete suhete liikidest.

Kesk- ja varase uusinglise materjali võrdlus näitab, et nimisõnade kasutamine prepositiivse täiendina oli üldjoontes välja kujunenud keskinglise perioodi lõpuks. Selle konstruktsiooni areng varasel uusinglise perioodil omandas peamiselt järgmised vormid: 1) täiendina kasutatavate nimisõnade struktuuriline ja semantiline mitmekesisustumine ja 2) nimisõnaliste täiendite sagenev tarvitamine ülekantud (piltlikus) tähenduses.

ПРЕПОЗИТИВНО-АТРИБУТИВНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ФОРМЕ ОБЩЕГО ПАДЕЖА В РАННЕНОВОАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

O. Mutt

Резюме

В статье рассматривается развитие употребления существительных в функции препозитивного определения (напр. *stone wall, London street, summer holiday*) в ранненовоанглийский (р. н. а.) период (1500—1700). Материалом служили, главным образом, 1750 примеров взятых из 2200 страниц (примерно 750 000 слов текста) из 80 произведений 36 авторов (драматические, поэтические произведения, научные сочинения, частные письма и т. д.).

В особых подразделах рассматриваются новые пары омонимичных прилагательных и существительных, влияние случайного сходства окончаний прилагательных и существительных на атрибутивное употребление последних, употребление существительных в функции приложения и предикативного члена, частота употребления препозитивных определений этого типа у отдельных авторов и в различных функциональных стилях. Статья кончается классификацией и семантическим анализом существительных употребляемых в функции препозитивных определений в р. н. а. период.

Сравнение р. н. а. материала с ср. а. показывает, что основные черты субстантивных определений сложились к концу ср. а. периода. Распространенное употребление таких определений в XVI—XVII вв. является результатом, главным образом, 1) расширения сферы употребления этих основных типов, развития многочисленных новых подтипов, и 2) возрастающего употребления субстантивных определений в фигуральном значении.

SOME PROBLEMS CONNECTED WITH FOREIGN WORDS AND THEIR IDENTIFICATION IN SWEDISH

J. Soontak
Chair of English

Loan-words are one of the classical fields of linguistic research. The study of foreign material in a language at a certain period may take the form of a study of the whole foreign material without reference either to language of origin or to sphere of reference. In the first part of our article we shall take up the problem of the classification of loan-words (as a problem of general linguistics) and make an attempt to fix the place of foreign words among other loan-words. In the second part of the paper some criteria for the identification of foreign words in Swedish will be given. That will be done on the basis of sports terminology and with special reference to words of English origin.

The number of English loans in all the Scandinavian languages is growing rapidly with Norwegian being the most active in this sense.¹

Sports is a field for whose terminology in several languages, English, for obvious historical reasons, has been the source of borrowing. Nowadays English is the official language of many international sports federations — a fact which has to a large extent contributed to the adoption of English terms into the languages of member-states of the federations. Swedish is not an exception.

We shall accept the definition by V. Aristova — borrowing is the process of the transmission of phonological, morphological, lexical, syntactical and semantical elements from one language into another.² Therefore, when speaking of the transmission of the elements of the same level it is necessary to limit the term "borrowing", e. g. "lexical borrowing".³ loan-word is a word that has appeared in a language by means of borrowing from another language.

¹ M. Sadénemi, *Englantia suomessa*, Virittäjä 1963 (4), Helsinki, 1963, p. 410.

² В. М. Аристова, К истории английских слов в русском языке, (Автореф. канд. дисс.), Самарканд. 1968, p. 11.

³ Л. П. Крысин, Иноязычные слова в современном русском языке, М., 1968, p. 19.

It is possible to classify loan-words in different ways and take different criteria for the basis of classification. If the criterion of what has been borrowed (words, morphemes, etc.) is taken for the basis of classification loan-words have usually been divided into three (e. g. C. F. Hockett,⁴ I. Arnold,⁵ R. Ginzburg et al.⁶) or four (N. Amosova⁷) groups. We would offer the following four groups: full loans, translation loans or calques⁸, semantic loans and morpheme loans (with hybrids or semi-calques⁹ as a subgroup of them).

So called "international words" represent a special problem in the field of loan-words. They are widely used in many languages, especially in terminology. Unfortunately there is no unanimity as for what an international word is. Some linguists are of the opinion that if phonetic, or morphological variants of a word or morpheme having the same source of origin are in use at least in two "world languages" (English, German, French, Spanish, Italian), the term "international word" may be applied to them (V. Fried). Other investigators insist upon the occurrence of such words in all "cultural languages" (A. Frinta)¹⁰. It is quite obvious that two languages is the absolute minimum. But will two be a sufficient number in all cases, which two languages (of the same group of languages or of different groups) should they be, etc. are the problems still to be solved. Probably the preference of "world languages" to others is not justified. Neither is A. Frinta's requirement on the occurrence of international words in all «cultural languages».

For us the classification of loan-words on the basis of the degree of their assimilation is of greatest importance. Loan-words classified according to that criterion fall into three groups — 1) fully assimilated loan-words, 2) partially assimilated loan-words and 3) fully unassimilated loan-words.

⁴ C. F. Hockett, *A Course in Modern Linguistics*, N. Y., 1963, p. 408.

⁵ И. В. Арнольд, *Лексикология современного английского языка*, М.—Л., 1966, p. 307.

⁶ R. S. Ginzburg, S. S. Khidekel, G. Y. Knyazeva, A. A. San-kin, *A Course in Modern English Lexicology*, М., 1966, pp. 247—248.

⁷ Н. Н. Амосова, *Этимологические основы словарного состава английского языка*, М., 1956, p. 191 ff. The fifth group given by N. Amosova — relative loan-words (относительные заимствования) — may be left out here as having a different classification basis — degree of assimilation.

⁸ U. Weinreich, *Languages in Contact*, N. Y., 1953, p. 51 — subdivides translation loans into loan translations proper, loan creations and loan renditions.

⁹ Terms by О. Акманова — О. С. Акманова, *Словарь лингвистических терминов*, М., 1966, p. 338 — and Л. Булаховский — Л. А. Булаховский, *Введение в языкознание II*, М., 1954, p. 123.

¹⁰ Data from the article by М. Маковский — М. Маковский, *К проблеме так называемой «интернациональной» лексики*, ВЯ 1960 (1), М., 1960, p. 44.

It is impossible to make any phonetic distinction between fully assimilated loan-words and native words of the language that has adopted the loans, e. g. the word "start" in Swedish.

The words of the second group are loans which have not been assimilated either semantically, grammatically, phonetically or graphically.

The words of the third group have been taken over in a phonetically and graphically unchanged form. They are sometimes called "citation words".¹¹

Foreign words in our presentation are loan-words that have not been either partially or fully assimilated. Some linguists exclude citation words from foreign words considering them to form a special group of citation words.¹²

"Any word or word-group used to name a notion characteristic of some special field of knowledge, industry or culture"¹³ is referred to as a term.

A word may be taken over either directly from the language where it has its origin (from the "donor"¹⁴) or via another language.

In our treatment a word is of English origin when it has English as its origin of borrowing, i. e. not only or not necessarily as a source of borrowing¹⁵ although this is not the only possible approach to the problem (cf. A. Smirnitsky,¹⁶ V. Aristova,¹⁷ E. Noreen and G. Warberg¹⁸).

The task of identification of foreign words may be approached historically or synchronically. The latter approach has been chosen here. In arranging the criteria we have to some extent relied on the model given by A. Stene (List of criteria of words of foreign status in modern Norwegian, with special reference to words of English origin).¹⁹

It is a known fact that words may be divided into three structural types: simple, derived and compound words. In the process of borrowing all these types have certain peculiarities and special features. G. Pyadusova in her article "On the Borrowed English Sports Terms in French (Simple Terms)"²⁰ claims that

¹¹ E. Wellander, *Riktig svenska*, Stockholm, 1955, p. 154.

¹² *Ibid.*

¹³ И. В. Арнольд, *op. cit.*, p. 263.

¹⁴ C. F. Hockett, p. 408.

¹⁵ Terms used by I. Arnold, *op. cit.*, p. 307.

¹⁶ А. И. Смирницкий, *Лексикология английского языка*, М., 1956, p. 8.

¹⁷ В. М. Аристова, *op. cit.* p. 11.

¹⁸ E. Noreen och G. Warberg, *Främmande ord i svenskan*, Halmstad, 1960.

¹⁹ A. Stene, *English Loan-Words in Modern Norwegian*, London-Oslo, 1945, p. 16.

²⁰ Г. П. Пядусова, К вопросу о заимствованных английских спортивных терминов французским языком (простые термины), *Вестн. ЛГУ*, вып. 4, 1968, № 20, pp. 157—161.

among simple terms "the overwhelming majority" are either direct loans,²¹ i. e. words which are structurally indistinguishable from the foreign pattern, or semantical calques.²² We have not specially investigated whether that is true of the sports terms of English origin in Swedish too. Furthermore, in our study we shall touch only upon foreign words transferred from English into Swedish. Therefore translation loans, semantic loans and morpheme loans are not our subject.

As the material we have had access to has mostly been in the form of newspapers, magazines and books, and as in general the majority of foreign words appear in the language through print, we have taken that into account in the presentation of the following criteria for the identification of foreign words in Swedish.

1. The presence of the letters *w*, *q* and *z* in words:

B-trions Björn Johannesson [2] var lyckosammaste *forward*,
bra assisterad av kedjekamraterna Arne Johansson och Lasse Larsson [1].

B-trions Björn Johannesson [2] var lyckosammaste *forward*,
well assisted by his team-mates Arne Johansson and Lasse Larsson [1].

(DN, 28. 09. 66)

2. The presence of the consonant sequences *ght*, *cc*, *sc*, *cl*, *ks*, final *-sh*, *-ch* and *-gh*, initial *sh-* and *ch-*:

Griffith hoppas få en *match* mot segraren i denna *fight*.

Griffith hopes to have a match with the winner of this fight.

(DN, 03. 11. 66)

Det är främst de feta TV-kontrakten som gör *soccer* fotbollen
fått renässans i USA.

First of all it is big TV-contracts that are responsible for
the renaissance of soccer in U. S. A.

(DN, 14. 07. 67)

30 svenska rallyekipage på guldrush i England.

30 Swedish rally teams on gold rush in England.

(DN, 23. 06. 67)

I Amerika är ishockeyn i hög grad också *show*, ...

In America ice-hockey is very much a show, too ...

(IB 1960, p. 217)

3. The presence of the vowel-combinations *oo*, *ee*, *ow*, *ou*, *ea*, *ey*, *oy*, *ay*, *oa*:

Men Clay är klar favorit med 6—1 hos *bookmakers* trots
att han visat upp en närmast halvhjärtad träning.

²¹ We have called them "citation words".

²² According to our terminology they are sematic loans.

But Clay is a clear favourite with bookmakers (6—1) in spite of his not-too-intensive training.

(EK, 19. 07. 66)

Sten Åke Liberg var som vanligt säker *keeper* i ÖIS-gänget medan Rolf Bragman och Lars Molander var säkra ytterhalv-backar.

Sten Åke Liberg of ÖIS-team was a good keeper as usual while Rolf Bragman and Lars Molander did good work as outside half backs.

(EK, 06. 07. 66)

Årets skandinaviska *bowlings*final om Gillettecupen på Lidingöhallen ...

This year's Gillettecup Scandinavian final in bowling in Lidingöhall ...

(DN, 12. 06. 67)

Det var ett *knockout*slag med långtidsverkan ...

The effect of this knockout lasted for a long time ...

(IB 1960, p. 18)

Jag anser at Olle Tidblom och hans *team* genomförde turneringen på ett förträffligt sätt.

I think that Olle Tidblom and his team competed excellently at the tournament.

(DN, 13. 06. 67)

Förbundet måste tänka om och släppa loss reklamen liksom i *hockey* och övriga sporter.

The League should think of better advertizing as it is done in hockey and other kinds of sports.

(DN, 03. 11. 66)

Oldboymästare blev Eric Sjöstedt, Halmstad, som slog sin klubbkamrat ...

Eric Sjöstedt, Halmstad, became the "oldboy-champion" beating his clubmate ...

(IB 1960, p. 204)

4. The presence of (a sequence of) letters representing some other sound than in Swedish:

Här poserar Hammarbys kedja i *derby*matchen mot Djurgården på torsdag.

Here we can see the Hammarby team against Djurgården in the derby match on Thursday.

(DN, 13. 06. 67)

... sådan är alltså *rugbyn* ...

... so such is rugby ...

(IB 1960, p. 320)

Men en av de från Wales införskrivna linjedomarna hade inget intresse av att vinka för *offside* ...

But one of the Welsh linesmen had no interest in fixing the offside

(DN, 12. 06. 67)

... och släppte bara 4 *game* mot USA-hoppet Bob Lutz.

... and lost only four games to the promising American Bob Lutz.

(DN, 15. 07. 67)

5. Irregularity in the paradigm of a word, e. g. the plural ending -s or no ending:

Den Lundqvistiska "nervkonditionen" sviktade i andra set efter två tappade egna servegame, ...

Lundqvist could not keep his nerves in the second set after his two unsuccessful match balls, ...

(DN, 15. 07. 67)

The criteria listed above are not the only ones available — accent and stress, for instance should also be taken into account. The stress in Swedish words is, as a rule, on the first syllable. Polysyllabic Swedish words are usually pronounced with *gravi*s. Deviations from these rules do not necessarily witness the occurrence of foreign words. Several loanwords in the Swedish language also have stress on the syllable other than first (*magister*, *regering*), and polysyllabic words pronounced with *akut* may also be loanwords.

And still, there is a large group of foreign words which are indistinguishable from native ones on the basis of formal criteria. Here one should look for the stem in Swedish. If none is found, the word is of foreign origin (e. g. "start"):

... *start* sker i dag på den gamla välkända arenan "Skoglunds" centercourt.

... the start will be today on the central court of the old well-known arena "Skoglund".

(EK, 19. 07. 66)

The same procedure could be carried out in the case of numerous English loans (including whole phrases such as "still going strong", "splendid isolation", "dark horse", etc.) which are used in an unchanged form as citation words:

Still going strong är olympiahjälten från London 48, John Ljunggren, Värnamo, som här lagerkransas som segrare i årets Wasamarschen.

The London olympic hero John Ljunggren, 48, Värnamo, is still going strong and is here being awarded the laurel wreath for the winner of this year's Wasamarch.

(IB 1960, p. 217)

... var målet för första gången förlagt till Skansen, dit Herbert Dahlbom anlände i *splendid isolation*.

... the finish was for the first time in Skansen, where Herbert Dahlbom arrived in *splendid isolation*.

(IB 1961, p. 122)

Men som en verkling «dark horse» dök i stället Sven Davidson upp.

But instead appeared Sven Davidson as a real «dark horse».

(IB 1961, p. 413)

In conclusion: the criteria given above only refer to the foreign (English) origin of the word. In case of the presence of one (or several) of the criteria, one should look for the source or origin of borrowing depending on what one is interested in.

Abbreviations Used:

DN — Dagens Nyheter

EK — Eskilstuna Kuriren

IB — Idrottsbok.

VÖÖRSÖNADEGA JA NENDE MÄÄRAMISEGA SEOTUD PROBLEEME ROOTSI KEELES

J. Soontak

Resümee

Laensõnu saab klassifitseerida erinevatelt alustelt ja mitmel viisil. Võttes kriteeriumiks selle, mida on laenatud, jagatakse käesolevas artiklis laensõnad nelja rühma: täielikud laensõnad, tõkelaenud, semantilised laenud ja morfeemlaenud. Assimileerumisastet aluseks võttes antakse kolm gruppi: täielikult assimileerunud laensõnad, osaliselt assimileerunud laensõnad ja täielikult assimileerumata laensõnad. Võõrsõnad on kas täielikult assimileerumata või osaliselt assimileerunud laensõnad.

Artiklis antakse viis tunnust inglise päritolu võõrsõnade määramiseks rootsi keeles, näited on sporditerminoloogias.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СВЯЗАННЫХ С ИНОЯЗЫЧНЫМИ СЛОВАМИ И ИХ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ В ШВЕДСКОМ ЯЗЫКЕ

Я. Соонтак

Резюме

Займствованные слова можно классифицировать по разным признакам. На основе того, что заимствовано, заимствованные слова разделяются в нашей статье на четыре группы: полные заимствования, кальки, семантические заимствования и морфемные заимствования. На основе степени ассимиляции даются три группы: полностью ассимилированные заимствования, частично ассимилированные заимствования и полностью не ассимилированные заимствования. Иноязычные слова — это заимствования, которые не ассимилированы полностью или ассимилированы частично.

Даются пять признаков для идентификации иноязычных слов английского происхождения в шведском языке. Примеры взяты из спортивной терминологии.

СИСТЕМА ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИХ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ И ИХ УПОТРЕБИТЕЛЬНОСТЬ

Н. Я. Тоотс

Кафедра английского языка

В последние годы все больше возрастает интерес к системе древнеанглийских фонем. 25—30 лет назад мало кто считал нужным заниматься фонемами «мёртвого» языка. В 40 гг. возрос интерес к фонемным составам «мёртвых» языков, в их числе и древнеанглийского языка. Начали появляться статьи, посвященные древнеанглийским фонемам как системе древнеанглийского языка.

В связи с интересом к фонеме и фонемным составам языков возник вопрос о функциональной нагрузке фонем разных языков. Проблема еще только начинает разрабатываться, сделано очень мало. Имеются статистические данные об употребительности фонем одних или других современных языков (напр. английского, итальянского, в известной степени русского и некоторых других языков). Имеются и некоторые попытки определить функциональную нагрузку единичных фонем (см. статьи В. В. Иванова¹). Для определения функциональной нагрузки одной или другой фонемы, необходимо в первую очередь знать ее употребительность в языке. Нужно знать её абсолютную употребительность по отношению всех других фонем, т. е. сколько раз она вообще встречается в прорабатываемом материале, а также её употребительность в ударном и безударном положении.

Задача данной статьи и состоит в выборе наиболее подходящей фонологической модели древнеанглийских гласных для проведения анализа их употребительности по подобранным древнеанглийским текстам. Данная работа в дальнейшем может служить материалом при выяснении функциональной нагрузки древнеанглийских гласных фонем.

* * *

*

¹ В. В. Иванов, О функциональной нагрузке согласных в древнеанглийском языке конца X и начала XI вв., Вестн. МГУ, 1966, № 4; он же Функциональная нагрузка оппозиций фонем, Вестн. МГУ, 1964, № 5.

Большое внимание уделяли вопросу о фонемах и фонемном составе древнеанглийского языка структуралисты США, много сделано и Пражским лингвистами (Б. Трика и др.). Из отечественных языковедов глубокий анализ древнеанглийским фонемам дал проф. И. А. Смирницкий, кроме него занимались этой проблемой Б. А. Ильиш, Н. А. Слюсарева, Я. Б. Крупаткин, И. П. Иванова и др. Но до сих пор нет общей точки зрения на состав фонем древнеанглийского языка, не решен ряд проблем, связанных с разработкой фонемной системы древнеанглийского языка. Некоторые из этих проблем, по мнению многих лингвистов, никогда не будут решены. Например, вопрос о том, кто делал первые записи древнеанглийского языка, кем были первые писцы — были ли они людьми, чей родной язык был английский (один из его многих диалектов) или они были иностранцами, которые записывали английскую речь по моделям своего родного языка. Ш. М. Кун,² К. Бруннер³ склонны были считать, что родным языком писцов был тот самый диалект, на котором они записывали, или же они знали этот диалект очень хорошо. Кроме того писцы явно не могли быть тренированными фонетистами, располагающими системой транскрипции. Вероятно писцы записывали по слуху, пытаясь передать латинскими буквами звуки древнеанглийского языка.

Ф. Моссе и М. Донт⁴ считают, что писцы были иностранцами (в основном ирландцы) и записывали все с точки зрения своего родного языка. В таком случае нельзя считать древнеанглийские записи фонетичными и нельзя считать, что все произносилось в большей или меньшей степени так, как записывалось.

Решение этой проблемы не является задачей данной статьи. Автор статьи берет за основу мнение Шермана М. Куна и К. Бруннера, что писцы пытались записать речь близко к реальному произношению. Эта точка зрения берется за основу по двум простым причинам:

1) большинство современных лингвистов поддерживают её и она кажется более убедительной,

2) для облегчения работы над вычислением употребительности фонем.

* *

*

Как в течение истории всех языков, так и английского языка гласные подверглись гораздо большему изменению, чем согласные. Это связано по-видимому с тем, что при произнесении со-

² Sherman M. Kuhn, On the Syllabic Phonemes of OE. — "Language" Vol. 37, No. 4, 1961.

³ K. Brunner, The OE Vowel-Phonemes. — "English Studies", Vol. 34 1953.

⁴ M. Daunt, Some Notes on OE Phonology. Transactions of Philological Society, 1952.

гласных имеется большая определённости: определённые органы речи принимают участие, происходит определённое смыкание или щель в определённом месте. При произнесении гласных нет такой определённости, и они легче поддаются разным влияниям. И поэтому естественно, что на состав древнеанглийских гласных фонем имеется больше различных точек зрения, часто существенно отличных друг от друга. Уже в конце 19 в. и в начале 20 в. Г. Суит⁵ и Х. С. Уайльд⁶ уделили большое внимание изучению звукового состава древнеанглийского языка. Система Г. Суита.⁷

а	ɑ	æ	ī	е	и	о
		ea		eo		
		ē	īe		у	œ
ā	ǣ	ī̄	ē̄	ū̄	ō̄	
			ēō			
		ēa	īe		ū̄	œ̄

Почти такую же систему дает Х. С. Уайльд:⁸

Простые гласные					
Неогубленные				Огубленные	
	передн.		задн.	передн.	задн.
высокие	ī	ī̄	—	у	ū
средние	е	ē̄	а	œ̄	о
низкие	ǣ	ǣ̄	—	—	—

Дифтонги:

ео, ēо, ea, ēa, ie, īe, io, īo

Х. Суит отмечает, что [a], [æ] и [ɑ] могут быть позиционными вариантами (dæg — dagas, fæt — fatu; ɑ — перед назальными согласными: mɑnn, hɑnd). Как Х. Суит, так и Х. С. Уайльд признавали более закрытое и более открытое е, но о их фонематичности они не говорят.

Как Х. Суит, так и Х. С. Уайльд не считали свои системы гласных системами фонем, а называли их системами гласных

⁵ H. Sweet, *History of English Sounds*, Oxford, 1880; он же, *The Sounds of English*, Oxford, 1910.

⁶ H. C. Wyld, *A Short History of English*, London, 1914.

⁷ H. Sweet, *History of English Sounds*, Oxford, 1880.

⁸ H. C. Wyld, *ук. соч.*, стр. 64.

звуков. Современный английский фонетист А. С. Гимсон⁹ уже более смело и твёрдо говорит о фонемном составе древнеанглийского языка:

i: ɪ y: y u: u

e: e 0: ə

æ: æ а: а /аллофон ʁ перед назальными согласными/

ə — встречается в некоторых слабоударных позициях.

Дифтонги: $\epsilon:\text{э}$ эа е:э еа

Его система отличается в основном от предыдущих своеобразной трактовкой дифтонгов.

Американский лингвист Шерман М. Кун¹⁰ дает еще более подробную систему гласных фонем, чем А. С. Гимсон:

	Передние				Задние		Дифтонги	
верхние	i	ī	y	ȳ	u	ū	io [iɔ, iɛ]	īo
средние	e	ē	œ	œ	o	ō	eo	ēo
низкие	æ	æ			a[ɔ]	ā	æa	æa

Подробное описание гласных древнеанглийского языка дал А. И. Смирницкий:¹¹

Простые гласные

	Палатальные		Велярные	
	нелабиализ	лабиализ	нелабиализ	лабиализ
верхние	i ī	y ŷ	— —	u ū
средние	e ē	œ œ̃	— —	o ō
низкие	æ æ̃	— —	a ā	— —

Дифтонги.

Равные кратким гласным: ie, io, eo, ea [æa].

Равные долгим гласным: īe, īo, ēo, ēa [æa].

Такую же систему древнеанглийских гласных дает Н. А. Слюсарева¹², не отмечая только гласных *æ* и *ǣ*.

⁹ A. C. Gimson, *An Introduction to the Pronunciation of English* London, 1962, p. 77.

¹⁰ Sherman M. Kuhn, On the Syllabic Phonemes of OE. — "Language", Vol. 37, No. 4, 1961.

¹¹ А. И. Смирницкий, Древнеанглийский язык, М., 1955, стр. 102.

¹² Н. А. Слюсарева, К вопросу о фонетическом составе вокализма древнеанглийского языка, канд. дисс., М., 1951.

Все вышеуказанные системы похожи друг на друга в большей или меньшей степени. Но совсем своеобразную систему даёт американский структуралист Ч. Ф. Хоккетт¹³:

	Передние			Задние
высокие	i	i	y	u
средние	e	ə	ö	o
низкие	æ	a		ɔ /на письме а/

Из всех исследователей о системе гласных фонем древнеанглийского языка ясно и чётко говорят лишь А. С. Гимсон, Шерман М. Кун и Ч. Ф. Хоккетт. Остальные называют свои системы системами гласных звуков, хотя и имеются основания полагать, что А. И. Смирницкий под своей системой гласных подразумевал именно фонемы, а не звуки. Во множестве статей эти авторы, не упоминаящие фонем, в какой-то мере высказывают свои мнения о фонетичности гласных древнеанглийского языка, но целиком системы как таковой не дают. Автор статьи привел примером лишь несколько попыток систематизирования гласных фонем древнеанглийского языка. Имеются и другие попытки, которые в большей или меньшей степени похожи на одну или другую вышеупомянутую систему и особого интереса не представляют.

Почти все авторы, высказывающие свои мнения о гласных фонемах древнеанглийского языка считают долготу гласных фонематичной и сопоставляют гласные древнеанглийского языка: /a/ — /ā/, /i/ — /ī/, /e/ — /ē/ и т. д. Исключением является часть американских структуралистов (например Ч. Ф. Хоккетт¹⁴), которые не признают долгих и кратких гласных в древнеанглийском языке, считая долгие гласные вариантами кратких, хотя и отмечают долготу знаком /'/, явление, которое называется скольжением.

Также не признает долготы древнеанглийских гласных М. Донт.¹⁵ Она ссылается на новую современную гипотезу о том, что в современном английском языке нет оппозиции по долготу гласных. Но отсутствие оппозиции по долготу гласных фонем современного английского языка еще не доказано и не общепризнано. Пока что считается долготу гласных фонем современного английского языка фонематичной (хотя и наблюдается слабая тенденция к утрате долготы как фонематичной черты).

¹³ Ch. Hockett, *A Course in Modern Linguistics*, N. Y., 1963, p. 375.

¹⁴ Ch. Hockett, *ук. соч.*, стр. 375.

¹⁵ Sherman M. Kuhn, R. Quirk, *Some Recent Interpretations of OE Digraph Spelling*. — "Language", Vol. 29, No. 2, 1953.

Итак, до сих пор традиционная точка зрения признает фонематичность оппозиции по долготе гласных фонем древнеанглийского языка. По отношению /i/ — /ī/, /e/ — /ē/, /y/ — /ȳ/, /u/ — /ū/, /o/ — /ō/ нет почти никакого сомнения, что они являются самостоятельными гласными фонемами древнеанглийского языка, сопоставленными по долготе. Что касается /ā/, /ǣ/, /ēa/, /ēo/, /īe/ и /īo/, то и здесь нет сомнений в самостоятельности этих фонем, хотя относительно соответствующих кратких гласных звуков нет и никогда не было единой точки зрения.

Х. Суит¹⁶ считает краткие гласные [a] и [æ] лишь позиционными вариантами. Н. А. Слюсарева¹⁷ и А. Решкевич¹⁸ также отрицают существование в истории древнеанглийского языка самостоятельных [a] и [æ], так как в отличие от долгих [ā] и [ǣ], отсутствуют или же крайне малочисленны минимальные пары с оппозицией [a/æ].

Б. Трка¹⁹ в двух статьях указывает на фонематичность [a] и [æ]. То же самое подтверждают и Р. П. Стоквел и С. У. Барит.²⁰

Интересно пытался объяснить фонематичность [a] и [æ] американский лингвист С. Чатмэн²¹, ссылаясь на фонологическую симметрию. Тенденция к симметрии должна была способствовать развитию оппозиции [a/æ]. Симметрическая таблица должна была заполниться:

i	u	ī	ū
e	o	ē	ō
()	()	ǣ	ā

В какой-то мере и Я. Б. Крупаткин²² соглашается с такой трактовкой этого вопроса, но он считает ссылку только на симметрию недостаточной. По его мнению имеется и множество других факторов, которые несомненно должны быть учтены.

¹⁶ H. Sweet, *History of English Sounds*, Oxford, 1880.

¹⁷ Н. А. Слюсарева, *ук. соч.*

¹⁸ A. Reszkiewicz, *The Phonemic Interpretation of Old English Digraphs*. — "Biuletyn Polskiego towarzystwa jezykoznawczego," 1953, 12, pp. 179—187.

¹⁹ B. Trnka, *Some Remarks on the Phonological Structure of English*. — "Xenia Pragensia", Prague, 1929; он же, *On the Combinatory Variants and Neutralization of Phonemes*. — *Proceedings of the 3d International Congress of Phonetic Science*, Ghent, 1939.

²⁰ R. P. Stockwell and C. W. Barritt, *Some OE Graphemic-Phonemic Correspondences -ae, ea and a* — *Studies in Linguistics. Occasional Papers*, 4, Washington, 1951.

²¹ S. Chatman, *The a/æ Opposition in OE*. — "Word", 14, 1958 No. 2—3, pp. 224—236.

²² Я. Б. Крупаткин, *Становление древнеанглийского вокализма*, стр. 130 (проблема ингвеонского развития), докт. дисс. Л., 1965.

Я. Б. Крупаткин считает главным недостатком то, что «...фонология до сих пор не связала происхождения а и æ с их статусом автономных фонем».²³

В последние годы большинство исследователей соглашались с тем, что [а] и [æ] в древнеанглийском языке (после 7 в., когда завершилось преломление и умлаут) были различными фонемами. Гласный [ā] или [o] (как его отмечает Х. Суит) — позиционный вариант фонемы /a/ перед носовыми согласными. Автор статьи поддерживает только что сформулированную точку зрения, так как за исходное берется фонематическое написание древнеанглийских текстов, т. е. писалось так, как произносилось и в лингвистике вполне доказаны явления расчленения и слияния фонем, так что вполне могло древнегерманское /a/ расчлениваться в древнеанглийском на /a/ и /æ/, которые опять в свою очередь могли слиться в среднеанглийском в одну фонему.

Нет никакого согласия в вопросе о кратких дифтонгах [ea], [eo], [ie] и [io]. Шерер²⁴, К. Бруннер²⁵, М. Донт²⁶, Н. А. Слюсарева²⁷ и ряд других лингвистов считают, что [ea], [eo], [io] и [ie] являются аллофонами /a/ или /æ/, /e/ и /i/. Шерер²⁸ и М. Донт²⁹ ссылаются на преломление и умлаут и говорят, что [ea], [eo] и [io] служили только для обозначения произношения следующих согласных. Такого же мнения А. Решкевич.³⁰ Категорически отрицает существование дифтонгов в древнеанглийском языке Ч. Ф. Хоккет.³¹ Он считает, что написания ea, eo, io, ie соответствуют монофтонгам с добавочным скольжением. К. Бруннер³² выражает сомнение в существовании преломления и умлаута, так как эти явления основываются только на данных письма, но при этом К. Бруннер не решается признать фонематичность [ea], [eo], [io] и [ie]. Г. Бауер³³ допускает мысль о том, что [ea], [eo] (он говорит только об этих двух дифтонгах) могли быть дифтонгами, но сомневается в их фонематичности и одновременно уверен, что /æ/ или /a/ и /e/ не-аллофоны.

²³ Я. Б. Крупаткин, ук. соч., стр. 190.

²⁴ G. Bauer, The Problem of Short Diphthongs in OE. — "Anglia" Vol. 74, 1956.

²⁵ K. Brunner, The OE Vowel-Phonemes. — "English Studies", Vol. 34 1953.

²⁶ M. Daunt, ук. соч.

²⁷ Н. А. Слюсарева, ук. соч.

²⁸ G. Bauer, ук. соч.

²⁹ M. Daunt, ук. соч.

³⁰ A. Reszkiewicz, ук. соч.

³¹ Ch. F. Hockett, ук. соч.

³² K. Brunner, ук. соч.

³³ G. Bauer, ук. соч.

Шерман М. Кун, Р. Куйрк³⁴ и М. Л. Самуелс³⁵ считают, что краткие дифтонги могли быть самостоятельными фонемами, они отличались от кратких соответствующих монофтонгов. Для подтверждения этого они приводят ряд минимальных пар:

ærn (house) — earn (eagle)
bærn (burrn) — bearn (child)
wæl (battle, the dead) — weal (wall)
merde (injure) — meorde (reward) и т. д.

Конечно, эти слова могут считаться минимальными парами только условно, если разное написание предполагало разное произношение. С таким условием приходится согласиться, так как у нас нет другого выхода. Р. П. Стоквел и С. У. Барит³⁶ считают, что небольшое количество минимальных пар в древнеанглийском языке не дают нам возможности строить такой гипотезы. Шерман М. Кун и Р. Куйрк³⁷ в ответе Р. П. Стоквелу и С. У. Бариту говорят, что в сильно флексивном языке, в котором сравнительно мало заимствований и в котором словарный состав сохранился до нашей эпохи лишь частично, как в древнеанглийском языке, нельзя ожидать обилия минимальных пар, как это имеется в современном английском языке. И если требовать большого количества минимальных пар для определения древнеанглийских фонем, то можно прийти к заключению, что в древнеанглийском языке вообще не было фонематического различия звуков.

М. Л. Самуелс³⁸ и Б. Трнка³⁹ склонны считать краткие дифтонги фонематическими, противопоставленными по долготе долгим дифтонгам. А. И. Смирницкий⁴⁰ говорит о древнеанглийских дифтонгах, как о «ложных», т. е. всё-таки считает существующими, но не совсем понятно, относит ли он их к отдельным фонемам.

Вернемся к минимальным парам. Исследователи современных языков утверждают, что наличие в языке хоть одной минимальной пары означает, что различающие эту минимальную пару звуки — различные фонемы. Эту же точку зрения можно применить к древнеанглийскому языку (условно полагая, что в

³⁴ Sherman M. Kuhn, R. Quirk, Some Recent Interpretations of OE Digraph Spelling. — "Language", Vol. 25, No. 2, 1953.

³⁵ M. L. Samuels, The Study of OE Phonology. — Philological Transactions, London, 1952.

³⁶ R. P. Stockwell, C. W. Barritt, The OE Digraphs: Some Considerations. — "Language", Vol. 31, No. 3, 1953.

³⁷ Sherman M. Kuhn, R. Quirk, ук. соч.

³⁸ M. L. Samuels, ук. соч.

³⁹ Я. Б. Крупаткин, К истории древнеанглийской системы гласных. — ВЯ, № 6, 1962.

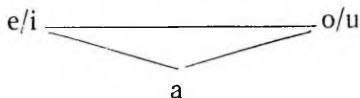
⁴⁰ А. И. Смирницкий, Способы фонологии в истории английского языка. — Вестн. МГУ, 1946, № 2.

древнеанглийском существовали минимальные пары). Конечно, может быть эти фонемы во многих позициях теряли свои смысловоразличительные черты, совпадали с другими фонемами (см. Д. Джоунс⁴¹ и И. П. Иванова⁴²). Мы также можем говорить о малой функциональной нагрузке этих фонем в определенных позициях. Опираясь на эту гипотезу (если эту мысль можно так назвать), на мнение большинства за последние годы и, наконец, на условие, выдвинутое во введении, о фонематичности записей, автор статьи считает, что краткие дифтонги были самостоятельными фонемами /ea/, /eo/, /io/ и /ie/ и сопоставлялись по долготе соответствующим долгим фонемам /ēa/, /ēo/, /īo/ и /īe/.

Что касается безударных гласных, то на них вообще обращалось меньше внимания, чем на ударные гласные. Общепринято, что в безударном положении гласные изменялись, т. е. теряли что-то в качестве, долготе, но в какой степени это все происходило — неизвестно. Мнение об изменении древнеанглийских гласных в безударном положении, вероятно, сложилось на опыте современных языков и на основании того факта, что в безударном положении часто наблюдалось колебание в написании гласных, близких по горизонтальной и по вертикальной оси, т. е. e/i, u/o, a/o, но никогда не варьировались в написании напр. i/a или u/a.

Нельзя забывать о разном произнесении безударных гласных в современных языках. В некоторых языках они как бы стираются, и нейтрализуются очень сильно (английский, русский) и в безударном положении могут появиться новые фонемы (например английская фонема /ə/, которая никогда не встречается под ударением). Но есть и языки, в которых гласные в безударном положении почти совсем не меняются по своему качеству или долготе, а остаются теми же самыми фонемами, что и под ударением (эстонский, французский). Из-за своей длинной и сложной истории современный английский язык не может в данном случае служить прочной основой для определения произношения гласных фонем в безударном положении в древнеанглийском языке.

Проф. А. И. Смирницкий⁴³ считает, что все безударные гласные в древнеанглийском языке сводятся к трем фонемам:



⁴¹ D. Jones, *The Phoneme, Its Nature and Use*, Cambridge, 1962, pp. 72, 73, 195.

⁴² I. P. Ivanova, "Overlapping" of (i) and (ȳ) in OE. — *"Philologica Pragensia"*, 1965, No. 2—3, pp. 220—223.

⁴³ А. И. Смирницкий, *Древнеанглийский язык*, стр. 106.

Он основывается на том, что в древнеанглийском периоде нередко наблюдаются колебания в употреблении букв *i*, *e*, *a*, *o*, *u*, которые говорят о различном произношении.

Ч. Ф. Хоккет⁴⁴ дает совершенно своеобразную и, в какой-то степени, можно сказать, необоснованную систему безударных гласных фонем:

высокий *i*
средний *э*
низкий *э*

Нет сомнения, что в некоторых позициях, где различительная функция фонем значительно уменьшилась, варьирование (или колебание) в употреблении *e/i* и *o/u* происходило, так как это происходит и в современном английском языке: в безударном положении часто редуцируются *a/э*, *i/э*, *u/э* и *e/э*. Но в падежных и различных глагольных окончаниях кажется это явление было редким, так как функциональная нагрузка гласных фонем в падежных и глагольных окончаниях была большой. В промежуточный период перехода к среднеанглийскому, варьирование гласных в падежных окончаниях увеличилось, вследствие постепенного редуцирования окончаний.

Эти вышеупомянутые факты затрудняют нас: были ли в безударном положении особые «промежуточные» фонемы (между *i/e* и *o/u* или, может быть, окончания носили какое-нибудь более выделяющееся или слабое ударение), которое отличало окончания от других безударных гласных. Автор данной статьи считает целесообразным для выполнения задачи, поставленной в данной статье, считать фонемы в безударном положении теми же самыми, что и под ударением с большей или меньшей утратой своих качеств, т. е. считать их аллофонами соответствующих фонем под ударением. Но надо отметить, что в дальнейшем, при выяснении функциональной нагрузки безударных гласных фонем результаты работы могут привести и к противоположному выводу.

* *
*

Из вышеупомянутых систем классификации гласных фонем древнеанглийского языка для подсчета гласных фонем древнеанглийского языка наиболее подходящей представляется система А. И. Смирницкого (см. стр. 105) с некоторыми изменениями по отношению к безударному вокализму.

Таким образом подсчет гласных фонем древнеанглийского языка ведется по следующей модели системы гласных фонем древнеанглийского языка:

⁴⁴ Ch. F. Hockett, ук. соч.

Простые гласные

Передние неогубленные		(палатальные) огубленные		Задние (велярные) неогубленные		огубленные	
верхние	/i/ /ī/	/y/ /ȳ/		—	—	/u/ /ū/	
средние	/e/ /ē/	/œ/ /œ̄/		—	—	/o/ /ō/	
низкие	/æ/ /ǣ/	—	—	/a/ /ā/ *		—	—

Дифтонги.

/ea/, /eo/, /io/, /ie/
/ēa/, /ēo/, /īo/, /īe/

Материалом для подсчета служили тексты уэссекского диалекта, принадлежащие к периоду между 900—1100 гг. Даются данные об употребительности гласных фонем и дифтонгов как в ударном, так и в безударном положении. Гласные, находящиеся под второстепенным ударением (в сложных словах), подсчитываются вместе с гласными, находящимися под главным ударением. Автор статьи считает, что все части речи, за исключением предлогов и союзов, находятся под ударением, хотя проф. А. И. Смирницкий⁴⁵ говорит, что только в некоторых случаях местоимения были под ударением, в большинстве случаев местоимение было безударным.

Итак, подсчитано всего 19 620 древнеанглийских фонем, из которых 7458 (38,01%) гласных и 12 162 (61,99%) согласных фонем, а в современном английском языке соответствующие % следующие: гласных 36,33% и согласных 63,67% (по данным автора статьи) 37,4% и 62,6% (по Р. Е. Хейден⁴⁶), 39,27% и 60,73% (по П. Б. Денес⁴⁷). Можно сказать: соотношение между гласными и согласными как в древнеанглийском, так и в современном английском языках сохранилось почти неизменным.

Рассмотрим теперь абсолютную употребительность гласных фонем древнеанглийского языка.

* Что касается гласных фонем /a/ и /ā/, то здесь нет ясности в том, являются ли они задними, задними продвинутыми или же передними оттянутыми. В таблицах они отмечаются по-разному, чаще где-то между передним и задним рядом. Но если сопоставить их с фонемами /æ/ и /ǣ/, как это делается в некоторых случаях, то /a/ и /ā/ можно считать задними. В данной статье они считаются задними для удобства подсчета.

⁴⁵ А. И. Смирницкий, *Древнеанглийский язык*, М., 1955, стр. 114.

⁴⁶ B. Trnka, *A Phonological Analysis of Present-Day Standard English*, Tokyo, 1966, p. 63.

⁴⁷ P. B. Denes, *On the Statistics of Spoken English*. — "Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung", Bd. 17, H. 1, 1964.

Таблица 1

Абсолютная употребительность древнеанглийских гласных фонем⁴⁸

Фонемы	К общему количеству всех фонем	К общему количеству гласных фонем
1. e	25,2	9,6
2. a	12,6	4,8
3. i	10,8	4,1
4. o	9,73	3,7
5. ā	7,5	2,9
6. u	5,38	2,04
7. æ	4,9	1,9
8. —	4,5	1,70
9. ē	3,3	1,3
10. ō	3,29	1,24
11. ī	2,4	0,9
12. } ēo	1,80	0,68
} ea	1,80	0,68
13. ū	1,47	0,56
14. y	1,4	0,53
15. ēa	1,34	0,51
16. īe	1,29	0,49
17. eo	0,99	0,38
18. ie	0,94	0,36
19. ū	0,28	0,11

В таблице нет гласных фонем /œ/, / $\bar{œ}$ /, /io/ и /i \bar{o} /, так как они не существовали в уэссекском диалекте.

Из таблицы можно сделать несколько выводов:

1. В сравнении с дифтонгами, монофтонги более употребительны (монофтонги 35,38% — дифтонги 3,10%). Это может в какой-то мере свидетельствовать о том, что позиционно дифтонги были ограничением монофтонгов, и как видно, дифтонги /ie/ и /īe/ употреблялись совсем мало, что говорило о их приближающемся исчезновении, хотя не всегда малая функциональная нагрузка говорит об исчезновении фонемы. Уже в конце древнеанглийского периода /ie/ и /īe/ в уэссекском диалекте заменялись часто фонемами /i/, /ī/, /y/ и /ū/.

2. Сравнив употребительность фонем по оппозиции долго-та — краткость видно, что краткие гласные пользуются большей употребительностью, чем долгие (краткие гласные 26,67% — долгие 8,71%). Единственной краткой гласной фонемой с малой употребительностью является гласная фонема /y/. И здесь этот факт может в известной степени предсказать ее приближающееся исчезновение. В конце древнеанглийского периода фонема /y/ часто заменялась фонемой /i/. И если в какой-то степени взять за основу симметрию, как характерную черту для системы

⁴⁸ Данные во всех таблицах даются в % и в порядке употребительности.

гласных английского языка, то и она предсказывает исчезновение /y/, так как задней высокой фонеме /u/ соответствовали две передних высоких фонемы /i/ и /y/, вторая из них сопоставлялась еще и по огубленности. Но такого двоякого сопоставления не было задней средней фонеме /o/ (хотя в ранний период древнеанглийского такое сопоставление существовало /o/ — /e/ /œ/).

Возможно все эти факторы не являются решающими. В связи с исчезновением /y/ и /ȳ/ или дифтонгов /ie/ и /iē/ возникает много вопросов. Например, почему сохраняется именно /i/, а не /y/, которые оба противопоставляются /u/? Почему исчезли в первую очередь /ie/ и /iē/, а не какие-нибудь другие дифтонги? Интересен и тот факт, что /y/ и /ȳ/ исчезли значительно позже (во второй половине среднеанглийского периода), чем /ie/ и /iē/ (в переходный период от древнеанглийского к среднеанглийскому), не употребительность /y/ и /ȳ/ меньше употребительности /ie/ и /iē/ (0,64—0,85%). Почему /y/ и /ȳ/ сохранились дольше /ie/ и /iē/? По-видимому, употребительность фонемы и её функциональная нагрузка не являются единственными факторами, способствующими исчезновению одной или другой фонемы. Имеются и другие, может быть более веские, пока нам не известные, причины, способствующие исчезновению фонем.

Таблица 2

Абсолютная употребительность ударных и безударных гласных по отношению к абсолютной употребительности всех подсчитанных гласных фонем (7458)

Гласная фон.	Под ударением	Без ударения
1. i	7,4	3,4
2. ā	5,9	1,6
3. e	4,9	20,3
4. æ	4,4	0,1
5. æ	3,4	1,5
6. ē	3,3	—
7. o	2,9	0,39
8. o	2,68	7,05
9. i	2,4	0,1
9. a	2,4	10,2
10. u	2,25	3,13
11. ēo	1,8	—
12. ea	1,68	0,12
13. ēa	1,34	—
14. ū	1,47	—
15. iē	1,29	—
16. y	1,2	0,2
17. eo	0,98	0,01
18. iē	0,94	—
19. ū	0,28	—

3. Из верхних, средних и низких фонем самыми употребительными являются гласные фонемы среднего подъема (15,84%), на втором месте гласные фонемы низкого подъема (11,30%), самая меньшая употребительность у гласных фонем верхнего подъема (8,24%).

4. По отношению оппозиции передние — задние видно, что передние более употребительны (20,14%), чем задние (15,24%).

Данная таблица показывает:

1. Все краткие фонемы (за исключением /ie/) встречаются в безударном положении, но из долгих гласных фонем в безударном положении могут встречаться лишь только /ā/, /ō/, /ī/ и в одиночных случаях /æ/. Интересно отметить, что по сравнению со всеми долгими фонемами /ā/ вообще самая употребительная фонема (см. табл. 1). Долгие гласные фонемы /ō/, /ī/ и /æ/ более употребительны, чем остальные долгие гласные фонемы /ū/, /ȳ/, /īe/, /ēa/ и /ēo/. Исключением является лишь /ē/. Абсолютную употребительность этой фонемы по сравнению с другими долгими гласными нельзя назвать маленькой, но интересно то, что эта гласная фонема не употребляется в безударном положении. В общем можно сказать, что долгие гласные фонемы с большей абсолютной употребительностью встречаются и в безударном положении.

2. Самая большая абсолютная употребительность была у фонем /e/, /a/, /i/ (см. табл. 1). Под ударением являются самыми употребительными /i/, /ā/ и /e/, а в безударном положении пользуются большей употребительностью /e/, /a/ и /o/, за ними следуют /i/ и /u/. Остальные гласные фонемы употребляются в безударном положении в незначительном количестве. Отсюда может вытекать и вывод проф. А. И. Смирницкого (см. стр. 112).

3. По оппозиции долготы и краткости, в общем итоге краткие гласные употребляются чаще под ударением, чем долгие (27,83—25,08%).

4. По оппозиции передние — задние, передние гласные фонемы значительно более употребительны, чем задние (27,28—17,60%).

5. Из высоких, средних и низких фонем самыми употребительными являются низкие (16,1%), далее верхние (15%) и менее употребительны средние гласные фонемы (13,78%).

Можно еще проанализировать абсолютную употребительность ударных и безударных гласных фонем в сопоставлении с общим числом абсолютной употребительности данных гласных фонем в отдельности.

Если сравнить количество употреблений этих фонем в ударном и безударном положении, то будет видно, что гласные /ē/, /ȳ/, /ū/, /īe/, /īe/, /ēa/ и /ēo/ употребляются исключительно в ударном положении, хотя их общая употребительность (т. е. в

Таблица 3

Гласный		Под ударением	Без ударения
1.	ē	100	—
	ū	100	—
	ī	100	—
	ie	100	—
	īe	100	—
	ēa	100	—
	ēo	100	—
	—	—	—
2.	æ	99,1	0,9
3.	ī	98,9	1,1
4.	eo	98,6	1,4
5.	ea	93,3	6,7
6.	ō	88,2	11,8
7.	y	84,4	15,2
8.	ā	79,1	20,9
9.	æ	70,0	30,0
10.	i	68,6	31,4
11.	u	41,9	58,1
12.	o	27,5	72,5
13.	e	19,6	80,4
14.	a	19,0	81,0

ударном и безударном положении вместе) довольно-таки маленькая, но под ударением она максимальная. А гласные фонемы /a/, /e/, /o/ и /u/, общая употребительность которых довольно-таки велика (/a/ и /e/ самые употребительные), под ударением — мала.

В конечном итоге можно сказать следующее:

1. В древнеанглийском языке употребительность гласных фонем почти на 24% меньше, чем употребительность согласных фонем.

2. Монофтонги более употребительны чем дифтонги, как в абсолютном употреблении (35,38%—3,10%), так и под ударением (44,88%—8,03%) и без ударения (47,98%—0,13%).

3. Краткие гласные фонемы употребительнее долгих, как абсолютно (28,09—10,39%), так и в двух позициях, описанных в статье, т. е. в ударном (27,83%—25,08%) и безударном (45,91%—2,19%) положении.

4. В употребительности по вертикальной линии, т. е. верхних, средних и низких гласных фонем имеются некоторые различия между абсолютной употребительностью и употребительностью под ударением. При абсолютной употребительности порядок следующий: гласные среднего подъема (15,84%), гласные низкого подъема (11,40%) и гласные верхнего подъема (8,24%), хотя гласных верхнего подъема больше всего. Употребительность

гласных фонем древнеанглийского языка в ударном положении следующая: гласные низкого подъема (16,1%), гласные верхнего подъема (15%) и гласные среднего подъема (13,78%); в безударном положении картина следующая: на первом месте гласные среднего подъема (27,74%), за ними следуют гласные низкого подъема (13,4%) и менее употребительны гласные верхнего подъема (6,83%).

5. Гласные фонемы переднего ряда более употребительны, чем гласные заднего ряда (20,14—15,24%).

Факт, что дифтонги и долгие гласные менее употребительны, чем монофтонги и краткие гласные, может в какой-то мере служить предпосылкой для их исчезновения в дальнейшей истории английского языка.

Просмотрев, таким образом, употребительность гласных фонем древнеанглийского языка, мы можем сказать, что менее употребительные фонемы исчезли раньше или позже из языка; самой меньшей употребительностью пользуются дифтонги и они исчезают уже в среднеанглийском периоде, менее употребительные фонемы /u/ и /ū/ также исчезают до новоанглийского периода, меняются и долгие гласные фонемы, которые менее употребительны, чем краткие гласные фонемы.

Таким образом, проведенные наблюдения показывают определённую связь между употребительностью древнеанглийских гласных фонем и их дальнейшей историей.

* *
*

Интересно сравнить полученные данные употребительности древнеанглийских гласных фонем с такими же подсчётами гласных фонем современного английского языка.

Что касается современного английского языка, то здесь многие авторы подсчитывали употребительность фонем, напр. Д. Фрай⁴⁹, П. Б. Денес⁵⁰, Г. Хердан⁵¹, Г. Дьюи⁵², Р. Е. Хейден⁵³ и др. Но их данные совпадают лишь в очень общих чертах. Различия могут зависеть от многих факторов: во-первых, от модели фонемного состава автора, во-вторых, какой вариант имеется в виду — американский или британский, в-третьих, что берётся за основу — литературный или разговорный язык, в-

⁴⁹ D. Fry, The Frequency of Occurrence of Speech Sounds in Southern English. — Archives néerlandaises de Phonétique Exp., 20, 1947.

⁵⁰ P. B. Denes, ук. соч.

⁵¹ G. Herdan, Language as Choice and Chance, University of Bristol, England, 1956.

⁵² G. Dewey, Relative Frequency of English Speech Sounds, London, 1923

⁵³ B. Trnka, A Phonological Analysis of Present-Day Standard English, Tokyo, 1966.

**Таблица сравнения абсолютной употребительности гласных фонем
современного английского языка**

	П. Б. Денес		Г. Хердан		Р. Е. Хейден		Автор статьи		
1.	ə	9,04	ɪ	8,12	ə	}	ə	9,82	
2.	ɪ	8,25	æ	4,04	ɪ		ɪ	9,08	
3.	aɪ	2,85	ə	3,52	æ		e	2,68	
4.	e	2,81	e	3,50	e		eɪ	1,51	
5.	i:	1,78	ɐ	2,86	eɪ		i:	}	1,45
6.	ou	1,77	ʌ	2,38	ɑ:		aɪ		
7.	ʌ	1,67	i:	1,96	i:		ʌ		1,29
8.	ɐ	1,53	eɪ	1,88	u:		æ		1,23
9.	æ	1,52	ou	1,66	ou		ɐ		1,22
10.	eɪ	1,50	u:	1,63	aɪ		ou		1,19
11.	u:	1,42	aɪ	1,61	ɔ:		ɔ:		1,04
12.	ɔ:	1,20	ɔ:	1,29	ʊ		u:		0,98
13.	ɑ:	}	ʊ	0,70	au		ɑ:		0,70
	au						ɜ:		0,60
	ʊ								
14.	ɜ:	0,67	au	0,61	ɔɪ		ʊ		0,53
15.	εə	0,43	ɑ:	0,50			au		0,51
16.	ɪə	0,29	ʊə	0,31			εə		0,48
17.	ʊə	0,14	ɔɪ	0,09			ɪə		0,37
18.	ɔɪ	0,08					ʊə		0,11
19.				нет /εə/, /ɪə/, /ɜ:/		нет /εə/, /ɪə/, /ʊə/, /ɜ:/, /ɐ/	ɔɪ		0,08
20.									

четвертых, индивидуальности при произнесении (если подсчитывание ведется по устной речи), но могут быть еще и другие менее значительные факторы.

Модель системы гласных фонем современного английского языка у Г. Хердана состоит из 17 гласных фонем, у Г. Дьюи из 16, у П. Б. Денеса из 20, у Р. Е. Хейден из 15 гласных фонем. Модель системы гласных фонем современного английского языка у автора данной статьи состоит из 20 гласных фонем. Результаты подсчета гласных фонем различными авторами даются в сравнительной таблице, хотя и дальнейший анализ проводится на материале автора статьи.

Употребленность гласных фонем, подсчитанная автором статьи, совпадает больше всего с данными П. Б. Денеса, по-видимому, потому, что модели фонемной системы гласных совпадают.

Подсчитано всего 21.000 фонем современного английского языка, из них 36,33% гласных и 63,67% согласных (у П. Б. Денеса 39,27% гласных и 60,73% согласных, у Р. Е. Хейден 37,4% гласных и 62,6% согласных). Материал подобран из самых раз-

личных источников (см. список, стр. 38), темп чтения текстов умеренный, ясность чтения дикторская.

Рассмотрим абсолютную употребительность гласных фонем современного английского языка.

Таблица 4

	Гласная фонема	По отношению всего числа подсчитанных фонем (21 000)	По отношению всех подсчитанных гласных фонем
1	э	9,82	27,04
2	ɪ	9,08	25,00
3	e	2,68	7,37
4	eɪ	1,51	4,17
5	i:	1,45	4,01
	aɪ	}	3,98
6	ʌ		3,54
7	æ		3,39
8	ɒ		3,35
9	oʊ		3,26
10	ɔ:	1,04	2,87
11	u:	0,98	2,16
12	ɑ:	0,70	1,91
13	z:	0,60	1,64
14	ʊ	0,53	1,47
15	aʊ	0,51	1,42
16	ɛə	0,48	1,32
17	ɪə	0,37	1,02
18	ʊə	0,11	0,31
19	ɔɪ	0,08	0,21

Таблица показывает, что самыми употребительными являются фонемы /ə/, /ɪ/ и /e/ и менее употребительны дифтонги /ɪə/, /ʊə/ и /ɔɪ/. Дифтонги вообще менее употребительны, чем монофтонги (32,08%—5,7%), краткие гласные употребительнее долгих (28,71%—4,77%); по горизонтальной линии порядок следующий: передние (14,44%), смешанные (10,42%) и задние (5,76%); по вертикальной линии: средние (20,39%), высокие (12,04%) и низкие (4,19%).

Порядок кратких гласных по отношению к их употребительности следующий: /ə/, /ɪ/, /e/, /ʌ/, /æ/, /ɒ/, и /ʊ/; порядок долгих гласных: /i:/, /ɔ:/, /u:/, /ɑ:/, и /z:/; и дифтонгов: /eɪ/, /aɪ/, /oʊ/, /aʊ/, /ɛə/, /ɪə/, /ʊə/ и /ɔɪ/.

Дальше рассмотрим соотношение употребительности гласных фонем современного английского языка под ударением и без ударения.

Таблица 5

Абсолютная употребительность ударных и безударных гласных по отношению к абсолютной употребительности всех подсчитанных гласных фонем (7629)

	Гласная фонема	Под ударением	Без ударения
1	е	6,79	0,58
2	ɪ	4,57	20,13
3	ei	3,68	0,49
4	i:	3,51	0,50
5	а	3,08	0,46
6	æ	2,96	0,41
7	ou	2,82	0,44
8	ɐ	2,77	0,58
9	ai	2,53	1,45
10	ɔ:	2,28	0,59
11	u:	2,01	0,15
12	ɑ:	1,53	0,38
13	з:	1,47	0,17
14	au	1,17	0,25
15	ɪə	0,76	0,26
16	εə	0,66	0,60
17	ʊ	0,54	0,93
18	ʊə	0,24	0,07
19	ɔɪ	0,21	—
20	ə	—	27,04

Для сравнения можно дать таблицы употребительности гласных фонем под ударением и без ударения Г. Дьюи и П. Б. Денеса.

В таблице Г. Дьюи отсутствуют фонемы /ɔɪ/, /ɪə/ и /ʊə/:

Фонема	Под ударением	Без ударения
1	ɪ	4,11
2	æ	3,50
3	е	3,44
4	ɐ	2,90
5	i:	2,12
6	ei	1,84
7	а	1,70
8	u:	1,60
9	ai	1,59
10	ou	1,3
11	ɔ:	1,26
12	ʊ	0,69
13	ɑ:	0,69
14	з:	0,63
15	au	0,59
16	εə	0,23
17	ə	—
18	а	—

И таблица П. Б. Денеса:

Фонема		Под ударением	Без ударения
1	e	4,79	1,29
2	ɪ	3,11	12,23
3	ou	2,99	0,79
4	ʌ	2,80	0,80
5	æ	2,73	0,60
6	aɪ	2,62	3,03
7	ɪ	2,32	0,93
8	eɪ	2,20	0,95
9	ɔ:	1,89	0,67
10	i:	1,78	1,75
11	ɑ:	1,46	0,25
12	u:	1,44	1,41
13	aʊ	1,17	0,47
14	z:	0,83	0,54
15	ʊ	0,80	0,74
16	ɪə	0,47	0,14
17	ɛə	0,42	0,45
18	ɔɪ	0,17	0,93
19	ʊə	0,16	0,13
20	ə	0,04	16,05
Всего:		34,19	43,25

Сравнение этих трех таблиц показывает, в самых общих чертах, их сходство, т. е. /ɪ/ и /e/ находятся среди более употребительных под ударением, /ɪ/ на втором месте по употребительности в безударном положении, /ə/ самая употребительная в безударном положении, дифтонги менее употребительны по сравнению с монофтонгами; более употребительны дифтонги /eɪ/, /aɪ/ и /ou/ и самой маленькой употребительностью пользуются дифтонги /ʊə/ и /ɔɪ/ (у Г. Дьюи их совсем нет); краткие монофтонги употребительнее долгих.

При более точном сравнении, имеется множество расхождений, которые возникают на основе ряда вышеуказанных причин (особенно безударный вокализм).

Можно проанализировать абсолютную употребительность ударных и безударных гласных фонем в сопоставлении с общим числом абсолютной употребительности данных гласных фонем в отдельности (так как это сделано с гласными фонемами древнеанглийского периода на стр. ...).

Из таблицы видно, что /ɔɪ/ — единственная фонема, употребляющаяся только под ударением, хотя и П. Б. Денес в своей таблице показывает, что в одиночных случаях она может встречаться и в безударном положении. Согласно его таблице даже /ə/ в одиночных случаях может встречаться в ударном положе-

Таблица 6

Фонема		Под ударением	Без ударения
1	ɔɪ	100	—
2	е	92,17	7,83
3	з:	89,60	10,40
4	еɪ	88,36	11,64
5	æ	87,25	12,75
6	а	87,03	12,97
7	оʊ	86,34	13,66
8	ɪ	82,42	17,58
9	аʊ	82,41	17,59
10	а:	80,13	19,87
11	ə:	79,45	20,55
12	ʊə	75,0	25,0
13	и:	74,63	25,37
14	ɪə	74,35	25,65
15	і:	68,00	32,00
16	аɪ	63,48	36,52
17	еə	49,50	50,50
18	ʊ	36,61	63,39
19	ɪ	18,29	81,71
20	ə	—	100

нии; это отрицается другими авторами (Г. Дьюи и автором статьи).

Опираясь на данные вышеупомянутых таблиц, можно прийти к следующим выводам:

1. В современном английском языке употребительность гласных фонем на 27,34%—21,46% меньше употребительности согласных.

2. Монофтонги употребительнее дифтонгов, как в абсолютном употреблении (32,08%—5,70%), так и под ударением (31,51%—12,07%) и без ударения (51,92%—3,62%).

3. Краткие гласные фонемы более употребительны, чем долгие, как в абсолютном употреблении (28,71%—4,77%), так и в двух позициях, описанных в статье, т. е. в ударном (20,71%—10,80%) и безударном (50,13%—1,79%) положении.

4. В употребительности по вертикальной линии, т. е. по отношению верхних, средних и низких гласных фонем, картина следующая: самые употребительные как абсолютно, так и под ударением и в безударном положении — средние гласные (20,39%—11,34%—28,25%), на втором месте высокие гласные фонемы (12,04%—10,63%—21,71%) и менее употребительными являются гласные фонемы низкого подъема (4,19%—9,54%—1,96%).

5. В употребительности гласных фонем по горизонтальной линии, не во всех позициях порядок передних, смешанных и зад-

них гласных фонем одинаков. При абсолютной употребительности порядок следующий: самые употребительные — передние гласные (14,44%), за ними следуют смешанные гласные (10,42%) и последними являются задние гласные (5,76%). В ударном положении картина меняется: на первом месте — передние (17,83%), на второе место передвинулись задние (12,21%) и на последнем месте — смешанные (1,47%). В безударном положении смешанные самые употребительные (27,21%), на втором месте — передние (21,62%) и на последнем месте — задние гласные (3,09%). Такое резкое перемещение смешанных гласных фонем (их только две — /з:/ и /э/) зависит от употребления фонемы /э/ только в безударном положении, причем она самая употребительная из всех безударных гласных.

Как известно, дифтонги и долгие гласные не совсем устойчивы в современном английском языке, долгие гласные имеют тенденцию к укорачиванию или же к дифтонгизации, а дифтонги имеют тенденцию к монофтонгизации (см. А. С. Гимсона⁵⁴ и А. Коуин⁵⁵, Ч. Барбер⁵⁶). Конечно, трудно предсказать что-либо определенное, но имеются предположения, что существующие дифтонги и долгие гласные современного английского языка могут исчезнуть или может произойти новый сдвиг гласных, как это было в конце среднеанглийского и в начале новоанглийского периодов.

Если сравнить употребительность древнеанглийских дифтонгов и долгих гласных с употребительностью дифтонгов и долгих гласных современного английского языка, то видно, что как в одном, так и в другом периоде они были исключительно мало употребительны:

В древнеанглийском:		В современном английском языке:
Монофтонги	35,38	32,08
Дифтонги	3,10	5,70
Краткие гласные	28,09	28,71
Долгие гласные	10,39	4,77

При древнеанглийских дифтонгах и долгих гласных употребительность, которая, в свою очередь, связана с функциональной нагрузкой данных фонем, сыграла свою роль в их исчезновении и изменении, хотя может быть и не решающую, то и в современном английском языке малая употребительность дифтонгов и долгих гласных фонем может способствовать их изменению или уничтожению в будущем.

⁵⁴ A. C. Gimson, *An Introduction to the Pronunciation of English*, L., 1964.

⁵⁵ A. Cohen, *Phonemes of English*, Copenhagen, 1962.

⁵⁶ Ch. Barber, *Linguistic Change in Present-Day English*, L., 1964.

Для более ясного сравнения употребительности дифтонгов и монофтонгов в древнеанглийском и современном английском языках даются данные в % в следующей таблице:

Древнеанглийский яз.	Современный англ. яз.
I Абсолютная употребительность	
Монофтонги более употребительные, чем дифтонги	
35,38—3,10	32,08—5,70
Краткие гласные употребительнее долгих	
28,09—10,39	28,71—4,77
II Употребительность под ударением	
Монофтонги употребительнее дифтонгов	
44,88—8,03	31,51—12,07
Краткие гласные более употребительны, чем долгие	
27,83—25,08	20,71—10,80
III Употребительность в безударном положении	
Монофтонги более употребительны, чем дифтонги	
47,98—0,13	51,92—3,62
Краткие гласные употребительнее долгих	
45,91—2,19	50,13—1,79

Если сравнить употребительность дифтонгов в древнеанглийском и современном языках, то можно сказать, что в современном английском языке дифтонги более употребительны, и их всего 8, а в древнеанглийском их было 6.

Употребительность долгих гласных, наоборот, была бóльшей в древнеанглийском языке, их было по количеству тоже больше — 7, а в современном только 5.

Для сравнения употребительности гласных фонем древнеанглийского и современного языков по вертикальной и горизонтальной осям дается следующая таблица:

Древнеангл. язык		Современный англ. яз.	
По горизонтальной оси			
I Абсолютная употребительность			
передние	20,14	передние	14,44
задние	15,24	смешанные	10,42
		задние	5,76
II В ударном положении			
передние	27,18	передние	17,83
задние	17,60	задние	12,21
		смешанные	1,47
III В безударном положении			
задние	22,37	смешанные	27,21
передние	7,6	передние	21,62
		задние	3,09
По вертикальной оси			
I Абсолютная употребительность			
средние	15,84	средние	20,39
низкие	11,40	верхние	12,04
верхние	8,24	низкие	4,19
II В ударном положении			
низкие	16,1	средние	11,34
верхние	15,0	верхние	10,63
средние	13,78	низкие	9,54
III В безударном положении			
средние	27,74	средние	28,25
низкие	13,4	верхние	21,71
верхние	6,83	низкие	1,96

Трудно сравнивать гласные древнеанглийского и современного английского языков по горизонтальной оси, так как в современном английском языке прибавились гласные смешанного ряда, отсутствующие в древнеанглийском языке. В очень общих чертах можно сказать, что как в древнеанглийском, так и современном английском языке на первом плане передние гласные, менее употребительными являются задние гласные.

Легче сравнивать употребительность гласных по вертикальной оси, так как здесь имеются, как в одном, так и в другом периоде гласные верхнего, среднего и низкого подъема. В обоих

периодах преобладают средние гласные. Расхождения имеются в менее употребительных гласных: в древнеанглийском периоде менее употребительными являются верхние, а в современном периоде — низкие гласные.

В общем итоге можно сказать, что потрясающих различий в употребительности гласных фонем древнеанглийского и современного английского языков нет, хотя их фонемные составы различны и можно было бы предположить большие различия в их употребительности.

Полученные сведения являются шагом к изучению функциональной нагрузки гласных фонем древнеанглийского и современного английского языков.

Список текстов, подобранных для подсчитывания фонем

- I. Древнеанглийские тексты: *
 1. Old Testament Pieces, from Aelfric's Translation of the Heptateuch.
 2. Samson, from Aelfric's Translation of the Book of Judges in Thwaites' Heptateuch.
 3. Anglo-Saxon Chronicle.
 4. King Edmund, from Aelfric's Lives of the Saints.
 5. From Aelfric's Translation of the Genesis.
- II. Тексты современного английского языка
 1. J. Aldridge, The Last Inch.
 2. J. Braine, Room at the Top.
 3. A. J. Cronin, The Citadel.
 4. Th. Dreiser, Jennie Gerhardt.
 5. W. Gallacher, Rise Like Lions.
 6. J. Galsworthy, The Apple Tree.
 7. Gr. Greene, The Quiet American.
 8. S. Maugham, The Escape.
 9. G. B. Shaw, Pygmalion.
 10. H. Sweet, The Sounds of English.
 11. O. Wilde, The Importance of Being Earnest.
 12. H. C. Wyld, A History of Modern Colloquial English.
 13. Journal of Anatomy, Vol. 98, 1964.
 14. The Journal of Geography, Vol. 48, No. 9, 1965.
 15. Journal of Nuclear Energy, Vol. 98, 1964.
 16. The Daily Worker, 1965.

ЛИТЕРАТУРА

1. В. В. Иванов, Функциональная нагрузка оппозиций фонем. Вестн. МГУ, 1964, № 5
2. В. В. Иванов, О функциональной нагрузке согласных в древнерусском языке конца X и начала XI вв., Вестн. МГУ, 1966, № 4.

* Все тексты, за исключением 3-го изданы под редакцией Г. Суита.

3. Б. А. Ильиш, История английского языка,
4. Я. Б. Крупаткин, К истории древнеанглийской системы гласных, ВЯ, 1962, № 6.
5. Я. Б. Крупаткин, Становление древнеанглийского вокализма (проблема ингвеонского развития), Дисс. докт., Л., 1965.
6. Н. А. Слюсарева, К вопросу о фонетическом составе вокализма древнеанглийского языка, дисс. канд., М., 1951.
7. А. И. Смирницкий, Древнеанглийский язык, М., 1955.
8. А. И. Смирницкий, Способы фонологии в истории английского языка, Вестн. МГУ, 1946, № 2.
9. Л. Р. Зиндер, К вопросу о фонологической интерпретации данных древней письменности. Вopr. теории и истории языка», ЛГУ, 1963.
10. Ch. Barber, Linguistic Change in Present-Day English, London, 1964.
11. G. Bauer, The Problem of Short Diphthongs in OE "Anglia", Vol. 74 1956.
12. K. Brunner, The OE Vowel Phonemes. — "English Studies", Vol. 34, 1953.
13. S. Chatman, The a/æ Opposition in OE "Word", 14, 1958.
14. A. Cohen, Phonemes of English, Copenhagen, 1962.
15. M. Daunt, Some Notes on OE Phonology. — Transactions of Philological Society", 1962.
16. P. B. Denes, On the Statistics of Spoken English. — "Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung", Bd. 17, H. 1, 1964.
17. G. Dewey, Relative Frequency of English Speech Sounds, London, 1923.
18. D. Fry, The Frequency of Occurrence of Speech Sounds in Southern English. — Archives néerlandaises de Phonétique Exp., Tome XX, 1947
19. A. C. Gimson, An Introduction to the Pronunciation of English, London, 1962.
20. Ch. F. Hockett, A Course in Modern Linguistics, New York, 1963.
21. G. Herdan, Language as Choice and Chance, University of Bristol, England, 1956.
22. J. Krámský, A Quantitative Phonemic Analysis of Italian Mono-, Di- and Trisyllabic Words, "Travaux linguistiques de Prague", I, 1946.
23. I. P. Ivanova, "Overlapping" of (i) and (ý) in OE, "Philologica Pragensia", No. 2—3, 1965.
24. D. Jones, The Phoneme, Its Nature and Use, Cambridge, 1962.
25. D. Jones, An Outline of English Phonetics, Cambridge, 1957.
26. J. B. Krupatkin, OE Breaking, "Philologica Pragensia", No. 1, 1964
27. Sh. M. Kuhn, R. Quirk, Some Recent Interpretations of OE Digraph Spelling, "Language", Vol. 29, No. 2, 1953.
28. Sh. M. Kuhn, R. Quirk, The OE Digraphs: the Reply, "Language" Vol. 31, No. 3, 1955.
29. Sh. M. Kuhn, On the Syllabic Phonemes of OE, "Language", Vol. 37, No. 4, 1961.
30. A. Reszkiewicz, The Phonemic Interpretation of OE Digraphs, "Biuletyn Polskiego towarzystwa językznawczego", 12, 1953.
31. M. L. Samuels, The Study of OE Phonology, "Philological Transactions", London, 1952.
32. R. P. Stockwell, C. W. Barritt, Some OE Graphemic-Phonemic Correspondences — ae, ea, and a, "Studies in Linguistics: Occasional Papers", 4, Washington, 1951.
33. R. P. Stockwell, C. W. Barritt, The OE Digraphs: Some Considerations, "Language", Vol. 31, No. 3, 1953.
34. H. Sweet, History of English Sounds, Oxford, 1880.
35. H. Sweet, The Sounds of English, Oxford, 1910.
36. B. Trnka, Some Remarks on the Phonological Structure of English, "Xenia Pragensia", Prague, 1929.

37. B. Trnka, On the Combinatory Variants and Neutralization of Phonemes, "Proceedings of the 3rd International Congress of Phonetic Science", Ghent, 1939.
38. B. Trnka, A Phonological Analysis of Present-Day Standard English Tokyo, 1966.
39. H. C. Wyld, A Short History of English, London, 1914.

VANAINGLISE KEELE VOKAALFONEEMIDE SÜSTEEM JA NENDE ABSOLUUTNE ESINEMISSAGEDUS

N. Toots

R e s ü m e e

Artikkel käsitleb vanainglise keele vokaalfoneemide süsteemi ja nende absoluutset esinemissagedust nii sõnarõhulises kui ka rõhutus positsioonis. Lõppkokkuvõttes võrreldakse saadud andmed kaasaegse inglise keele vokaalfoneemide absoluutse esinemissagedusega, mille põhjal võib öelda, et pole olulisi muudatusi vokaalfoneemide esinemissageduses ülalmainitud positsioonis, kuigi foneemid ise on palju muutunud.

THE SYSTEM OF OLD ENGLISH VOWEL PHONEMES AND THEIR ABSOLUTE FREQUENCY

N. Toots

S u m m a r y

The article deals with the system of Old English vowel phonemes and their absolute frequency in both stressed and unstressed positions. Finally, obtained data are compared with the absolute frequency of the vowel phonemes of Contemporary English. The results of this comparison show that there are no essential differences in the absolute frequency of Old English and Contemporary English vowel phonemes in the above-mentioned positions, although the vowel phonemes themselves have undergone many different changes.

РОМАН ФЛОБЕРА «БУВАР И ПЕКЮШЕ» В РУССКОЙ СОВЕТСКОЙ КРИТИКЕ¹

А. Ю. Труммал

Кафедра западноевропейской литературы и классической филологии

В русской советской критике, как и в дореволюционной, Флоберу долгое время тоже «не везло», а его «Бувару и Пекюше» не везет и поныне. Но если былое невезение Флобера легко объяснить господством в нашем тогдашнем литературоведении вульгарно-социологического метода, то продолжающееся и поныне невезение «Буvara и Пекюше» объяснить гораздо труднее, поскольку вульгарно-социологический метод давно уже сдан в архив. Теперь у нас о названном романе пишут люди, исходящие из единых методологических установок. Казалось бы, что и выводы их должны были бы быть если не тождественными, то хотя бы не противоположными и взаимоисключающими. А между тем чаще всего наблюдается именно последнее. Но люди эти не говорят (подобно Луначарскому): «Может быть, мы заблуждаемся, но *мы ищем*»² (истину о «Буваре и Пекюше»). Они и не могли о себе этого сказать, ибо собственно исследования о «Буваре и Пекюше» у нас почти отсутствуют. Во всей советской флобериане имеется лишь две специальные работы об этом произведении (статья М. Д. Эйхенгольца, более чем тридцатилетней давности, и небольшая полемическая статья А. В. Чичерина 1967 г.) да соответствующие разделы в монографических исследованиях Т. Перимовой (1934) и Б. Г. Реизова (1955). Подавляющее же большинство высказываний советских критиков о посмертном романе Флобера содержится в статьях общего характера, исключающих саму возможность исследовательского подхода к такому сложному произведению, как «Бувар и Пекюше».

Ранняя послереволюционная флобериана оказалась, в сущно-

¹ Настоящая статья является продолжением нашей работы «Роман Флобера «Бувар и Пекюше» в оценке дореволюционной русской критики» (см. Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 104, 1961, стр. 208—224 и вып. 119, 1962, стр. 279—314).

² В. И. Ленин, *Материализм и эмпириокритицизм*. Сочинения, т. 14, стр. 8; курсив наш; в дальнейшем наш курсив в цитатах не оговаривается.

сти, продолжением и усугублением той формалистической методологии, которая до революции наиболее отчетливо сказалась в работе Ю. Айхенвальда³. Так, Б. А. Грифцов, признавая, что Флобер, «сам о том не заботясь, оказался мыслителем, наряду с которым мало кого стоило бы поставить из писавших об искусстве», категорически утверждал, что его творчество «вовсе не требует никаких биографических подходов». «Анализ одной фразы» или одного периода Флобера «гораздо ближе подвели бы нас к его творчеству, чем какие бы то ни было рассуждения о связи Флобера с его временем...». И, резюмируя свою мысль, исследователь категорически подчеркивает... «внеисторичность Флобера»⁴.

«Все читатели его, — пишет Б. Грифцов в другом месте, имея в виду того же Флобера, — знают <...>, как мало показывал он свои познания в романах...»⁵. Но ведь «Бувар и Пекюше» — тоже роман, и в нем обнаруживаются как раз огромные познания Флобера.

Впервые о «Буваре и Пекюше» в советской критике упомянула Е. Г. Шульц. В юбилейной речи, прочитанной 5 марта 1922 г. на заседании Историко-филологического общества при Самарском государственном университете, Е. Г. Шульц квалифицировала роман Флобера как «умственные похождения двух глупцов». В результате она пришла к опростетизму и содержащему лишь крупницу истины утверждению, что «в период кропотливого создания «Бувара и Пекюше» <...>, дойдя до полного отчаяния и безысходной тоски от глупости своих героев и пошлости среды, Флобер внезапно находит спасение и отдохновение» в создании «Трех повестей»⁶.

³ См. Ю. Айхенвальд, Густав Флобер, — в кн.: Ю. Айхенвальд, Слово о словах, Пг., <1916>, стр. 153—156 и нашу работу «Роман Флобера «Бувар и Пекюше» в оценке дореволюционной русской критики. Статья 2», — Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 119, Тарту, 1962, стр. 306—308, 312.

⁴ Б. Грифцов, О писательском пути Флобера, — «Шиповник». Сборник литературы и искусства, под ред. Ф. Степуна, № 1. М., изд. «Шиповник», 1922, стр. 141—142.

⁵ Там же, стр. 145.

⁶ Е. Г. Шульц, По поводу столетия со дня рождения Флобера. Изд. Самарского гос. ун-та, 1923, стр. 11, 18—19. «Флобер, — напоминает М. Эйхенгольц, — всячески старался подчеркнуть человечность своей новеллы» «Простая душа». «Здесь, — писал он по поводу названной новеллы г-же Роже де Женетт 19 июня 1876 г., — нет никакой иронии, как Вы предполагаете, наоборот — все это очень печально и очень серьезно. Я хочу разжалобить, вызвать слезы у чувствительных душ, имея сам чувствительную душу» (Гюстав Флобер, Собр. соч. в 10 тт., под общей ред. А. В. Луначарского и М. Д. Эйхенгольца, т. VIII, ГИХЛ, М., 1938, стр. 455; в дальнейшем это восьмитомное издание (тт. IX и X не вышли) обозначается: Флобер, т...). «Для периода работы над романом «Бувар и Пекюше», — продолжает исследователь, — это в высшей степени показательно. При всей остроте флюберовской сатиры в романе <...> она выражала его грустную, пессимистическую философию жизни...» (М. Эйхенгольц, «Три повести» Флобера, — в кн.: Флобер, т. V, стр. 11—12).

Спору нет — Флобер в своих письмах иногда в самом деле говорит о глупости Бувара и Пекюше (и даже о том, что она и его самого как будто захватывает), но работу над романом он временно прервал не по этой причине. Известно, что в апреле 1875 г. Флобер попадает в затруднительное денежное положение, которое действует на него крайне угнетающе. Даже по прошествии шести месяцев он не может еще вполне успокоиться. Так, 3 октября 1875 г. он пишет г-же Роже де Женетт: «Чтобы заниматься искусством, нужна полная беззаботность, а у меня ее нет. <...> я не верю более в себя, я чувствую, что опустошен, а это отнюдь не утешительное открытие. «Бувар и Пекюше» *слишком трудный сюжет*, я отказываюсь от него <...>. Пока что примусь за «Легенду о св. Юлиане Странноприимце», единственно чтобы чем-нибудь заняться, посмотреть, могу ли я еще придумать хотя бы одну фразу, в чем я весьма сомневаюсь»⁷. Ясно, что пресловутая глупость Бувара и Пекюше не сыграла абсолютно никакой роли в том, что в 1875 г. Флобер на некоторое время отказался от продолжения своего философского романа.

В 1928 г. Государственное издательство выпустило томик «Избранных произведений» Флобера, которому предпослана статья А. В. Луначарского «Флобер. Общая характеристика» и статья М. Д. Эйхенгольца «Поэтика Флобера», в которых, как и в примечаниях к вошедшим в этот томик произведениям Флобера, написанных, по-видимому, Эйхенгольцем (хотя на титульном листе и сказано: «Редакция, вступительная статья и комментарии А. В. Луначарского и М. Д. Эйхенгольца»), в той или иной степени и с разных сторон затрагивается и посмертный философский роман Флобера, который представлен в этом томике лишь отдельными отрывками.

По мнению А. В. Луначарского, в «Буваре и Пекюше» «Флобер поставил перед собой колоссальную задачу — он *хотел охватить всю науку* <...>, не оставить во всей области и теоретических и прикладных наук, также и в исторических и социальных, камня на камне»⁸.

Увы, такой задачи Флобер перед собой ставить не мог, так как он любил науку. Это было ясно уже Красносельскому,

⁷ Флобер, т. VIII, стр. 449—450.

⁸ А. В. Луначарский, Флобер. Общая характеристика, — в кн.: Гюстав Флобер, Избранные произведения, Госиздат, М.—Л., 1928, стр. X. «Бувар и Пекюше» (в старом переводе И. И. Ясинского) представлен в этом издании I, II, V, VI, VII и VIII главами (стр. 295—481); на стр. 553—555 дается краткий пересказ III, IV, IX, X глав и плана ненаписанного окончания первого тома романа. Признавая, что редакторская работа в этом издании «произведена с надлежащей точностью и полнотой, удовлетворяющей требованиям строгой критики», и что помещенные в это издание предисловия, «хронологическая канва, материалы к истории текста и критики» — «положительные достижения», рецензировавший это издание К. Локс справедливо

полемизовавшему по этому поводу с Мопассаном⁹ и жаль, что этого не понимает такой выдающийся марксист, как Луначарский, интерпретирующий роман Флобера, как мы увидим, вообще неправильно.

Вначале Луначарский совершенно правильно характеризует Буvara и Пекюше как людей, «которые страстно верят в науку», которым «кажется, что наука есть то, что заменило все прежнее мирозерцание человечества, и что стоит только изучить науку, чтобы быть счастливым»¹⁰. «И вот начинается, — пишет критик далее, — странствование этих двух придурковатых людей через все науки, причем, несмотря на то, что они придурковаты, после того, как они сами проходят эти науки, они вскрывают их внутреннюю «несостоятельность», один за другим законы и завоевания наук оказываются кучей хлама». Но Флобер «подходил к науке со злобой, предвзято, закрывая глаза на сильные ее стороны, и его критика науки сама никакой критики не выдерживает»¹¹.

говорил о мало оправданном сокращении текста «Буvara и Пекюше». «Таких сокращений, — подчеркивал рецензент, — нельзя производить безнаказанно: «Химия и Вальтер—Скотт <так!> оказались связанными друг с другом, потому что пропущено две главы. Конец «Буvara и Пекюше» — «для них началась заря новой жизни» — точно так же дает ложное представление о развязке романа». «В крайнем случае пересказ <пропущенных глав романа> следовало бы дать в подстрочных примечаниях на месте пропусков» (К. Локс, Гюстав Флобер. Избранные произведения. Ред., вступ. ст. и комментарии М. Д. Эйхенгольца. Предисл. А. В. Луначарского. Гиз. М.—Л. 1928 <так!>, — «Печать и революция», 1929, кн. I, стр. 152, 151). Названные достоинства и недостатки указанного издания отмечались и в рецензии В. Гурвича на это издание. Однако суждения рецензента о самом романе Флобера не всегда справедливы. Отметив, что наибольшую ценность в рецензируемом издании имеют «Лексикон прописных истин» и «Бувар и Пекюше», В. Гурвич справедливо замечает: «Рядом с «Лексиконом» отрывки из «Бувар <так!> и Пекюше» дают не что иное, как художественное оформление той же программы. Глубокомысленные сентенции, практические жизненные правила, мудрые рецепты «Лексикона» ожили, облеклись в плоть и кровь, приобрели кошмарную выразительность в этом сатирическом романе. Здесь встают перед нами нравы провинциального захолустья, здесь обезьяньими гримасами сопровождает обыватель трагическую борьбу Парижа 48 года...» Но трудно поверить, что «На фоне этой всеобщей мизерной посредственности Бувар <так!> и Пекюше возвышаются чудовищными столпами глупости», что «Флобер демонстрирует их тупость, невежество и самомнение», что «От одного прикосновения этих героев все превращается в гигантскую глупость» или что «их любовные похождения» отмечены одной лишью «печатью дикой пошлости» (В. Гурвич, О гениях буржуазной пошлости, — «Книга и революция», 1929, № 17, стр. 20).

⁹ См. А. И. Красносельский, Из истории стремлений художника. (Очерк о Гюставе Флобере), — «Русское богатство», 1897, № 1, стр. 151.

¹⁰ А. В. Луначарский, ук. соч., стр. X. Любопытно, что точно так же думал и сам Флобер, который в письме к г-же Роже де Женетт от 3. X 1875 г. с какой-то завистью замечает: «Счастлив, кто занимается наукой. Она не изменяет своим поклонникам, как литература» (Флобер, т. VIII, стр. 450).

¹¹ Там же, стр. X—XI.

«Никакой критики не выдерживает» прежде всего приведенное мнение А. В. Луначарского. Может быть Бувар и Пекюше и «придурковаты», но разве изучаемые ими Аллеви, Пари и Фенегль с их мнемоникой — умнее? Что касается несостоятельности (слово, употребленное Луначарским в кавычках, т. е. иронически) науки, то разве наука, лишенная метода (а именно такую «науку» имел в виду Флобер), не оказывается неизбежно несостоятельной, а ее «завоевания» — «кучей хлама»? Но кроме *несостоятельности лженауки*, вскрытой Буваром и Пекюше и отрицаемой Луначарским, в романе Флобера обнаруживается еще и несостоятельность самих Бувара и Пекюше (обусловленная, однако, не столько их «придурковатостью», сколько недостаточной научной подготовленностью, отсутствием и у них метода в изучении наук) и несостоятельность самого автора-демиурга, объясняющаяся, однако, не его злобным подходом к науке или нежеланием видеть ее сильные стороны (как думает Луначарский), а тем, что он, будучи метафизиком в вопросах гносеологии, игнорировал относительную истину и с неизбежностью должен был впасть в крайний релятивизм.

Последний роман Флобера, по мнению Луначарского, говорит о его глубокой злобе «против нового буржуазного мира, к которому он *относил и науку*»¹². Новый буржуазный мир Флобер, конечно, презирал и ненавидел; именно с этими чувствами (как видно из его писем) он и создавал свою «лебединую песню». Но отождествлять с этим миром науку он мог лишь в той мере, в какой наука в этом мире опошлялась и превращалась в лженауку.

По определению М. Д. Эйхенгольца «Бувар и Пекюше» — это «сатирическое изображение жизни мелкого буржуа в эпоху Июльской монархии и следующих за ней лет...»¹³. В произведении этом «Флобер нередко вскрывает нелепые и смешные стороны не только книг, потерявших научное значение или его даже не имевших, но и таких научных трудов, философских систем, социально-политических теорий, религиозных верований, которые имели глубокое историческое оправдание», так как «он, в конечном счете, стремится установить относительность научных знаний в целом», что «ни в коей мере не означает, что Флобер вообще отрицал научное знание», ибо обнаруживающееся в его письмах стремление «к организации социальной жизни на научных основах было бы несовместимо с полным научным скепти-

¹² Там же, стр. XI. Впрочем, подобная концепция «Бувара и Пекюше» излагалась А. В. Луначарским уже в лекциях, читанных им в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова (см. А. В. Луначарский, История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах. Часть II. М., Гос. изд., 1924, стр. 176—177).

¹³ М. Эйхенголец, Поэтика Флобера, — в кн.: Гюстав Флобер, Избранные произведения, Госиздат, М.—Л., 1928, стр. XIV.

цизмом. Критика Флобера направлена на нерациональную сторону человеческих знаний. А поскольку дело идет о применении этих знаний Буваром и Пекюше, — на отсутствие метода у них в изучении наук и в их использовании»¹⁴.

Было бы неправильно думать, продолжает Эйхенгольц, будто «сатира Флобера направлена на научные увлечения Буvara и Пекюше, как таковые», ибо во многих критических замечаниях друзей «нельзя найти и тени комизма»: «Флобер как бы целиком воплощается в своих героев», последние становятся его подлинными рупорами. В качестве примера исследователь указывает на пятую главу романа, где в анализе творчества Скотта и Дюма, в характеристике романтических условностей, в критике тенденциозности социальных романов Жорж Санд, в неприязни к так называемому личному роману (Руссо, Констан), в восторге перед наблюдательностью Бальзака и в осознании, наряду с этим, его преувеличений — сказывается, по справедливому замечанию критика, «сам Флобер»¹⁵.

Эйхенгольц справедливо указывает также на известную фрагментарность композиции флюберовского романа, отмечает недостаточную целостность его интриги и фабулы. «Тематической основой» последней он законно считает «изображение неприспособленности двух мечтателей мелких буржуа к практической жизни»¹⁶.

Как на яркий пример используемого Флобером объективного метода изображения (без прибегания «к авторским высказываниям»), критик указывает на шестую главу романа, посвященную, как известно, описанию революции 1848 г. в вымышленном Флобером Шавиньоле. «Пользуясь приемом контрастного параллелизма, — читаем мы у него по этому поводу, — Флобер чрезвычайно искусно <...> рисует классовое расслоение июньских дней, легкую обратимость буржуазии и крестьянства при наступлении реакции, их «измену революции». Почти не затронут сатирой только искренний буржуазный республиканизм Буvara и Пекюше, их внимание к теориям утопического социализма и конечное разочарование, очень близкое к идеологии самого Флобера в пору наступления Второй Империи»¹⁷.

Говоря о стиле флюберовского романа, Эйхенгольц справедливо отмечает «известную эволюцию от некоторой цветистости «Госпожи Бовари» и <...> почти сухой сдержанности «Буvara и Пекюше»»¹⁸.

¹⁴ М. Эйхенгольц, Комментарии, — в кн.: Гюстав Флобер, Избранные произведения, Госиздат, М.—Л., 1928, стр. 550—551.

¹⁵ Там же, стр. 551.

¹⁶ Там же, стр. 552.

¹⁷ Там же, стр. 552—553; см. также цитированную выше статью Эйхенгольца «Поэтика Флобера» (ук. изд., стр. XXXII), где говорится приблизительно то же самое.

¹⁸ М. Эйхенгольц, Поэтика Флобера, цит. изд., стр. XXXII.

Эйхенгольц останавливается и на «сложном», как он признается, вопросе об отношении «Лексикона прописных истин» к «Бувару и Пекюше»¹⁹. Не располагая в 1928 г. материалами, частично опубликованными Деморе в 1931 г., более полно — Дюрри в 1950 г. и более или менее исчерпывающе — Ченто лишь в 1964 году²⁰, и проливающими новый свет на это «темное дело», Эйхенгольц, естественно, не мог не ошибиться в столь «сложном вопросе».

В отношении т. н. «Альбома» критик признает, что он, «несомненно, должен был войти во второй том «Бувара и Пекюше», когда его герои собирались вновь приняться за списывание»; для «Лексикона» же он такую возможность исключает, так как это — «плод творческой фантазии Флобера, а второй том «Бувара и Пекюше», по указанию Флобера, должен был быть собранием «цитат»». На том основании, что «Лексикон» используется «всюду, где Флобер разрабатывает современный сюжет, где дан ряд типов буржуа», Эйхенгольц полагает, что это — «произведение самостоятельное», которое «нельзя еключить в «Бувар и Пекюше» и в силу их идеологической несхожести»: «Если «Лексикон» выражает штампованные изречения «буржуа», который, по Флоберу, «не мыслит», то «Бувар и Пекюше» далеки от этого, так как их сущность в гротескном оформлении критической мысли». Сходство же названных произведений заключается в том, что в основе их, по словам исследователя, «равно лежат лишь характерные для Флобера пессимизм и мизантропия»²¹.

В приведенном рассуждении Эйхенгольцу в какой-то мере принадлежит, по-видимому, лишь навязываемая им Флоберу пресловутая мизантропия; все же остальное (и гораздо более «аргументированно») было сказано Дешармом еще в 1914 г. и повторено в 1921 г.²². Поэтому нет надобности повторять здесь то, о чем в другом месте нам уже приходилось говорить в связи с Дешармом — тем более, что в данном случае ошибка и того и другого исследователя одинаково обусловлена незнанием материалов, еще не введенных тогда в исследовательский обиход²³.

¹⁹ См. М. Эйхенгольц, Комментарий, цит. изд., стр. 563.

²⁰ D. L. Demorest, A travers les plans, manuscrits et dossiers de «Bouvard et Pécuchet», P., Conard, 1931; M.-J. Durr, Flaubert et ses projets inédits, P., <1950>; Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet. Ed. critique par Alberto Cento, précédée des scénarios inédits. Istituto universitario orientale, Napoli—Nizet, Paris, 1964, pp. 3—267.

²¹ М. Эйхенгольц, Комментарий, цит. изд., стр. 563—564.

²² См. René Descharmes, Le «Dictionnaire des idées reçues» dans l'oeuvre de Gustave Flaubert, — «Revue d'Histoire littéraire de la France», 1914, avril—juin, pp. 280—308, 618—640; его же: Autour de «Bouvard et Pécuchet». Etudes documentaires et critiques. P., Librairie de France, 1921, pp. 204—254.

²³ См. об этом: Деморе, ук. соч., стр. 119—124, в особенности же — Дюрри, ук. соч., стр. 96, 118.

С вульгарно-социологических позиций написана статья М. К. Клемана о Флобере. По словам Клемана, «с 1843 года Флобер живет как рантье и чувствует себя как рантье», а его «литературный труд <...> носил характер дилетантизма». Затем мы узнаем, что «Флобер является идеологом французских мелких рантье», а «созданный им литературный стиль» — «особым рантьерским вариантом реалистического стиля»²⁴. Дальше уже и идти некуда. В. А. Десницкий был, безусловно, прав, когда в своем предисловии к названному сборнику указывал, что недостаток всех вошедших в этот сборник статей «заключается <...> в выпяченном и подчеркнутом биографизме» и что статьи эти «построены на методологически порочной предпосылке — попытке доказать принадлежность творчества французских романистов к определенному стилю, исходя из биографических фактов принадлежности писателей к классовой группировке, являющейся субъектом данного стиля»²⁵.

. Естественно, что исходя из таких предпосылок, трудно сказать что-нибудь путное о таком сложном и противоречивом произведении, как «Бувар и Пекюше». Исследователь, собственно, и не пошел дальше пересказа схемы флоберовского романа. И как ни краток этот пересказ, в него, тем не менее, вкралась ошибка. Если бы Бувар и Пекюше и в самом деле стали копировать лишь «отрывки из <...> понравившихся книг» (как уверяет Клеман), то т. н. «Альбом» (ибо именно он, как известно, должен был, в основном, стать плодом их копирования) выглядел бы иначе и содержал бы выписки иного рода, чем те, которые содержатся в нем фактически.

Вначале Флобер квалифицировался Клеманом как рантье, а затем он оказывается у него «сатириком буржуазии», который в своем последнем романе «замахивается на всю буржуазную культуру»²⁶. И противоречие это исследователь «снимает» тоже, разумеется, вульгарно-социологически. «Не участвуя в непосредственной производственной деятельности, — роняет он мимоходом, — рантье чувствовал себя стоящим как бы вне общества, выше его»²⁷.

* *
*

²⁴ М. К. Клеман, Густав Флобер, — в кн.: «Французский реалистический роман XIX века». Сб. статей под ред. В. А. Десницкого, ГИХЛ, Л.—М., 1932, стр. 98, 102, 113.

²⁵ В. А. Десницкий, Предисловие, — в кн.: «Французский реалистический роман XIX века», ГИХЛ, Л.—М., 1932, стр. 8. О влиянии «вульгарной социологии» на указанную работу Клемана говорит и А. Ф. Иващенко (см.: А. Ф. Иващенко, Реализм Флобера. Дисс. на соиск. уч. степени докт. филол. наук. М., 1950, т. II, стр. 483).

²⁶ М. К. Клеман, Густав Флобер, ук. изд., стр. 104, 105.

²⁷ Там же, стр. 107. Приведенные формулировки содержались, впрочем, уже в журнальном варианте статьи Клемана (см. М. К. Клеман, Густав Флобер, — «Литературная учеба», 1931, № 1, стр. 65—82, в особенности же

1934 год ознаменовался в советском флобероведении появлением трех (книга и две статьи) посвященных Флоберу работ Т. Перимовой²⁸. Книга Перимовой выросла из кандидатской диссертации, написанной под руководством И. М. Нусинова и защищенной в Институте Красной Профессуры в июне 1933 г. Это — первая, хотя и небольшая по объему (всего 143 страницы), советская (да и вообще русская) монография о Флобере; «Бувару и Пекюше» в ней посвящено более 20 страниц — больше, чем посвящалось этому произведению любым из русских предшественников Перимовой. Потому-то мы и находим у нее первую (если не считать специальной рецензии К. Арсеньева)²⁹ более или менее развернутую характеристику этого произведения. Оно определяется ею как «история двух *буржуа*, которые, подвергнув тщательной ревизии духовные богатства *буржуазного* общества, приходят к полному разочарованию во всей *буржуазной* культуре»³⁰.

Исследователь, пожалуй, слишком уж напирает на «буржуа» и его дериваты, повторяя их трижды на протяжении трех строк и готовя этим себе в дальнейшем такие трудности, которые заставят его впасть в противоречие. Но он абсолютно прав, подчеркивая, что к «Бувару и Пекюше» нельзя подходить «как к бытовому роману», что его надо «рассматривать <...> как произведение философского и сатирического характера», как «роман-фарс, написанный в нарочито гротескном духе» и подтверждающий «образами основные идеи Флобера»³¹.

стр. 66, 68, 71, 73). Нельзя не отметить определенной общности некоторых положений вульгарно-социологического и современного экзистенциалистского литературоведений. Так, Ж.-П. Сартр, например, упрекает марксистское флобероведение прежде всего за то, что оно «обходит молчанием <...> значение этих трех слов: «принадлежать к буржуазии». Флобер, по его словам, «принадлежит к буржуазии, потому что он *родился в ней*, то есть потому, что он появился в лоне семьи, *уже буржуазной*...» (Jean-Paul Sartre, Questions de méthode, — in: Jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique. T. I. Théorie des ensembles pratiques. P., Gallimard, 1960, p. 45).

²⁸ Т. Перимова, Творчество Флобера, ГИХЛ, М., 1934; ее же, Вехи творческого пути Флобера, — в кн.: «Из истории реализма XIX века на Западе». Сб. статей под ред. и с предисловием Ф. П. Шиллера, ГИХЛ, 1934, стр. 88—114; ее же, Флобер и буржуазный реализм, — «Литературный критик», 1934, № 2, стр. 33—43.

²⁹ Z. Z., Посмертный роман Флобера «Bouvard et Pécuchet», — «Вестник Европы», т. 93 (1882), стр. 250—264.

³⁰ Т. Перимова, Творчество Флобера, стр. 89. Это же — почти дословно — повторяется в статье «Вехи творческого пути Флобера» (см. стр. 108).

³¹ Т. Перимова, Творчество Флобера, стр. 90. Нельзя не отметить, что в статье «Вехи творческого пути Флобера» (стр. 108) Перимова, в явном противоречии с только что приведенными из ее книги словами о взаимоотношении между образами «Буvara и Пекюше» и идеями Флобера, утверждает, будто «автора *меньше всего интересует* обрисовка *характеров* действующих лиц»; последнее утверждение находится в противоречии также с неоднократными заявлениями самого Флобера.

Критик справедливо говорит о двупланности произведения Флобера, который, с одной стороны, осмеивает в нем «невежественных буржуа, берущихся за разрешение мировых проблем, не овладев основами научных знаний», и «парижан, не приспособленных к практической жизни», а, с другой стороны, «пользуется своими карикатурными героями для того, чтобы в гротескном, утрированном духе изобразить достижения буржуазной духовной культуры...» «Отсюда некоторая двойственность впечатления, производимого романом. С одной стороны, как будто высмеиваются герои чудаки-самоучки не от мира сего, но с другой — в их уста вкладываются очень правильные и подчас глубокие суждения о *кризисе буржуазной культуры*, являющиеся выражением мнений самого Флобера»³².

Говоря же о почти полном отсутствии достижений буржуазной духовной культуры, Перимова явно преувеличивает и возводит поклеп не только на «буржуазную культуру», но и на Флобера, якобы совершенно не признававшего этих достижений. Она противоречит тут и самой себе, ибо если буржуазная культура вообще не имела никаких достижений, то нельзя, повидимому, говорить и о ее кризисе.

Стремясь объяснить двойственность образов Бувара и Пекюше, Перимова приравнивает их к фольклорным образам наивных простаков, выражающих «подчас подлинную народную мудрость» — таким как Иванушка-дурачок или тот ребенок из сказки Андерсена «Новое платье короля», «который не только увидел, но и не постеснялся сказать, что «король-то голый»»³³. Видеть в Буваре и Пекюше олицетворение народной мудрости — это, пожалуй, натяжка, ибо их «наивность» несколько превосходит наивность ребенка из сказки Андерсена: последний назвал голым человека, который и в самом деле был гол; флюберовские же герои нередко «называют голыми» тепло одетых людей...

Совершенно верно, что в сельскохозяйственных занятиях Бувара и Пекюше не только обнаруживается беспомощность и невежественность парижан, но и дискредитируется противоположенная в науке методология. Но следует ли из этого, что «изучение законов живого организма невозможно в рамках буржуазной науки» и «научное познание возможно *только* при применении метода материалистической диалектики»?³⁴.

Совершенно верно, что в своих исторических занятиях Бувар и Пекюше сталкиваются с разногласиями «различных исторических систем», связанной «с защитой интересов данной соци-

³² Т. Перимова, Творчество Флобера, стр. 90.

³³ Там же. Отметим маленькую неточность: у Андерсена ребенок говорит о короле: «Но ведь он голый», а слова, вложенные в его уста Перимовой, произносит (уже после его слов) народ (см. Ганс Христиан Андерсен, Сказки и истории, М., 1955, стр. 80).

³⁴ Т. Перимова, Творчество Флобера, стр. 92.

альной группы». Но делать из этого вывод, будто «история является наукой чисто субъективной», или, впадая в противоречие, утверждать, что ее, «как объективной науки, в буржуазном обществе не существует» и что именно «это гениально понял Флобер»³⁵ — нельзя. История, как наука общественная, в условиях существования классового общества всегда с неизбежностью защищает интересы того или другого класса, той или иной социальной группы. Но из этого не следует, что она — наука субъективная или что в буржуазном обществе она менее объективна, чем в любом другом. Что касается Флобера, то ведь он в своем романе заставляет говорить и противоречить друг другу историков самых различных социально-экономических формаций (а не только капиталистической). Поэтому он не мог «гениально понять», будто недостатком объективности страдает только буржуазная историческая наука.

Совершенно верно, что в связи с литературными занятиями Буvara и Пекюше Флобер «устаи своих героев высказывает ряд очень метких, бьющих не в бровь, а прямо в глаз, суждений», не находя «в современной литературе ни одного направления, которое его бы удовлетворяло». Но из этого заключать, что «буржуазная литература не отражает действительности», как это делает Перимова³⁶, — опять-таки нельзя — в особенности после того, как Бувар и Пекюше были сделаны рупорами литературных взглядов самого Флобера (что само по себе уже требовало известных оговорок, которых исследователь, к сожалению, не сделал).

В описании революции 1848 г. Флобер, по справедливому замечанию исследователя, «дает волю своему презрению к политике и полному неверию в возможность каких-либо изменений общественного строя», ибо люди, по его мнению, «несмотря на временную перемену политической окраски, остаются все теми же». В поведении шавиньольских буржуа во время июньского восстания в Париже проявилось «то основное качество буржуазии, за которое ее больше всего ненавидит Флобер, — ее трусость и ничтожество». Потому-то, продолжает Перимова словами Флобера, «прения о конституции никого не интересовали — и 10 декабря все шавиньольцы подали голос за Бонапарта». «Разочарование в политической деятельности», которое почувствовали после этого Бувар и Пекюше, справедливо заключает ис-

³⁵ Там же, стр. 93.

³⁶ Там же, стр. 94, 95. Впрочем, уже в рецензии на книгу Перимовой справедливо указывалось, что «верно в общих чертах раскрывая разоблачительный смысл <...> «Буvara и Пекюше», Т. Перимова чересчур уж увлеклась идеей «разоблачительства» и усматривает его даже там, где автор о нем и не помышлял» (Валентина Дынная, У высот реализма, — «Художественная литература», 1934, № 10, стр. 58).

следователь, «отражает отношение к политике самого Флобера»³⁷.

В дальнейшем, однако, характеристика политических взглядов Флобера (как они выразились в «Буваре и Пекюше») становится у Перимовой во многом неправильной. Флобер, переживший пять правительств, презирает и осуждает их все только потому, оказывается, что «они представляли ту группу буржуазии, к которой классовая группа Флобера стояла в оппозиции». И так как писатель отчаялся в возможности «осуществления своего политического идеала», то «существующий порядок вещей» стал казаться ему, по словам Перимовой, «на ближайший отрезок времени единственно возможной формой правления»³⁸. Изменить же современное политическое устройство Флобер не хочет лишь потому, оказывается, что не верит, будто «общественный переворот способен улучшить положение <...> его угнетенной классовой группы». Можно ли, далее, так категорически утверждать, будто «Флобер считает государственную и общественную деятельность *только* средством, открывающим путь к карьере, наживе, удовлетворению честолюбия», даже если общественно-политические эпизоды его посмертного романа и производят отчасти такое впечатление? Трудно также поверить, чтобы автор «Бувара и Пекюше», переживший события Парижской Коммуны, совсем-таки не видел «того, что господству буржуазии грозит реальная опасность со стороны пролетариата»³⁹.

Для подтверждения своего мнения Перимова ссылается на... произведения Флобера, «где возмущение пролетариата оказывается всегда слишком слабым и несорганизованным, для того чтобы победить буржуазное господство»⁴⁰. Аргумент этот, однако, несостоятелен, ибо в произведениях Флобера говорится, в основном, о том периоде рабочего движения, который предшествовал июньскому восстанию 1848 г., когда пролетариат, осознав, наконец, свои собственные классовые интересы, сделал, как известно, первую решительную попытку вырваться из-под духовной опеки буржуазии и противопоставил себя как четвертое со-

³⁷ Т. Перимова, Творчество Флобера, стр. 95, 97; ср. Флобер, т. VI, стр. 209.

³⁸ Т. Перимова, Творчество Флобера, стр. 98. Для подтверждения своих слов исследователь ссылается на письмо Флобера к Буйлье от 4 сентября 1850 г. (см. Флобер, т. VII, стр. 289). Поскольку в 1850 г. во Франции существовала республика, то получается как будто, что «отшельник из Круассе» был сторонником республиканской формы правления; это, однако, противоречило бы только что сказанному Перимовой, как и высказываниям самого писателя по данному вопросу. Кроме того, следует учесть и исторический опыт Флобера, ибо, хотя в «Буваре и Пекюше» писатель говорит о 1848 г. и Второй республике, он делает это как человек, переживший Вторую империю и живущий в условиях Третьей республики.

³⁹ Там же, стр. 98, 99.

⁴⁰ Там же, стр. 99.

словие идейному руководителю того самого третьего сословия, в которое он некогда входил и сам — попытку отчасти потому именно и неудачную, что она была первой. Таким образом то, что Перимовой представляется лакмусовой бумажкой для определения остроты политического чутья Флобера, на самом деле оказывается мерилom объективности и познавательной ценности его произведений.

Точно так же Перимова ошибается, выводя отрицательное отношение Флобера к всеобщему избирательному праву из его отвращения к «черни», под которой он понимает всю народную массу». Разве Руслен, главный персонаж флоберовского «Кандидата» (1874) — пьесы, направленной специально против всеобщего избирательного права — принадлежит к «черни» (народной массе)? Социалистов, столь же прямолинейно продолжает исследователь, Флобер «как истый идеолог буржуазии, совершенно не выносит»⁴¹. Никто, разумеется, не назовет Флобера социалистом; однако нельзя забывать и того, что социализм, о котором говорится в его произведениях (в том числе и в «Буваре и Пекюше», это домарксов социализм, получивший в «Манифесте коммунистической партии» не менее отрицательную характеристику (объективности ради следует отметить, что несколько ниже Перимова и сама признает сомнение Флобера в способности утопического социализма к общественным преобразованиям «совершенно правильным»)⁴². С другой стороны, нельзя забывать и того невольного восхищения Флобера Интернационалом, которое нашло столь красноречивое выражение в его известном письме к руанскому муниципалитету⁴³. Кроме того, нельзя не отметить и бросающейся в глаза противоречивости Перимовой, в какой-то мере являющейся, по-видимому, следствием терминологической сумятицы в ее рассуждениях, а по существу — неизбежным результатом вульгаризаторства. В итоге Флобер оказывается у нее то истым идеологом буржуазии вообще, то идеологом лишь определенной группы буржуазии.

Исследователь, видимо, прав, когда заявляет: если у Флобера «нет политических друзей ни среди господствующей политической партии, ни среди ее противников, то у него есть явные политические враги среди тех, кто стремится заменить существующий капиталистический строй другим социальным строем». Но можно ли утверждать, что «аполитизм Флобера <...> объективно означал для его времени позицию реакционного буржуа»?⁴⁴ Думается, что позиция, занятая Флобером, была «для его времени» менее реакционной, чем, скажем, позиция Ламартина — активного политического деятеля и фактического главы

⁴¹ Там же.

⁴² Там же, стр. 102.

⁴³ См. Флобер, т. VIII, стр. 356.

⁴⁴ Т. Перимова, Творчество Флобера, стр. 99, 100.

Временного правительства в 1848 г. Если же взять 70 гг. (когда во Франции существовала уже Третья республика), то кто же тогда оказывался реакционнее — Флобер или его Руслен? Сомнений, кажется, не должно быть, если только не предположить, что писатель критикует своего героя...справа!.. Перимова и сама, в конце концов, признает нечто подобное, когда пишет: «если мы <...> рассмотрим, как вела себя буржуазия во время революции 1848 года и каковы были результаты, к которым привело ее поведение <...>, — то мы увидим, что в изображении участия буржуазии в революции 1848 года Флобер показал себя большим художником»⁴⁵. Нам кажется возможным добавить, что он показал себя и неплохим гражданином, поскольку, будучи по своему социальному положению буржуа, он по своим взглядам и по своему поведению оказался настолько выше своего класса, что смог взглянуть на него сверху вниз и осудить как слова, так и дела его. Что касается изображения Флобером в «Буваре и Пекюше» «рабочего класса и его участия в революции 1848 года как жалкого и почти комического эпизода», которое объявляется Перимовой «искаженным отображением <...> исторического факта первостепенной важности»⁴⁶, то в этом деле следует учесть то, что Флобер в данном случае говорит не о парижском, а о провинциальном и отчасти даже сельском пролетариате, который по сравнению со столичным был, разумеется, политически гораздо менее зрелым и самостоятельным и, идя на поводу у беспринципных демагогов, прикидывавшихся его друзьями и защитниками, легко мог сыграть комическую роль и оказаться в жалком положении.

Перимова упрощает и проблему любви в романе Флобера, решая ее лишь на истории «любви» Бувара и госпожи Борден (которая у нее почему-то превращена в госпожу *Бордей*) и совершенно игнорируя другие аспекты этого чувства, представленные такими несходными и своеобразными парами, как Пекюше — Мели, госпожа Кастильон — Горжю, Ромиш — Викторина или такой пародией на традиционный «любовный» треугольник как Горжю — Мели — Пекюше с его типическим грустным окончанием. Поэтому, когда Перимова, для доказательства своего тезиса, что в буржуазном «обществе даже чувство любви опошлено и опоганено», указывает на предполагаемый союз Бувара и госпожи Борден, который «расстраивается из-за несогласий имущественного порядка» и сводит «игру страстей» в современном буржуазном обществе лишь к биржевой игре, она как истый вульгаризатор обедняет исследуемое явление. А между тем, трактовка любви в «Буваре и Пекюше» должна была бы привести исследователя к гораздо более серьезным размышле-

⁴⁵ Там же, стр. 100.

⁴⁶ Там же, стр. 101; ср. Флобер, т. VI, стр. 202—206.

ниям и сопоставлениям с описанием этого чувства в предыдущих произведениях Флобера. Отсутствие этого в исследовании Перимовой тем более досадно, что она оказалась одной из немногих, заметивших тему любви в этом романе Флобера⁴⁷.

Изучение философии, по замечанию Перимовой, приводит Буvara и Пекюше «к заключению, что вообще знать ничего не дано, ибо нет подлинного критерия истинности»⁴⁸. Другими словами — Бувар и Пекюше приходят к релятивизму и агностицизму. Однако, говоря об этом, Перимова как будто забывает о том, что приходят-то они к этому волею Флобера, который подошел к этому задолго до своих героев. Однако, когда «скептицизм» Буvara и Пекюше доходит до того, что они в системе Гегеля усматривают, по выражению Перимовой, «тарабарщину, которую вообще трудно понять, а не только усвоить»⁴⁹, то Флобер явно от них отрешивается, ибо тут скептицизм переходит в глупость.

Но если в области философии и гносеологии скептицизм Буvara и Пекюше часто граничит с глупостью и обуславливается ею, и позиция Флобера по отношению к ним напоминает позицию Полишинеля в «Лилиюли» Р. Роллана, то их этический скептицизм встречает со стороны автора совсем иное отношение, и тут Флобер устами своих героев критикует не только «моральные устои *современного буржуазного общества*», как думает

⁴⁷ Нет, впрочем, особых оснований нападать на исследователей «Буvara и Пекюше», не заметивших в этом романе тему любви, раз сам Флобер в письме к г-же Теннант от 16 декабря 1879 г. дезориентирующе писал о том, что женщины в его романе «занимают <...> мало места, а любовь и вообще никакого» (Флобер, т. VIII, стр. 504). Возможно, что слишком буквальное понимание приведенных слов писателя и делало исследователей «Буvara и Пекюше» слепыми на любовь в этом романе, и они не обращали внимания на то, что в том же письме, всего двумя строками ниже, Флобер писал: «Те, кто читают книги, чтобы узнать, выйдет ли баронесса за виконта, будут разочарованы» (там же, стр. 505). Нам кажется, что последние слова указывают на то, какого рода любовь займет в «Буваре и Пекюше» «мало места»; это та любовь, которая кладется в основу интриги и даже сюжета какого-нибудь любовно-психологического романа и которая (в таком значении), разумеется, не должна была и не могла занять никакого места в романе философском. В этом смысле любовь не занимает никакого места и в вольтеровском «Кандиде», например; но это, конечно, не означает, что в этом произведении (как и в «Буваре и Пекюше») любовь не занимает никакого места вообще. Но это особая, специфическая «любовь» философского романа с ее почти обязательным сифилисом, это любовь-пародия — то, что остается от любви после ее испытания рассудком. «Смущающие и тягостные стычки Буvara и Пекюше с прекрасным полом», справедливо замечает Жиро, происходят в совершенно ином плане, чем любовные истории госпожи Бовари, Фредерика Моро, Мато и Саламбо (см. Raymond Giraud, *The unheroic hero in the Novels of Stendhal, Balzac and Flaubert*, N. Y., Rutgers University Press, 1957, p. 147).

⁴⁸ Т. Перимова, *Творчество Флобера*, стр. 104.

⁴⁹ Там же.

Перимова⁵⁰, но и шаткость, неопределенность и изменчивость этических норм вообще, что, как известно, делает невозможным абсолютное решение вопроса «что такое хорошо и что такое плохо», а это Флоберу кажется, видимо, наиболее абсурдным.

От философии Бувар и Пекюше бросаются, как известно, в объятия теологии, но, убедившись «в невозможности согласовать религиозные догматы с законами простого здравого смысла»⁵¹, бросают ее ради педагогики. В этой области Флобер еще раз обнаруживает недостаток своего метода, ибо, считая определяющим фактором наследственность, совершенно отрицает целесообразность какого бы то ни было воспитания. В этом, по справедливому замечанию Перимовой, сказался «биологизм Флобера, естественно-научное мирозерцание, под влиянием которого он находился»⁵².

«Прогноз будущего, — пишет Перимова в связи с теми мечтаниями о будущем, которым предаются Бувар и Пекюше в плане неоконченной части романа, — мало интересует Флобера, ибо для его мировоззрения характерна статичность <...>, убеждение в том, что <...> пути дальше нет, о будущем можно <...> строить мрачные и радужные картины, но они <...> останутся только мечтами». Во втором, ненаписанном томе «Буvara и Пекюше» Флобер «хотел документами подтвердить основную идею произведения о том, что абсолютной истины нет, а если она есть, то даже наиболее светлым умам ее знать не дано, все наше знание относительно»⁵³.

Хотя это в основном, по-видимому, верно, остается, однако, совершенно невыясненным, какова должна была быть при этом функция Буvara и Пекюше. Думается, что Перимова порою слишком уж полно отождествляет Флобера с его героями, в результате чего вся «глупость» последних сваливается на голову писателя, и погрешности их метода в науках, над которыми писатель насмехается, смешиваются с недостатками его собственного метода, о которых он и не подозревает. Мы целиком присоединяемся к исследователю, называющему «Буvara и Пекюше» «крело Флобера, которое по частям разрабатывалось им в течение всей его творческой деятельности», но мы сомневаемся, будто Флобер был так уж убежден, что буржуазная культура «лишена возможности впредь давать какие-либо духовные ценности». Когда же Перимова заявляет, что «Флобер делает эти выводы по отношению ко всему человечеству»⁵⁴, — она впадает в противоречие, ибо если бы дело обстояло так, то человечество до сих пор вообще не обладало бы никакими духовными ценно-

⁵⁰ Там же.

⁵¹ Там же, стр. 105.

⁵² Там же.

⁵³ Там же, стр. 106.

⁵⁴ Там же, стр. 107.

стями, в том числе и произведениями Флобера. Человек, до такой степени пропитанный культурой прошлого, как Флобер, до такой степени преклоняющийся перед наукой и верящий в нее настолько, что она оказывается у него служанкой политики (подобно тому, как когда-то философия была служанкой богословия) — не мог так думать.

«Искания Буvara и Пекюше, — справедливо замечает Перимова в статье «Флобер и буржуазный реализм», — невольно напрашиваются на сравнения с исканиями <...> Фауста...» Но «Фауст был представителем молодого, жизнеспособного, идущего к власти класса. Он не мог остановиться на скептических, пессимистических выводах. Он должен был найти выход из туника, который чуть было не привел его к самоубийству. С помощью <...> беспощадного анализа <...> он нашел свое «прекрасное мгновение» в деятельности, направленной на развитие производительных сил, на создание нового буржуазного строя. Бувар и Пекюше никакого выхода не видят. «Разные времена — разные песни». У истоков развития капиталистического строя буржуазия выдвинула образ Фауста; к тому времени, как начался закат этого строя, Фауст превратился в чудаков самоучек — Бувар <так!> и Пекюше»⁵⁵.

Перимова называет историю исканий Буvara и Пекюше как бы предвосхищением того кризиса «буржуазной науки», о котором говорится в «Материализме и эмпириокритицизме», призывая, правда, к соблюдению при этом величайшей осторожности, ибо «Ленин говорит о тенденции, нашедшей свое полное развитие» уже «после смерти Флобера». Но автор «Буvara и Пекюше» уже в семидесятые годы, оказывается, почуял вышеуказанный кризис «своим художественным чутьем» и даже «установил его исходный пункт — релятивизм, т. е. «как раз то, что <...> ставит в тупик буржуазного ученого: многообразие природы, противоречащие друг другу явления, вновь открываемые наукой факты, не могущие быть объясненными ранее накопленными научными данными и законами формальной логики»⁵⁶. Но если Флобер и чуял кризис буржуазной науки, то полагать его «исходный пункт» в релятивизме он уже никак не мог, ибо сам был стопроцентным релятивистом.

«Флобер, — резюмирует Перимова свой анализ «Буvara и Пекюше», — был типичным представителем буржуазной идеологии, стоял целиком на позитивистских позициях <...>. Но оставаясь при своих релятивистических и скептических выводах,

⁵⁵ Т. Перимова, Флобер и буржуазный реализм, ук. изд., стр. 42; см. также ее работы «Творчество Флобера», цит. изд., стр. 108 и «Вехи твердого пути Флобера», ук. изд., стр. 109—110.

⁵⁶ Т. Перимова, Творчество Флобера, цит. изд., стр. 108; см. также ее статью «Вехи творческого пути Флобера», ук. изд., стр. 109.

он не принял идеализма и поповщины, как это сделала буржуазная наука. Не став на путь диалектического материализма и не приняв идеалистических выводов (его насмешки над спиритизмом и религией), он оказался в положении человека, попавшего в глухой тупик. Для буржуазного идеолога уже одно сознание безвыходности положения <...> является показательным...»⁵⁷.

Основной недостаток книги Т. Перимовой был указан в уже цитированной выше рецензии В. Дынник, которая совершенно справедливо объясняла промахи исследователя «коренной ошибкой всей книги — отсутствием анализа конкретного художественного мира флоберовских произведений, анализа его реалистического стиля». «Недостаточное внимание к гротескному, буффонному стилю «Буvara и Пекюше», — подчеркивала В. Дынник, — <...> приводит Т. Перимову к упрощению и огрублению анализа», поскольку в гротеске «Буvara и Пекюше» «обнажены не только внутренние противоречия буржуазной культуры, но и внутренние противоречия самого автора. Между тем, отметив гротескность «Буvara и Пекюше», Т. Перимова раскрывает лишь ее общую сатирическую направленность, совершенно игнорируя ее художественно-идеологическую специфичность, а гротеск последней книги Флобера, построенный на обыгрывании логических несуразниц буржуазной культуры, — очень важный момент в эволюции всего его творчества, это уже <...> заметное отклонение на путь того рационалистического стиля, блестящим представителем которого был в более позднюю эпоху Анатоль Франс. Переход Флобера к рационалистическому гротеску очень <...> важно было бы связать с нарастанием социальных противоречий во Франции, с нарастанием социального пессимизма у Флобера после Коммуны 1871 г.»⁵⁸

* *

*

⁵⁷ Т. Перимова, Творчество Флобера, цит. изд., стр. 108—109.

⁵⁸ В. Дынник, У высот реализма, цит. изд., стр. 59, 60. Еще более серьезные упреки содержались в другой рецензии на книгу Перимовой. «На всем протяжении книги, — читаем мы в этой рецензии, — Перимова высказывает лишь одну мысль: Флобер является представителем «группы мелкой и стоящей на грани с нею средней буржуазии», группы, «оттесненной от экономического и политического влияния», и, вследствие этого, «основной тон творчества Флобера — утрата иллюзий, несоответствие действительности мечте». Под эту нехитрую мысль подгоняются творческие особенности Флобера. Перимова подробно излагает содержание «Мадам Бовари», «Саламбо», «Воспитания чувств», «Буvara и Пекюше» и других произведений Флобера с единственной целью: доказать то, что и без книги Перимовой было известно и отмечалось буржуазными литературоведами — «утрату иллюзий, несоответствие действительности мечте» <...>. Во всех произведениях выделяется одна черта — пессимизм Флобера. Этой чертой, конечно, отнюдь не исчерпывается своеобразие стиля Флобера, его идеологии, его эстетики» (А. Гербстман, Три книги. Т. Перимова, «Творчество Флобера», В. Дынник, «Анатоль Франс», А. Старцев, «Джон Дос-Пассос». ОГИЗ-ГИХЛ, 1934, — «Литературный Ленинград», № 57 (79), 14 ноября 1934 г., стр. 3).

В один год с появлением рассмотренных работ Перимовой вышел шестой том собрания сочинений Флобера (издававшегося под редакцией А. В. Луначарского и М. Д. Эйхенгольца), в который вошли «Бувар и Пекюше» (в переводе И. Б. Мандельштама) и «Лексикон прописных истин» (в переводе Т. Ириновой). Названные произведения прокомментированы М. Эйхенгольцем, написавшим для данного тома также две статьи⁵⁹, на которых нам теперь и следует остановиться. Для нас, разумеет-

⁵⁹ М. Эйхенголец. Сатирический роман «Бувар и Пекюше»; его же, «Лексикон прописных истин», Флобера, — в кн.: Флобер, т. VI, стр. 5—51 и 393—398. Основные положения первой статьи были в сжатом виде повторены Эйхенгольцем тринадцатью годами позже: см. М. Эйхенголец, Творчество Флобера, — в кн.: Гюстав Флобер, Избранные произведения. Редакция, статья и комментарии М. Д. Эйхенгольца. ГИХЛ, М., 1947, стр. 22—23. Поскольку на последней статье М. Эйхенгольца (по причине ее дублирующего характера) мы в дальнейшем специально останавливаться не будем, отметим здесь же, что она вызвала разгромную «рецензию», автор которой, приветствуя появление массового издания избранных произведений Флобера, яростно обрушивался на вступительную статью М. Эйхенгольца к этому изданию, которая показалась ему явно неудачной (излишне проста, странна, усеяна иностранными словами и, следовательно, не понятна «массовому читателю», который «не будет ежeminутно возиться со словарем иностранных слов, чтобы вникнуть в содержание вступительной статьи», а «просто не станет читать этот набор иностранных слов, претендующий на <...> ненужную и ложную «научность»»). «Если М. Эйхенголец так пишет популярные статьи о западной литературе, — возмущался автор «рецензии», — то как выглядят его лекции студентам, научные статьи и доклады» (Александр Иванов, Проф. М. Эйхенголец искажает русский язык, — «Культура и жизнь», № 15 (70), 30. V 1948, стр. 3).

Если статья А. Иванова порождена, возможно, шовинизмом, то небольшая юбилейная заметка самого М. Эйхенгольца о Флобере, опубликованная тремя годами позже, явилась, видимо, результатом модного тогда у нас антиамериканизма. Приведя из записной книжки Флобера его слова о силе социального лицемерия в США и отрицательное суждение писателя о «Хижине дяди Тома», Эйхенголец заключает свою заметку следующими словами: «Видимо, писатель <т. е. Флобер> предполагал создать сатирическое произведение о современной ему Америке. Этот замысел, к сожалению, остался нереализованным» (М. Эйхенголец, К 130-летию со дня рождения Гюстава Флобера, — «Огонек», 1951, № 50, стр. 16). Как явствует из названной выше, вышедшей более чем за год до того книги Дюрри о нереализованных замыслах Флобера, которую Эйхенголец должен был бы знать, никакого литературного замысла (в том числе и сатирического) «о современной ему Америке» у Флобера не было.

Любопытно, что Я. Фрид, рецензировавший в 1955 г. дополнительное 4-томное французское издание писем Флобера (Oeuvres complètes de Gustave Flaubert. Correspondance. Supplément, t. t. XIX—XXII (1830—1880), P., 1954), говоря о письмах Флобера к Тургеневу (а переводом трех таких писем, сделанным, несомненно, по французскому изданию неопубликованных писем Флобера к Тургеневу (Gustave Flaubert, Lettres inédites à Tourgueneff. Présentation et notes par Gérard Gailly, Monaco, <1946>), начинал свою юбилейную заметку 1951 г. М. Эйхенголец), указывал, что эти порожденные «тревогой за будущее родины» письма свидетельствуют о том, что в семидесятых годах Флобера увлекали «замыслы произведений жанра социально-политической сатиры — романов об империи Наполеона III» (Я. Фрид,

ся, более существенна первая из названных статей М. Эйхенгольца, которая является и поныне (когда мы располагаем уже двумя большими монографиями о Флобере)⁶⁰ самой объемистой и «исчерпывающей» работой о «Буваре и Пекюше» в русской флобериане; поэтому она заслуживает самого внимательного и подробного изучения.

М. Эйхенголец справедливо сближает посмертный роман Флобера с «Искушением святого Антония», в котором писатель показал относительность религиозно-философских учений прошлого; в «Буваре и Пекюше» же он хотел высказать аналогичную мысль «о современном научном знании». Но потом оказывается, что Бувар и Пекюше «подвергают критике все стороны духовной жизни человечества» и, придя «к полному разочарованию в культурных ценностях», отказываются «от смелых исканий», чтобы «снова заняться перепиской»⁶¹.

Это утверждение не согласуется с предшествующим, и им почти стирается то различие между двумя философскими произведениями Флобера, на которое критик сам только что указывал. Непонятно также — почему искания флоберовских героев названы смелыми и почему они снова берутся за переписку, как будто одно и то же — переписывать канцелярские бумаги или составлять «Альбом» и «Лексикон прописных истин». Можно подумать, что, подобно Флоберу, Бувар и Пекюше всю свою жизнь работали над этим «Лексиконом»!

В конечном счете Эйхенголец определяет «Бувара и Пекюше», как «роман о кризисе *буржуазной культуры*» и справедливо называет ошибочным мнение, будто Флобер пришел в нем «к отрицанию научного знания в целом». Исследователь подтверждает это многочисленными выписками из писем Флобера, которые неопровержимо доказывают, что с годами писатель, наоборот, все более и более преклонялся перед наукой и в своей вере в нее доходит до того, что любым «формам социально-политической власти» противопоставляет «асоциальную научную олигархию». В то же время исследователь с полным правом говорит и об углублении «пессимистической философии» Флобера, аполитизм которого «пережил в 1871 году испытание», что «привело писателя к защите капиталистических отношений, когда основам их при Коммуне грозила гибель». Отсюда «особый мизантропический *эмоциональный* тон пессимистической фи-

Письма Флобера Тургеневу, — «Новый мир», 1955, № 6, стр. 305, 306; курсив автора). Об этом (а не о каких-то антиамериканских замыслах) говорит и названная выше книга Дюрри.

⁶⁰ А. Ф. Иващенко, Гюстав Флобер. Из истории реализма во Франции. Изд-во АН СССР, М., 1955, 488 стр. Б. Г. Резов, Творчество Флобера. ГИХЛ, М., 1955, 523 стр.

⁶¹ М. Эйхенголец, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», ук. изд., стр. 6—7; см. также М. Эйхенголец, «Искушение святого Антония» Флобера, — в кн.: Флобер, т. IV, стр. 5—6.

лософии Флобера» и его мрачные замыслы касательно «Буvara и Пекюше» и то, что занятие последних науками используется им «для критического обзора всех знаний»⁶².

Вместе с тем, продолжает Эйхенгольц, писатель старался придать сюжету своего романа «реалистический характер»; поэтому в наброске плана романа с каждой главой связывался тот или иной жизненно-конкретный «бытовой образ». Исследователь, несомненно, прав, называя и самих Буvara и Пекюше «в известном смысле» бытовыми типами, имеющими «различный физический и духовный облик», который призван был нейтрализовать грозившую этим образом схематичность, хотя Бувар и Пекюше, по-видимому, и интересовали писателя «скорее как воплощение определенных идей»⁶³. Однако, говоря об условности этих образов, критик допускает серьезную ошибку. В действительности не Флобер, а Эйхенгольц «заставляет двух скромных писцов <...> пересмотреть всю совокупность человеческих знаний в течение десяти лет», ибо Флобер, как убедительно показал Дешарм, отпустил им на это тридцать лет (в действительности, по вычислению Дешарма, они потратили на это даже тридцать восемь лет)⁶⁴.

Критик правильно отмечает гротеск в изображении внешности Бувар и Пекюше, а также в описании их дружбы, которая (как и их перевоплощение в поэтов и актеров) не без основания квалифицируется им как самопародия. Все это говорит о том, что в образах Буvara и Пекюше «одновременно можно увидеть и мелкобуржуазную посредственность и энтузиазм в отношении к наукам и искусствам, ограниченность наряду с неудачливостью чудаков, непрактичностью парижан; с одной стороны, тщеславие и жестокость, с другой — полную незаинтересованность, самоотверженность, человечность. Бувар и Пекюше то явно возвышаются над окружающей их посредственной средой широтой своих взглядов, то являются маньяками среди людей здравого смысла. Наконец, Бувар и Пекюше, критикующие науки, философию и искусство, в одних случаях обнаруживают легкомыслие и ограниченность, в других — высшее критическое сознание»⁶⁵.

Сложность образов Буvara и Пекюше, продолжает исследователь, затрудняет решение вопроса о том, что Флобер высмеивает — названных героев и их хаотическое увлечение наукой или их филистерское окружение и сами эти науки, переживающие кризис. Бувар и Пекюше «возвышаются над окружающей сре-

⁶² М. Эйхенгольц, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 7, 9, 8, 10.

⁶³ Там же, стр. 10—11.

⁶⁴ См. R. Descharmes, Autour de «Bouvard et Pécuchet», ук. изд., стр. 83.

⁶⁵ М. Эйхенгольц, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 13.

дой своим бескорыстием и честностью, своей любознательностью и полным энтузиазма отношением к знанию»; если же Флобер в своих письмах иногда называет их глупцами, то это объясняется или «раздражением его в связи с трудностями творческой работы над романом», или тем, что «иногда поступки их по своей наивности и опрометчивости граничат с глупостью, каковы черты Флобер мог внести в их образ в целях маскировки и достижения реализма». О симпатии Флобера к Бувару и Пекюше, пишет Эйхенгольц далее, говорят не только неоднократные заявления в его письмах, но и сам роман, в котором они «противопоставляются окружающей их корыстолюбивой, деляческой среде — всем преуспевающим в жизни буржуа, практичным, но посредственным, лишенным высших запросов». ⁶⁶

Эта среда «изображена плоской, отвратительной, но не комичной, — тогда как комическое, гротескное изображение Бувара и Пекюше ни в коей мере не носит отталкивающего характера. Наоборот <...> диспропорция между их устремлениями к возвышенному и смешными попытками осуществить свои замыслы сближает Бувара и Пекюше с идеалистами-искателями, как Дон-Кихот». ⁶⁷

Сельскохозяйственные неудачи Бувара и Пекюше объясняются не столько их глупостью, сколько полной неприспособленностью к сельской жизни двух «парижан», «неумением разобратся в различных данных книжных руководств и на практике применить почерпнутые сведения, корыстолюбием окружающих», «стихийными бедствиями», наконец стремлением автора «изобразить *чудаков*» ⁶⁸. «Опрометчивые выводы Бувара и Пекюше, — справедливо подчеркивает Эйхенгольц, — не следует относить за счет кризиса научных знаний и считать эти выводы мнением самого Флобера», хотя «несомненно, что ряд нелепых сведений, возведенных Флобером в гротеск, почерпнут им из научных или квазинаучных источников» ⁶⁹.

Бувар и Пекюше, усомнившиеся в микроскопе и на этом основании отрицающие физиологию; Бувар и Пекюше, разочаровавшиеся в медицине, геологии и других науках, оказываются, по справедливому замечанию критика, объектами флоберовской пародии; однако, «вне зависимости от пародируемых Флобером практических результатов научных увлечений Бувара и Пекюше,

⁶⁶ Там же, стр. 14—15.

⁶⁷ Там же, стр. 16.

⁶⁸ Там же, стр. 17—18. «... Нужно иметь в виду, — читаем мы в другой статье Эйхенгольца того же времени, — что Бувар и Пекюше, якобы «глупцы», на деле непрактичные энтузиасты знания, и что за нарочито гротескными масками их зачастую скрывается философствующий Флобер...» (М. Эйхенгольц, Флобер, литературное наследие и критика, — «Литературная газета», № 89 (405), 16. VII 1934, стр. 3).

⁶⁹ М. Эйхенгольц, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 19.

*само это увлечение представлено им всегда как нечто возвышенное», потому что он ценит в них прежде всего «потребность в самодовлеющей истине». Но когда к этому бескорыстному научному энтузиазму Буvara и Пекюше примешивается тщеславие и самоуверенность, заставляющие их братья за написание истории или сочинение романа — друзья вновь оказываются объектом флюберовской пародии*⁷⁰.

Основная проблема «Буvara и Пекюше», справедливо подчеркивает Эйхенгольц, — «вопрос об относительности научных знаний». «Анализируя научные теории и философские системы, охватывающие все виды человеческого знания, Бувар и Пекюше <...> останавливаются перед противоречивыми выводами различных доктрин и неустойчивостью знаний», а это «приводит их к полному разочарованию во всех культурных ценностях и к конечному квиетизму...»⁷¹

Критик правильно отмечает известную последовательность в исканиях Буvara и Пекюше: так, разочаровавшись в занятиях сельским хозяйством (только после неудач в изготовлении не консервов, как пишет Эйхенгольц, а вина, «когда незнание научных законов чуть было не привело их к гибели от взрыва аппарата»), они «обращаются к изучению химии», с которой, собственно, и начинается их «обзор всех современных идей»⁷². Однако, несмотря на подчеркнутую Флюбером и отмеченную Эйхенгольцем малую осведомленность Буvara и Пекюше в науках, которая, в частности, обуславливает их смущение даже перед самыми простыми химическими явлениями, «в органической химии и атомной теории» они запутались не только и не столько в силу своей неподготовленности (как думает критик), сколько в силу того, что попытка самого Флюбера разобратся (в процессе работы над романом) в химии оказалась неудачной, в чем он сам откровенно признается в своих письмах⁷³. И если вывод Буvara и Пекюше, будто «в химии нет твердо установленных законов», совпадает «с мыслями Флюбера», то от этого он (вывод), разумеется, еще не становится более разумным или логичным.

Эйхенгольц прав, утверждая, что Буvara и Пекюше заставляет «усомниться в границах человеческого познания» тот простой факт, что «целый ряд существенных вопросов наукой не разрешен». Но к этому следовало бы добавить, что сомнения друзей в данном случае обусловлены тем, что им неведома материалистическая теория познания, а неведома она им потому, что она неизвестна Флюберу самому, который в своем романе, как

⁷⁰ Там же, стр. 19—20.

⁷¹ Там же, стр. 20, 21.

⁷² Там же, стр. 21; ср.: Флюбер, т. VI, стр. 106.

⁷³ См.: Флюбер, т. VIII, стр. 375 (письмо к племяннице Каролине от 26. VIII 1872 г.), 402 (письмо к Жорж Санд от 8. IV 1874 г.).

правильно замечает исследователь по другому поводу, *«ставит, но не разрешает вопроса о кризисе метода в науке»*. Незнание Буваром и Пекюше диалектического метода обуславливает, например, то, что *«относительность действия лекарственных средств в медицине кажется им порочной»* (не мешало бы опять-таки добавить, что само это незнание перешло к ним от позитивиста Флобера). В изучении флоберовскими героями анатомии, физиологии, медицины (да и только ли их?), кроме всего прочего, *«сказывается эмоциональное отношение к науке мало осведомленных в ней людей»*⁷⁴.

В истории, пишет исследователь далее, Бувар и Пекюше находят *«полный субъективизм и утилитаризм в истолковании событий в зависимости от политических, религиозных и иных убеждений»*. *«Проблема личности в истории, случайного и необходимого не разрешены»*. И если друзья в результате изучения истории приходят к выводу, что *«объективной истины в истории не существует»*, то это, по справедливому замечанию Эйхенгольца, вывод самого Флобера, критикующего в данном случае не только своих героев, не овладевших методом изучения истории (их увлечение мнемоникой), но и современную ему историческую науку, лишенную строгого научного метода⁷⁵.

Критик с полным правом говорит о враждебном отношении Флобера к спиритизму, магии и магнетизму, которое в романе выразилось или в том, что Бувар и Пекюше, занимающиеся ими, называют эти откровения *«бредом дурака»* (потому что *«это выходит за пределы естества»*), или в том, что сами друзья изображаются гротескно и пародируются автором, как только они начинают относиться к этим откровениям положительно⁷⁶.

В результате занятий философией, продолжает исследователь, Бувар и Пекюше *«убеждаются в бесплодии метафизики»* и *«приходят к полному релятивизму и агностицизму»*, равно отрицая как идеализм, так и материализм. Нельзя не согласиться и с тем, что в их философских рассуждениях уже отсутствует элемент комического, и что они обнаруживают в них высоко развитое сознание, о чем, по словам критика, свидетельствует хотя бы сделанный ими (неужели без подсказки автора?) синтез философии Гегеля, диалектикой которого они даже пользуются *«для борьбы с религиозной идеей о бессмертии»* (спор Пекюше со священником, эпизод сдохлой собакой)⁷⁷.

⁷⁴ М. Эйхенголец, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 22.

⁷⁵ Там же, стр. 23—24.

⁷⁶ См. там же, стр. 24—25.

⁷⁷ См. там же, стр. 25—26; Флобер, т. VI, стр. 269—270, 274—275.

Думается, что Эйхенголец несколько переоценивает философские способности Буvara и Пекюше; даже упоминаемый им элемент комического не исчезает, например, в их восприятии спинозизма. «Этика» Спинозы, пишет Флобер, *«испугала их своими аксиомами, своими следствиями. Они прочитали только места, отмеченные карандашом»*, после чего им показалось, что *«они нахо-*

Скептицизм Бувара и Пекюше, являющийся, по словам Эйхенгольца, источником их радикализма, «приводит их к сомнению во всем», даже в смысле своего существования. Религия, к которой в момент духовного кризиса друзья случайно обращаются, вскоре тоже их разочаровывает, ибо все в ней «противоречит разуму», свидетельствует «о жестокости и обмане». И поскольку в области религии «мысли Бувара и Пекюше разделял сам Флобер», бывший, в основном, позитивистом, то естественно, что критика религии его героями тоже носит «позитивный характер» и опирается «на научные данные», и что они отказываются от нее «в соответствии с научным своим мировоззрением», из чего с очевидностью следует, что «религия, как выход из кризиса буржуазного сознания», Флобером «не приемлется»⁷⁵.

Что касается воспитания Буваром и Пекюше двух сирот, то оно «носит у них книжный характер». «В результате дурных склонностей, привитых воспитанникам средой, — продолжает исследователь, — добрые намерения друзей терпят крах». Эйхенголец правильно отмечает подчеркиваемую Флобером абстрактность воспитательной системы Бувара и Пекюше, отсутствие у них научного метода в деле воспитания, наконец, — их гротескность, когда они оказываются помешанными на френологии. Педагогический энтузиазм друзей «разбивается действительностью»⁷⁹. Но почему? Потому что Флобер поставил их перед исключительной, специально для них придуманной «действительностью», дав им в воспитанники детей каторжника, чтобы, аргументируя почти исключительно дурной наследственностью («отцовская кровь давала о себе знать!»), заставить друзей потерпеть еще одну неудачу и устами Пекюше заявить о том, что «существуют натуры, лишенные нравственного чувства, и воспитание тогда бессильно».⁸⁰ Поэтому нет ничего удивительного, что «вывод из эпизода о воспитании <...> пессимистичен» и что в нем «преобладает философия фатализма». Но в этом сказалося неумение не столько Бувара и Пекюше (как кажется исследователю), сколько Флобера, «осознать, что единственным выходом было бы изменение социальной среды» и метода воспитания⁸¹.

дятся на воздушном шаре, ночью, среди ледяной стужи, и влекомы беспредельным течением в бездонную пучину, а вокруг нет ничего кроме неосозаемого, неподвижного, вечного. Это было выше их сил. Они бросили книгу» (Флобер, т. VI, стр. 258, 259; цитировано у Б. Г. Рензова, ук. соч., стр. 498).

⁷⁸ М. Эйхенголец, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 26—27.

⁷⁹ Там же, стр. 27—28.

⁸⁰ Флобер, т. VI, стр. 348; цитировано у М. Эйхенгольца, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 28.

⁸¹ М. Эйхенголец, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 28.

Затем критик особо останавливается на пятой и шестой главах романа, поскольку в них «устаи Бувар и Пекюше Флобер более непосредственно излагает свои мысли» и «тем самым снимает комизм, свойственный их характерам»⁸².

«Характеристика романтической литературы, — пишет исследователь, — выдержана в пятой главе в иронических тонах». Оценка Буваром и Пекюше творчества Вальтера Скотта и Александра Дюма⁸³ совершенно справедливо сопоставляется им «с аналогичной оценкой романтической литературы в главе о воспитании Эммы Бовари» и с тем, что говорится на эту тему в письмах самого Флобера. Но «мелочная критика Буваром и Пекюше «неточностей» — плод их внеэстетической придирчивости». «При всем дружеском отношении Флобера к Жорж Санд, — пишет Эйхенгольц далее, — он не обошел иронией условную возвышенную любовь ее героев»; личный же роман де Сталь, Руссо, Констана не удовлетворил его героев потому, что говорил лишь о сердце да о чувстве, а это, — добавляет критик, — полностью совпадает, «с отзывом Флобера о чувстве в поэзии и о личном романе»⁸⁴.

Однако, несмотря на подобные, чисто флоберовские, суждения Бувар и Пекюше о романтической литературе, уточняет исследователь, «нельзя сказать, что их высокая художественная культура видна на всем протяжении романа», поскольку в устройстве сада, например, «показано их увлечение той же романтической условностью, к которой они отрицательно относятся в главе о литературе»; но «пародия дана здесь Флобером не на художественное безвкусие Бувар и Пекюше вообще, а на конкретное их увлечение романтической садовой архитектурой»; потому-то Флобер в данном случае и «солидаризируется с «злой» критикой здравомыслящих, хотя и посредственных буржуазных гостей Бувар и Пекюше». И несмотря на то, что характеристика творчества Бальзака Буваром и Пекюше является мнением «самого Флобера», они в той же главе «совершают ряд совершенно явных чудачеств, а критическое их восприятие притупляется до степени гротеска; большая же часть того, что относится к дальнейшему увлечению Бувар и Пекюше декламацией, сценическим воплощением, писательским мастерством и т. п., характеризует их как чудаков и изображено иронически». В том, что при анализе понятия «прекрасного» друзья сталкиваются с господствующим в эстетике индивидуализмом и схоластикой, исследователь правильно усматривает какую-то «неосознанность Флобером того, что относительно художественных

⁸² М. Эйхенгольц, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 29.

⁸³ См. Флобер, т. VI, стр. 175—176.

⁸⁴ М. Эйхенгольц, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 29—31.

форм определяется различием социальных условий, выражением коих они являются»⁸⁵.

В шестой главе романа, посвященной событиям 1848 г. в Шавиньоле, Бувар и Пекюше, по справедливому замечанию Эйхенгольца, «ни в коей мере не являются воплощением человеческой глупости»; их устами «Флобер высказывает свои социально-политические взгляды». Поэтому неудивительно, что сатира его касается всех социальных слоев, а события 1848 г. изображаются «в тоне той иронии, того социального скептицизма, которые сделали Флобера, с одной стороны, внешне радикальным, а с другой, — объясняли его конечный социальный фатализм»⁸⁶.

«Притворный переход растерявшейся буржуазии, дворянства и духовенства на сторону победившей республики, — продолжает исследователь, — различные интересы буржуазии и дворянства, их общий фронт против народа, реакционные устремления крестьянства, конечная победа консервативных слоев, открытое их торжество, наступившая реакция, захватившая и мелкобуржуазные слои, — все это изображено Флобером пародийно», но уж, конечно, не «с точки зрения независимого рантье»⁸⁷.

Аббат Жефруа, граф де Фаверж, мэр Фуру, национальная гвардия и даже бывший столяр Горжю изображены, по справедливому замечанию Эйхенгольца, сатирически, тогда как Бувар и Пекюше, устами которых Флобер в этой главе чаще всего выражает свои мысли и «которые представлены в романе оппозиционерами», энтузиастами (верящими «во все добрые начинания на пользу народа») и чудаками «в своих практических политических действиях» — «приветствуют революцию в качестве демократов»; поскольку, однако, Флобер не разделяет «демократических идей своих героев», он стремится «показать неизбежное их разочарование»⁸⁸. И так как наступление реакции встречается «сочувствием всех социальных слоев населения Шавиньоля», то Пекюше (которого Бувар поддерживает своим молчанием) и раздражается той мизантропической филиппикой по адресу всех классов и сословий, которая цитируется Эйхенгольцем⁸⁹ и которая (как и отрицание друзьями «принципов всеоб-

⁸⁵ Там же, стр. 31, 32, 33.

⁸⁶ Там же, стр. 33; см. также М. Эйхенголец, Эстетика Флобера и современное литературное движение, — в кн.: Флобер, т. VII, стр. 10; его же, Роман нравов «Воспитание чувств», — в кн.: Флобер, т. III, стр. 504—505.

⁸⁷ М. Эйхенголец, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 33—34.

⁸⁸ Там же, стр. 34—36. Бувар и Пекюше, читаем мы в одной другой работе исследователя, это привычные в творчестве Флобера «образы мечтателей, гибнущих от столкновения с действительностью...» (М. Эйхенголец, «Саламбо» как явление стиля, — в кн.: Флобер, т. II, стр. 14).

⁸⁹ См. М. Эйхенголец, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 36; ср. Флобер, т. VI, стр. 222—223.

шего голосования» после того как за Бонапарта было подано шесть миллионов голосов) и в самом деле «совпадает с мыслями самого Флобера, как они выражены им в письмах». Однако стремление «придать своим пересонажам целостность для сохранения их правдоподобия» обусловило, по замечанию Эйхенгольца, то, что «полного отождествления Буvara и Пекюше с Флобером» не произошло: так, например, несмотря на «отрицательное отношение индивидуалиста Флобера к социалистам и социализму», Бувар и Пекюше, тоже подмечающие смешное в доктринах социалистов-утопистов, проникаются к ним любовью за их смелость и самоотверженность⁹⁰.

Убедившись «во всеобщей относительности явлений», Бувар и Пекюше решают «переписывать как прежде». Это, заключает исследователь, — крайнее выражение «их пессимистической философии всеобщей обреченности», которая особенно ярко выразилась в их решении «переписать попавшийся им под руку рапорт доктора Вокорбея...»⁹¹

Можно согласиться с тем, что, несмотря на незаконченность флюберовского романа, «написанную часть можно считать в фабульном отношении законченным повествованием»⁹², но то, что Эйхенголец говорит об отношении к этому роману «Лексикона прописных истин», вызывает уже некоторые возражения.

Феррер⁹³, разумеется, ошибается, «видя в обоих *качественно равную* сатиру на «человеческую глупость», ибо в «Лексиконе» эта глупость, по справедливому замечанию Эйхенгольца, «воплотлена в схематическом образе немнящего буржуа, а в романе в конкретных образах неумело мыслящих Буvara и Пекюше. Тем самым Феррер проблему о «недостатке метода в науках» относит всецело к Бувару и Пекюше», тогда как в действительности она «имеет более широкое социальное и философское значение, ибо касается кризиса буржуазного знания в целом». Но из того, что второй том «Буvara и Пекюше», говоря словами Флобера, должен был «состоять почти исключительно из цитат», а изречения «Лексикона» считать цитатами нельзя — еще не следует, что изречения эти не должны были найти места во втором томе флюберовского романа, как это утверждает Эйхен-

⁹⁰ М. Эйхенголец, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 37; ср. Флобер, т. VI, стр. 220.

⁹¹ См. черновой план заключения романа (Д. Л. Деморе, ук. соч., стр. 93; М. Эйхенголец, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 38, 41—42).

⁹² М. Эйхенголец, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 38.

⁹³ См. E.-L. Ferrère, Gustave Flaubert. «Le dictionnaire des idées reçues». Texte établi d'après le manuscrit original et publié avec une introduction et un commentaire. P., Conard, 1913, p. 32.

голец⁹⁴. В «Лексиконе», продолжает исследователь, «нет ничего механического, что соответствовало бы переписыванию, к которому прибегли Бувар и Пекюше». Однако, несколькими строчками ниже он сам же приводит из третьей части плана ненаписанных глав романа слова Флобера о том, что Бувар и Пекюше «переписывают все бумаги, какие попадают им под руку», в том числе и «порванные книжки»⁹⁵. Разве нельзя допустить (как это и сделал Деморе)⁹⁶, что среди этих книг оказался и некий «Лексикон прописных истин», который они решили бы механически переписать наряду со всем прочим? В данном случае ошибка исследователя объясняется тем, что он располагал лишь теми выборочными рукописными материалами Флобера, которые были опубликованы Д. Л. Деморе и не мог пользоваться более исчерпывающими и систематизированными публикациями М.-Ж. Дюрри и А. Ченто.

В конце концов Эйхенголец склоняется к компромиссному решению обсуждаемого вопроса. «Поскольку второй том романа «Бувар и Пекюше» не написан, — замечает он мимоходом, — окончательного суждения о нем иметь нельзя», но «несомненно, что переписанное Буваром и Пекюше должно было входить в <...> «изборник человеческих глупостей» (Sottisier), который Флобер составлял в результате бесконечного чтения как значительных, так и незначительных книг» и который он частично использовал также «в написанных главах романа»⁹⁷.

⁹⁴ М. Эйхенголец, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 39. Любопытно, что в другой статье (вошедшей, наряду со статьей о «Буваре и Пекюше», в тот же VI том сочинений Флобера) Эйхенголец как будто идет в этом вопросе на попятную: «В конечном счете, — признается он, — «Лексикон» оказался среди тех материалов, которые Флобер предполагал использовать для второго тома «Буvara и Пекюше; и действительно, скрытый агитационный смысл «Лексикона» — показать «человеческую глупость» — особенно совпадал как будто с задачами не написанной второй части романа» (М. Эйхенголец, «Лексикон прописных истин» Флобера, — в кн. Флобер, т. VI, стр. 393).

⁹⁵ М. Эйхенголец, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 40.

⁹⁶ См. Д. Л. Деморе, ук. соч., стр. 123.

⁹⁷ М. Эйхенголец, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 42; на стр. 44 в качестве примера критик указывает, между прочим, на «естественную историю Бернардена де Сен-Пьера» (ср. Флобер, т. VI, стр. 126). В цитированной выше статье о «Лексиконе» Эйхенголец говорит об использовании Флобером в написанных главах «Буvara и Пекюше» и этого своего произведения: «О подрывании «основ общества» соответственно социально-политическим категориям «Лексикона» говорят многие персонажи произведений Флобера», в том числе «и все буржуа из «Буvara и Пекюше», видящие даже в лице Буvara и Пекюше «подрывателей основ»» (М. Эйхенголец, «Лексикон прописных истин» Флобера, цит. изд., стр. 398). В называвшейся выше статье «Творчество Флобера» (1947) Эйхенголец настаивает на том, что изречения «Лексикона» «используются Флобером» «в первую очередь» в «Госпоже Бовари» и «Воспитании чувств» (М. Эйхенголец, Творчество Флобера, ук. изд., стр. 23). Однако Дешарм в своей монографии о «Буваре и Пекюше» отмечает в двух первых названных рома-

«Биологический и социальный детерминизм явлений» Эйхенгольц справедливо считает причиной фатализма Флобера, а философию «всеобщего релятивизма» — результатом его «эмпирического естественно-научного мировоззрения». Писатель, осуждавший ранее «всякое «стремление доказать», «делать выводы», поиски «целей», «умозаклучений», «оценки», <...> поставил перед Буваром и Пекюше проблему «оценки» и «умозаклучений». И в конце концов заставил их отказаться от поисков «целей» сущего», ибо «после социального кризиса» 70 гг. «буржуазное естественно-научное восприятие мира <...> оказалось поколебленным. И не впадая в спиритуализм и мистику, Флобер ставит вопрос о кризисе метода в науках...» «Наблюдая относительность духовных ценностей, он не осознал <...> «относительности наших знаний не в смысле отрицания объективных истин, а в смысле исторической условности в пределах приближения наших знаний к этой истине» (Ленин), как поставлен вопрос о релятивизме материалистической диалектики». Но в гротескных образах «Бувара и Пекюше», «в сатирических элементах, характерных для них, как и в сатире на окружающую филистерскую среду» Флобер «изливал свою желчь, разумеется, не на «человеческую группу» вообще, как он писал в письмах, а на современное буржуазное общество, его культурно-бытовой уклад...»⁹⁸. Мы целиком присоединяемся к этим словам исследователя.

Своеобразие жанра «Бувара и Пекюше» (романа философского и сатирического) обусловило, по справедливому замечанию Эйхенгольца, и некоторые особенности его композиции — например, отсутствие единства в фабуле, выразившееся в том,

нах 75 соответствий изречениям «Лексикона», а в последнем — 62 (см. R. Descharmes, *Autour de «Bouvard et Pécuchet»*, ук. изд., стр. 240—250, 233—239).

⁹⁸ М. Эйхенгольц, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 44—45. Через тринадцать лет Эйхенгольц добавит к приведенным словам следующую фразу: «Нужно только учесть условную фразеологию Флобера: он обобщил конкретно-исторические явления чуть ли не в метафизические сущности» (М. Эйхенгольц, *Творчество Флобера*, цит. изд., стр. 23). См. также М. Эйхенгольц, *Эстетика Флобера и современное литературное движение*, — в кн.: Флобер, т. VII, стр. 10. Некоторые из приведенных мыслей Эйхенгольц повторил затем в статье о Флобере, написанной для «Большой Советской Энциклопедии». «Ф<лобер>, — читаем мы в названной статье, — занят в этом романе проблемой о «недостатке метода в науке», дает сатирический обзор современных знаний <...> и ставит после кризиса 1871 <года> вопрос о кризисе буржуазной культуры в целом и релятивизме знаний». «Однако изображение революции 1848 <года> в «Буваре и Пекюше» особенно ярко подтверждает, что радикализм Ф<лобера> является не чем иным, как выражением буржуазного скептицизма и свободомыслия». Что же касается самих Бувара и Пекюше, то они (как и другие главные персонажи произведений Флобера) воплощают, по словам Эйхенгольца, «идею безысходности, гибельности мечты при соприкосновении с действительностью» (М. Эйхенгольц, *Флобер*, — в кн.: «Большая Советская Энциклопедия», т. 57, М., 1936, столбцы 716, 717).

что повествование в нем (глава I и VII) «чередуется с пространственными аналитическими эпизодами» (остальные главы), в результате чего «действие романа развивается неровно, тормозится статическими его моментами». Но «механистичность композиции во многих случаях оправдывается самим содержанием романа» и «внутренней жизнью его главных героев», в которой, несмотря ни на что, имеется «известная планомерность», проявившаяся в том, что после переселения в Шавиньоль Бувар и Пекюше обращаются прежде всего к сельскому хозяйству — и лишь после этого переходят к наукам, причем вначале «исключительно с прикладной целью. Затем переход от одного научного увлечения к другому объясняется либо конкретной связью с теми или иными эпизодами их жизни», либо «чисто ассоциативными представлениями». Но механистичности внешнего действия «противопоставляется органичность внутренней жизни Бувара и Пекюше», ибо «от наук естественных» они «переходят к наукам гуманитарным, занятия философией приводят их к вере», а «разочарование в общественной деятельности <...> пробуждает в них внутреннюю жизнь чувств и т. д.»⁹⁹.

В «Буваре и Пекюше», романе сатирически заостренном, по справедливому замечанию Эйхенгольца, «нет отступлений и заключений от автора *как системы*»: «Сатира Флобера на явления духовной культуры и окружающее Бувара и Пекюше общество, отчасти на них самих, передана в порядке критики, вложенной, главным образом, в уста Бувара и Пекюше, или путем гротескных черт, свойственных самим образам Бувара и Пекюше»¹⁰⁰.

Мы целиком присоединяемся и к следующим словам Эйхенгольца: «Роман «Бувар и Пекюше» был большим достижением Флобера в реализации им своей творческой теории. И борьба Флобера с метафорами и сравнениями привела к тому, что роман «Бувар и Пекюше» *лишен словесной цветистости. Простота изобразительности в романе исключительна. Прямое описание доминирует. Образы всегда показаны*». Имеющиеся в романе сравнения, добавляет критик, подчеркивают преимущественно его сатирический характер: «Флобер сравнивает своих действующих лиц с птицами и животными, чтобы придать образам карикатурность...» «Лишь в немногих сравнениях, касающихся чувств двух друзей, мечтателей и энтузиастов, налицо установка на возвышенное»¹⁰¹.

В «скупых пейзажах, характерных для романа, — заканчивает Эйхенголец свою статью, — сказывается величие биологической необходимости в жизни природы <...>. Эту биологическую предопределенность Флобер и переносил на явления жизни

⁹⁹ М. Эйхенголец, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 46, 47—48.

¹⁰⁰ Там же, стр. 48.

¹⁰¹ Там же, стр. 49, 50.

социальной. В поисках выхода из социального фатализма Флобер поставил в романе «Бувар и Пекюше» вопрос о кризисе современной духовной культуры, культуры буржуазной. Но пришел в романе к еще более мрачному выражению своей идеи о фатальности всего сущего». «Таково логическое завершение жизненной и творческой философии Флобера. В несколько различных формах она сказалась во всех его романах». Роман «Бувар и Пекюше», «явившийся ответом на социальный кризис начала 70-х годов, — лишь наиболее острое ее выражение»¹⁰².

Размеры работы М. Эйхенгольца (статья-предисловие) не позволили ему, разумеется, остановиться на всех проблемах философского романа Флобера (это было бы возможно лишь в рамках большой монографии и лишь после многолетнего детального изучения этого необыкновенно сложного произведения) или исчерпывающим образом проанализировать хотя бы лишь затронутые исследователем проблемы. Но даже несмотря на неполноту и конспективность этой работы она сохраняет и поныне немалое научное значение — и не только потому, что она все еще остается самой пространной и «исчерпывающей» работой о «Буваре и Пекюше» на русском языке, но и потому, что при изучении флюберовского романа она при желании может служить неким ориентиром¹⁰³.

¹⁰² Там же, стр. 51. 29; см. также М. Эйхенгольц, «Госпожа Бовари» как явление стиля, — в кн.: Флобер, т. I, стр. 46. Об особенностях пейзажа в «Буваре и Пекюше» см. также М. Эйхенгольц, Эстетика Флобера и современное литературное движение, — в кн.: Флобер, т. VII, стр. 44. Между тем, в некоторых работах, специально посвященных флюберовскому пейзажу, «Бувар и Пекюше» даже не упоминаются (см., напр., Benjamin F. Bart, *Flaubert's landscape description*. Ann Arbor, The University of Michigan Press, <1956>).

¹⁰³ Выше мы указывали на спорность некоторых положений статьи-предисловия М. Эйхенгольца. К уже отмеченным нами немногим ошибкам фактического характера добавим в заключение еще одну. На первой же странице своей статьи исследователь ошибочно утверждает, что «к работе над самим текстом романа» «Бувар и Пекюше» Флобер приступил «лишь в июне 1877 года», тогда как в действительности «первую фразу Флобер отделяет 1-го августа 1874 года», а к февралю 1875 г. «он закончил две главы и работал над сценариями следующих, когда неожиданное событие» (разорение мужа его племянницы) «потрясло его существование». (Jacques Suifel, *Gustave Flaubert*, P., <1958>, p. 99; см. также письмо Флобера к Тургеневу от 29 июля 1874 г.: *Flaubert, Lettres inédites à Tourgueneff*. Présentation et notes par Gérard Gailly, Monaco, <1946>, p. 81). «Будучи неспособен работать в состоянии постоянной тоски, в которую его погрузили его домашние заботы, — продолжает Сюффель, — Флобер вдруг отказался от «Бувара и Пекюше» и «чтобы избавиться от своей меланхолии, решил написать историю Юлиана Странноприимца» (Сюффель, ук. соч., стр. 100, 102). Ф. Шиллер, подчеркивая, что вступительная статья М. Д. Эйхенгольца к «Бувару и Пекюше» написана «с прекрасным знанием предмета» и что в ней убедительно показано — «какое выдающееся место занимает это незавершенное, но завершающее творчество писателя произведение», в то же время справедливо указывал на ошибочность и противоречивость определения в ней классовой природы творчества Флобера, который «рассматривается

18 и 24 января 1935 г. одновременно в «Правде» (№№ 18, 23), «Известиях» (№№ 16, 20) и «Литературной газете» (№№ 4, 5) было напечатано окончание статьи А. М. Горького «Литературные забавы», содержащее чуть ли не единственное специальное суждение великого пролетарского писателя о философском романе Флобера. «Мещанин, — пишет А. М. Горький в названной статье, — весьма заинтересован в том, чтобы существовала «объективная истина», чтобы литература изображала его начиненным непримиримыми противоречиями мысли и чувства. Это очень устраивает его, — объясняет, оправдывает, успокаивает. Перед нашей литературной молодежью отличная, никем еще не тронутая тема: мещанин в страдании и спасительность объективной истины. К этой теме близко подошел в романе «Бювар и Пекюше» <так!> только один проницательный Флобер, непримиримый враг мещанства, враг с правой стороны. Где-то в корне своем «объективная истина» равноценна религии: она тоже пытается утешать, но она, пожалуй, вреднее религии, ибо обманывает более искусно. В конце концов она внушает: «Так было — так будет.»»¹⁰⁴.

как «независимый рантье» и как представитель «высших, культурных слоев мелкобуржуазного рантьерства». Думается, что ни одна из этих <...> формулировок не исчерпывает вопроса...» (Ф. Шиллер, Новое издание сочинений Флобера, — «Литературный критик», 1934, № 5, стр. 226, 227).

¹⁰⁴ М. Горький, Литературные забавы. Цит. по кн.: М. Горький, О литературе, СП, М., 1955, стр. 710. Незадолго до А. М. Горького нечто подобное писала А. Бескина, по словам которой Флобер в «Буваре и Пекюше» «показал, что желание иметь абсолютную истину у себя в кармане есть не столько извечное стремление человеческого духа, сколько стремление мелкого буржуа к устойчивости, обеспеченности и порядку» (Анна Бескина, В поисках оптимизма (О «Возвращенной молодости» Михаила Зощенко), — «Литературный современник», 1934, № 5, стр. 121). Этим, к сожалению, и исчерпывается самостоятельность суждения А. Бескиной о «Буваре и Пекюше». Все (или почти все) остальные, относящиеся в ее статье к роману Флобера, оказалось списанным (без заковычивания и даже без упоминания имен!) у Д. С. Мережковского, Зинаиды Венгеровой и К. К. Арсеньева (см. А. Бескина, ук. соч., стр. 120—121; ср. Д. С. Мережковский, Вечные спутники, СПб., 1897, стр. 279—280; его же, Флобер в своих письмах, — «Северный вестник», 1888, № 12, отдел II, стр. 43; Зин. Венгерова, Флобер, — в кн.: «Энциклопедический словарь» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, полutom 71, СПб., 1902, стр. 138; Z. Z. <К. К. Арсеньев>, По-смертный роман Флобера «Bouvard et Pécuchet», — «Вестник Европы», т. 93 (1882), стр. 251, 254 и passim; см. также нашу работу «Роман Флобера «Бювар и Пекюше» в оценке дореволюционной русской критики. Статья 2», — Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 119, Тарту, 1962, стр. 300—301, 303, 283, 284, 285). Именно Бувара и Пекюше, по мнению А. Бескиной, напоминают герои «Возвращенной молодости» и «весь круг их интересов, сосредоточенных на вопросах о том, есть ли собаки и магазины на Марсе» и «какие личные неприятности готовит им остывающее солнце» (А. Бескина, ук. соч.,

Общеизвестно преклонение основоположника социалистического реализма перед Флобером, — его идеалом писателя, его восхищение «Простым сердцем», восходящее еще к ранней юности¹⁰⁵. Но, несмотря на это восхищение, которое великий писатель пронес, видимо, через всю свою сознательную жизнь,¹⁰⁶ — в его суждениях об отдельных произведениях Флобера обнаруживается некоторая противоречивость.

Так, 26 апреля 1932 г., возражая в «Известиях» Анри Пулайлю, утверждавшему (говоря словами А. М. Горького), что «книги такого мастера слова, как <...> Густав Флобер, уже невозможно читать, не прибегая к помощи словаря», А. М. Горький писал, что это утверждение «можно отнести только к таким книгам Флобера, как ядовитое «Искушение святого Антония», этот поразительно мощный, направленный против церкви и религии удар в колокол скептицизма». «Возможно, — соглашался А. М. Горький, — что помощи словаря требует «Саламбо», и несомненно, что эта книга требует знания истории. Но по

стр. 121; ср. Мих. Зощенко, Возвращенная молодость. Изд. писателей в Ленинграде, <1933>, стр. 51, 53, 168). Поскольку сказанное относится лишь к Кашкину, то благородные неудачники Бувар и Пекюше оказываются у Бескиной отождествленными с невероятно циничным и удачливым проходным!

¹⁰⁵ См. М. Горький, О том, как я учился писать, — в кн.: М. Горький, О литературе, СП, М., 1953, стр. 323 и письмо Горького Р. Роллану от 6 ноября 1923 г. — в кн.: «Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами». Изд. АН СССР, М., 1960, стр. 339.

¹⁰⁶ Всего за одиннадцать лет до смерти Горький писал: «...«Простое сердце» Флобера ценно для меня, как евангелие...» (М. Горький, О книге, — в кн.: М. Горький, Несобранные литературно-критические статьи, ГИХЛ, М., 1941, стр. 484; впервые статья эта была напечатана на французском языке в виде предисловия к книге Р. Mortier, Histoire Générale des littératures étrangères. P., 1925, pp. 3—4). Еще позже Горький называет Флобера величайшим мастером прозы (см. его письмо к И. С. Александрову от 25 марта 1928 г. — в кн.: М. Горький, Собр. соч. в 30 томах, т. 30, ГИХЛ, М., 1955, стр. 88), ставит его имя в один ряд с именами Боккаччо, Рабле, Свифта, Сервантеса, Лопе де Вега, Кальдерона, Вольтера, Байрона, Гёте, Шелли, Пушкина, Льва Толстого и другими людьми «этого роста и значения», которых он считает создателями «великой литературы» (см. М. Горький, Молодая литература и ее задачи — в кн.: М. Горький, О литературе, СП, М., 1953, стр. 358—359). «Стендаль, Бальзак и Флобер очень много дали мне, — писал Горький А. К. Виноградову 24 апреля 1928 г., — и я давно собираюсь рассказать о них современной молодежи, да все не могу выбрать времени» («Литературная газета», № 38 (4004), 28. III 1959, стр. 3). Великий пролетарский писатель превозносит «Саламбо» (см. Л. Пасынков, Из встреч с Горьким, — «Знамя», 1955, № 3, стр. 155), настоятельно рекомендует жене прочитать «Бувара и Пекюше» (см. письмо к Е. П. Пешковой от 16 июня 1896 г., — в кн.: А. М. Горький, Письма к Е. П. Пешковой (1895—1906), ГИХЛ, М., 1955, стр. 33) и удивляется тому, что «в могучей русской литературе нет <...> стремления трактовать вопросы коренные, вопросы духа», что характерно для Флобера с его «Искушением святого Антония» (письмо к Чехову от 5 мая 1899 г., — в кн.: «М. Горький и А. Чехов». Переписка. Статьи. Высказывания». ГИХЛ, М., 1951, стр. 42).

русским переводам романов «Мадам Бовари», «Воспитание чувств», «Бувар и Пекюше», рассказа «Простое сердце» трудно представить, чтобы эти монументальные построения простых, прозрачно ясных и в то же время несокрушимо крепко спаянных слов потеряли уже свое неоспоримое технически поучительное значение. Мне кажется, что возражение Пулайля и его сторонников сводится, в основном и скрытом своем смысле, к защите права работать плохо»¹⁰⁷.

А 19 декабря 1899 г., рецензируя в «Нижегородском листке» книгу Оливии Шрейнер «Грезы и сновидения» (так в русском переводе была названа вышедшая в 1891 г. книга Шрейнер «Dreams»), А. М. Горький, объясняя причину наблюдавшейся тогда склонности к аллегорической форме, «давно уже признанной отжившей историками литературы», писал: «Аллегория позволяет быть схематичным. Нужен огромный талант, нужно иметь глубокое философское образование, нечеловеческую опытность и сделать массу технической работы для того, чтобы <...> в реальных образах показать настойчивое, неутомимое стремление человека к истине, все ошибки, все муки его на этом пути. Это труд свыше сил человеческих, и писатели, которые брались за эту тему, не имели успеха. Возьмите флоберово «Искушение святого Антония», как попытку изобразить искание истины и все заблуждения человечества в области религии, — это не удачная попытка... Мадьяр Эмирик Мадач, писатель очень талантливый, пробовал в своей «Трагикомедии человека» изобразить всю историю культуры, весь постепенный ход и рост творческого духа человечества, и получилось что-то сухое, скучное, отвлеченное... А в рамки аллегории можно уложить такую грандиозную тему, обрисовав ее, разумеется, легкими чертами и развивая ее механически, внешним штрихом, без психологии явлений, без того проникновения в душу, в суть их, которое и представляет собой собственно художественное творчество, являясь счастливым уда-

¹⁰⁷ М. Горький, По поводу одной полемики, в кн.: М. Горький, О литературе, СП, М., 1955, стр. 561. Последние приведенные слова А. М. Горького как бы перекликаются с основной темой и названием его статьи, напечатанной 19 апреля 1931 г. в «Правде» и «Известиях». Упрекнув ГИХЛ, (где «четыре месяца идет обсуждение форматов больших классиков») за то, что в результате такой волокиты Флобер все еще «не сдан в производство», А. М. Горький затем обрушивался в этой статье на издательство «Красная газета», которое «ухитряется без проверки текстов выпустить два романа Флобера, которые расходятся с колоссальной быстротой, это — «Бувар и Пекюше» и «Воспитание чувств», почему-то безграмотно озаглавленное «Сентиментальное воспитание» (М. Горький, О работе неумелой, небрежной, недобросовестной и т. д., — в кн.: М. Горький, Собр. соч. в 30 тт., т. 25, ГИХЛ, М., 1953, стр. 481—482). Добавим от себя, что в издании «Красной газеты» безграмотно не только заглавие «Воспитание чувств». В «Буваре и Пекюше» не указано имя переводчика, опущен план ненаписанного окончания романа, а на обороте титульного листа напечатано: *G. Flober, Bouvard et Pecuchet!*... (см. Гюстав Флобер, Собр. соч., т. IV. «Бувар и Пекюше» Пер. с фр. Изд. «Красная газета», Л., 1929).

лом единиц-гениев. Таким образом, являясь трудной как форма, как работа, — аллегория очень удобна как одежда идеи, как вместилище ее. Под аллегорией можно ловко скрыть сатиру, колкость, смелую речь, в нее можно вложить огромное идейное содержание»¹⁰⁸.

Мы привели эти выдержки из трех статей Горького в порядке, противоположном их хронологии (которая, как мы видим, растягивается более чем на 35 лет). Из этих выдержек явствует, что восприятие Горьким некоторых произведений Флобера с годами менялось. Все то, что Горький писал в 1899 г. о своеобразии и преимуществах аллегорической формы, — разумеется, справедливо. Но всякий должен согласиться, что если уж названы «Искушение святого Антония» и «Трагикомедия человека» (как примеры неудачных попыток «в реальных образах показать настойчивое, неутомимое стремление человека к истине, все ошибки, все муки его на этом пути»), то следовало бы назвать также «Бувара и Пекюше» — тем более, что произведение это было, как мы видели, Горькому хорошо известно. Появление «Бувара и Пекюше» в названном ряду было бы в некоторой степени даже оправдано, ибо Флобер, как известно, в своих письмах неоднократно жаловался на трудность соблюдения в этом романе именной той «психологии явлений», от которой он был бы избавлен при аллегорической форме произведения.

В 1932 г. Горький, как мы видели, дает «Искушению святого Антония» совсем иную оценку. Тут «Бувар и Пекюше» уже названы, но — не в одном ряду с «Искушением» (даже в отношении необходимости к ним словаря, хотя в этом отношении названные произведения совершенно равнозначны; во всяком случае к «Бувару и Пекюше» словарь нужен гораздо больше, чем к «Саламбо»). С другой стороны, не вполне оправдана постановка в один стилистический ряд таких непохожих в этом (да и в любом другом) отношении произведений, как «Мадам Бовари» и «Бувар и Пекюше», которые едва ли можно оптом характеризовать как «монументальные построения *простых, прозрачно ясных* <...> слов»; ведь недаром разговоры об исключительной, необычной для автора «Мадам Бовари» стилистической незатейливости «Бувара и Пекюше» стали чуть ли не общим местом французского флюбероведения.

Что касается приведенного выше специального суждения А. М. Горького о «Буваре и Пекюше», то его вообще трудно понять, если понимать «объективную истину» в обычном для марксистской философии смысле. Если же допустить, что А. М. Горький под «объективной истиной» подразумевал некую неизменную, статичную реальную действительность, в сохране-

¹⁰⁸ М. Горький, Аллегии Оливии Шрейнер, — в кн.: М. Горький, Несобранные литературно-критические статьи, ук. изд., стр. 34—35.

нии которой мещанство по той или иной причине всегда заинтересовано, — то тогда она действительно может оказаться равноценной религии, поскольку и она «утешает» лишь вечностью всего сущего (в том числе зла, страдания и т. п.). И сознание этого может и в самом деле заставить мещанина возмнить себя «начиненным непримиримыми противоречиями мысли и чувства», ибо как ни склонен мещанин к рутине и статике, какая-то частица его в то же время внутренне противится этому, и мещанин хотел бы, чтобы эта его частица была признана и изображена как главное и самое характерное в нем.

Но даже при таком толковании понимания А. М. Горьким «объективной истины» связь ее с «Буваром и Пекюше» и особенно с самим Флобером трудно улавливается. Если А. М. Горький употребляет выражение «объективная истина» в обычном философском смысле, то он касается самого главного в «Буваре и Пекюше», самого слабого и большого места в философских взглядах Флобера и превозносит его на этот раз незаслуженно...¹⁰⁹.

* *
*

Франц Шиллер в своем кратком анализе посмертного романа Флобера совершенно справедливо настаивает прежде всего на том, что «в начале 1870-х годов <...> Флобер приступает к генеральному расчету с ненавистной ему действительностью» и в «Буваре и Пекюше» делает попытку «доказать с полной очевидностью несостоятельность буржуазной науки и культуры». Роман этот, продолжает Шиллер, «представляет собой критический обзор всей буржуазной культуры и науки, которому якобы придан «чрезвычайно реалистический характер». Последнее утверждение, резюмируется, неверно; критик и сам вынужден тут же признать, что Бувар и Пекюше не только «живые люди», но и «воплощение определенных идей, рупоры взглядов самого Флобера».

¹⁰⁹ В одной недавно опубликованной заметке Горького, относящейся к первой половине тридцатых годов и не предназначавшейся для печати, содержится гораздо более определенное суждение о флюберовском романе. Флобер, читаем мы в этой заметке, «всею силой души ненавидел буржуазию и работал над книгой <...> «Бювар и Пекюше» <так!>, старался воплотить в этой книге *всю неисчерпаемую пошлость, весь идиотизм буржуазного слова и дела*. Месть побежденного дворянина <?> классу победителю соединялась с величайшей суровостью отношения к работе огромного общественного и художественного значения. И никогда раньше Флобер не кричал так громко, даже отчаянно о своей антиобщественности, никогда не отталкивался так решительно от действительности. Это делалось, на мой взгляд, только потому, что толчки и удары общественности мешали его основной цели — обнажить с предельной неоспоримой ясностью ее тупость, пошлость, ее ничтожество («Литературная газета», № 13 (4143), 27. III 1963, стр. 4).

Совершенно верно, что «на фоне провинциальной тупости» Флобер рисует как «похождения этих Дон-Кихотов буржуазной науки» (т. е. Бувара и Пекюше), так и «яркие образы <...> представителей консервативного общества, защищающих религию, семью и собственность и выступающих против Бувара и Пекюше как против «материалистов» и «революционеров»». Но не Бувар и Пекюше «доводят критику буржуазного общества до гротеска» (как думает критик), а Флобер, подчеркивающий в своем романе, по словам самого же критика, «несостоятельность науки во всех ее отраслях» и приходящий к выводу, что «объективной истины в истории не существует».

Таким образом, пишет Шиллер в заключение, Флобер в «Буваре и Пекюше» «приходит к полному релятивизму, к агностицизму, и это можно считать конечным выводом всего его творчества», которое «выражает тоску по великому прошлому буржуазной культуры и горечь по поводу ее измельчения, опошления»¹¹⁰.

Г. Пузис в своей юбилейной статье 1940 г. вначале справедливо замечает, что после 1871 г. «мировоззрение Флобера приобрело новые черты. Если раньше в его основе лежали позитивизм, стремление к научному изображению действительности, то теперь внутреннее равновесие Флобера терпит крушение». Однако, видя «развивавшийся кризис буржуазной культуры», Флобер мог проникаться «чувством острейшей безнадежности», но не «отрицанием *научного знания*», ибо как раз вера в научное знание и позволяла ему хоть в какой-то мере преодолевать это чувство безнадежности.

Последний роман писателя критик не без основания определяет как «философско-сатирическую карикатуру». Гротескные образы «двух чудаковатых французов, Бувара и Пекюше, — продолжает Пузис, — используются Флобером, чтобы выразить его собственное отношение к духовным ценностям буржуазного

¹¹⁰ Франц Шиллер, История западно-европейской литературы нового времени, т. II, ГИХЛ, М., 1936, стр. 72, 73; некоторые из приведенных суждений Шиллер, впрочем, высказал уже в 1934 г. (см. Ф. Шиллер, Новое издание сочинений Флобера, — «Литературный критик», 1934, № 5, стр. 226—227). С последними словами Шиллера перекликаются слова Н. Рыковой, по мнению которой Флобером в «Буваре и Пекюше» была задумана «своеобразная сатира на буржуазную культуру, на научную деятельность «буржуазного человека», активность которого «оказывается нелепой и не имеющей значения», поскольку «ценности, к которым прикасается буржуа, перестают быть ценностями, теряют свой смысл и самую свою сущность» (Н. Рыкова, Флобер, — в кн.: «Литературная энциклопедия», т. XI, ГИХЛ, М., 1939, стлб. 768). Шиллер, как и Т. Перимова, тоже сопоставляет Бувара и Пекюше с Фаустом и, разумеется, в том же смысле (см. Ф. Шиллер, История западно-европейской литературы нового времени, цит. изд., стр. 73; ср. Т. Перимова, Флобер и буржуазный реализм, цит. изд., стр. 42; ее же, Творчество Флобера, цит. изд., стр. 108; ее же, Вехи творческого пути Флобера, цит. изд., стр. 109—110).

мира, развенчать созданный вокруг них ореол почитания. Флобер зло издевается над наукой, философией, эстетикой, искусством. Буржуазная политика показана как уменье людей приспособлять свое общественное поведение к моменту, скрывать за внешней маскировкой полное безразличие к политическим судьбам общества, сохранять свое обывательское нутро и свои частные интересы»¹¹¹.

Можно согласиться с приведенными словами критика (хотя мотивировать «издевательское» отношение Флобера к перебираемым им в романе наукам только тем, что они «*буржуазные*» — разумеется, неверно), но его утверждение, будто из «Буvara и Пекюше», явствует, что «*Флобер не разглядел основного фактора жизни общества*» — борьбы «буржуазии и пролетариата»¹¹² — вызывает некоторые возражения. Во-первых «Бувар и Пекюше» — роман философский, а не политический, а во-вторых, в той мере, в какой политическая тема в этом романе все же трактуется (описание событий 25. II 1848 — 2. XII 1851 в главе VI) указанный критиком фактор выступает достаточно отчетливо¹¹³.

Кое-какие суждения о «Буваре и Пекюше» высказывает и Э. Л. Шрайбер¹¹⁴. Хотя статья ее посвящена, в основном, «Искушению святого Антония», в ней затронуты и некоторые общие вопросы, решение которых имеет большое значение также для правильного понимания философского романа Флобера.

Работа Э. Шрайбер страдает, на наш взгляд, чрезмерной категоричностью бездоказательных утверждений, которые, к тому же, слишком генерализуются, несмотря на то, что в иных случаях очевидна их изначальная несостоятельность. Уже в самом начале статьи, почти дословно повторяя клеветника Дюкана, Шрайбер утверждает, что «на протяжении *всего своего творческого пути* Флобер сохранял определенный комплекс философских идей», в результате чего вопросы, поставленные в «Искушении святого Антония» (первая редакция которого относится, как известно, к 1849 г.) якобы «содержатся во всех произведе-

¹¹¹ Г. Пузис, Гюстав Флобер (60 лет со дня смерти), — «Литературное обозрение», 1940, № 14, стр. 54.

¹¹² Там же.

¹¹³ См. Флобер, т. VI, стр. 195—223. В юбилейной статье Е. Гунста «Бувар и Пекюше» правильно квалифицируется как «большой сатирический роман, задуманный <...> как некая критическая энциклопедия всех наук и искусств». Занятия Буvara и Пекюше, подчеркивает критик, «приводят их к выводу, что науки — вздор». Устами своих героев «Флобер утверждает, что объективной истины нет, что все относительно». Роман оказался «крайним выражением флюберовского скептицизма» — с чем, видимо, нельзя не согласиться. (Е. Гунст, Гюстав Флобер (К 70-летию <так!> со дня смерти). — «Что читать», 1940, № 4—5, стр. 100).

¹¹⁴ См. Э. Л. Шрайбер, Философская драма в творчестве Флобера, — Уч. зап. Карело-финского гос. ун-та, т. I, Петрозаводск, 1947, стр. 88—113.

ниях», написанных Флобером после названной философской драмы¹¹⁵. «Во всех произведениях Флобера, — продолжает исследователь, — варьируется <...> один и тот же характер мечтателя, стремящегося обрести либо абсолютное знание, либо прекрасную, чистую любовь». «Во всех романах Флобера <...> проводится идея трагической борьбы одиночки и мира, конфликта между реальностью и мечтой». «Все герои Флобера после некоторого морального подъема неизбежно возвращаются к своему жалкому первоначальному состоянию»¹¹⁶.

Эти «все» просто оскорбительны для Флобера, ибо в них, помимо всего прочего, берутся под сомнение даже возможности его творческой фантазии. Понятно, что при таком «унифицированном» взгляде на флюберовские произведения, их идеи и образы, исследователь оказался не в состоянии отличить гордую «дочь Гамилькара от мещанки Эммы Бовари», смешных, жалких «в своих попытках овладеть подлинным знанием Бувар и Пекюше от <...> святого Антония». «Пошлая современность, — продолжает Шрайбер, — превратила Саламбо в Эмму Бовари, а святого Антония в Бувари и Пекюше!»¹¹⁷

Неужели всё различие между святым Антонием и Буваром и Пекюше обусловлено лишь различием эпох и больше ничем? И разве тот факт, что «Бувар и Пекюше после долгих трудов вернулись к переписке», подтверждает общее положение исследователя о неизбежном конечном возвращении всех флюберовских героев «к своему жалкому первоначальному состоянию»?

«Вопрос абсолютного познания, — уже справедливее продолжает критик, — неизменно поднимается в произведениях Флобера. В связи с этим особое место в его философской концепции занимает определение роли человеческого разума», который, по мнению Флобера (вполне правильно интерпретированному Шрайбер), «не совершенен», поскольку ему «недоступно позна-

¹¹⁵ Э. Л. Шрайбер, ук. соч., стр. 89. Ср. у Дюкана: «Кажется, будто все его <Флобера> взгляды сложились к двадцати годам, и что всю свою жизнь он потратил на их воплощение» (Maxime Du Camp, Souvenirs littéraires, t. II, P., 1892, p. 185). «Пессимистические и скептические настроения, ирония, негодование против мира из-за полранной мечты — все эти черты своего раннего творчества» Флобер, по справедливому замечанию В. А. Дынник, «переносит и в шедевры позднейших лет, но там они входят в иную художественно-мировоззренительную систему, приобретают иную функцию, а следовательно, и иную природу». (В. А. Дынник, Реалистические убеждения Флобера, — «Писатель и жизнь», вып. V, М., 1968, стр. 163).

¹¹⁶ Э. Л. Шрайбер, ук. соч., стр. 99, 101, 100.

¹¹⁷ Там же, стр. 100. Думается, что гораздо ближе к истине Б. Г. Рейзов, подчеркивающий как раз поразительное «разнообразие в пределах <...> творчества» Флобера. «Между «Мадам Бовари» и «Искушением святого Антония», между «Воспитанием чувств» и «Саламбо», между «Буваром и Пекюше» и «Тремя повестями» разница не столько в эпохе, сколько в проблематике и материале» (Б. Рейзов, О литературных направлениях. — «Вопросы литературы», 1957, № 1 (апрель), стр. 101).

ние абсолюта». Верно и то, что Флобер убежден в «изменяемости и относительности окружающих явлений» (сближаясь в этом смысле «с современной ему философией релятивизма и агностицизма») «и поэтому всякие попытки утверждения вечных неизблемых истин кажутся <...ему> жалкими и бесполезными». «Человеческое мышление осваивает только внешние стороны явлений, цель и внутренние причины для него закрыты». «Ограниченность современной науки не позволяет делать какие-либо общие выводы»¹¹⁸.

«Отношение Флобера к науке сложное», — справедливо пишет исследователь далее; несмотря на то, что писатель «неоднократно скептически высказывался о развитии науки», он «не отрицал науку вообще». Но из того, что «наука ценится Флобером, как средство критического восприятия действительности и как неисчерпаемый источник для построения внутреннего духовного мира», никак не следует, что «он никогда не верил в активную, преобразующую, творческую силу науки»¹¹⁹. Если бы это было так, мы не нашли бы у Флобера такого, например, высказывания: «Люди чистого разума оказали больше услуги человечеству, чем все Венсен де Поли вместе взятые! Политика до тех пор будет сущим вздором, пока не окажется в полной зависимости от Науки. Правительство страны должно быть одной из секций Академии и притом самой значительной». «Самое большое преступление Исидора заключается в том, что он предостажляет нашей прекрасной родине погрязать в невежестве»¹²⁰.

«Все герои Флобера, — продолжает Шрайбер унифицировать, — не удовлетворены своей судьбой». «Каждый из них восстает против окружающей их действительности» и «пытается утвердить для себя иное бытие». Так, Бувар и Пекюше (с отвращением сядившиеся за конторки) «заменяв конторские рукописи обширными трудами по различным отраслям знания, вначале не сомневаются в том, что они станут великими учеными», но «в конечном итоге наглядно убеждаются в химеричности своих идеалов и оказываются побежденными в поединке с жизнью». Отношение Флобера к своим героям двойственно, справедливо замечает исследователь далее; «он ненавидит действительность, и поэтому любое отрицание этой действительности <...> вызывает у него одобрение», и «Бувар и Пекюше возвышаются над окружающими именно в момент протеста, в период страстных поисков идеалов. Бунт делает каждого из них личностью, но в то же время Флобер и горько высмеивает своих героев за то, что они хотели бороться с этим миром средствами этого же мира, за то, что они хотели в его пошлых рамках создать или

¹¹⁸ Э. Л. Шрайбер, ук. соч., стр. 103, 104, 112.

¹¹⁹ Там же, стр. 104, 105.

¹²⁰ Флобер, т. VIII, стр. 250 (письмо к Жорж Санд, начало июля 1869 г.).

найти что-либо прекрасное»¹²¹. Однако, продолжает Шрайбер, и «революционный переворот рассматривается им <Флобером> с точки зрения разумности или неразумности. Социальный подход к общественным явлениям у него отсутствует». События 1848 и 1871 гг. для него, по словам исследователя «не что иное, как проявление людского неразумия», а «социально-политические теории его времени» писатель считал «заблуждениями XIX столетия»¹²².



К 75-летию со дня смерти Флобера вышла талантливая книга Б. Г. Реизова, единственным недостатком которой, на наш взгляд, является то, что в ней «Бувару и Пекюше» (как и другим произведениям Флобера 70 гг.) уделено, к сожалению, гораздо меньше внимания, чем его произведениям 50—60 гг. Если «Мадам Бовари» в монографии Б. Г. Реизова посвящено более ста страниц, а «Саламбо» и «Воспитанию чувств» — приблизительно по 70, то произведениям 70 гг. посвящена лишь одна общая глава, занимающая всего 62 страницы, из которых на долю «Бувара и Пекюше» пришлось лишь шестнадцать¹²³. Можно только пожалеть, что даже такой знаток Флобера, как Б. Г. Реизов, не нарушил давно установившейся, но не оправдывающей себя традиции (против которой аргументированно выступал уже Дижон)¹²⁴ — уделять последним произведениям Флобера значительно меньше внимания, чем его трем первым романам. Результатом этой укоренившейся традиции явилось то, что последние произведения Флобера, подытожившие не только творчество самого Флобера, но и историю французского критического реализма, — оказались наименее изученными. Исключительная сложность некоторых из этих произведений (в особенности «Бувара и Пекюше»), огромная эрудиция Флобера, нашедшая в них выражение, — как бы отпугивают от них исследователей и больше всего в результате этого пострадали именно «Бувар и Пекюше»...

Философский роман Флобера, по справедливому замечанию Б. Г. Реизова, посвящен изучению пороков бытового и научного буржуазного мышления, «которые вызвали военную катастрофу <1870 г.> и ведут страну к гибели. Флобер поставил себе задачей вскрыть этот недостаток логики, это «отсутствие метода». Под ударами последних событий «башня из слоновой кости» окончательно развалилась, и новый роман Флобера, более явно,

¹²¹ Э. Л. Шрайбер, ук. соч., стр. 105—106.

¹²² Там же, стр. 116, 117.

¹²³ Б. Г. Реизов, Творчество Флобера, ГИХЛ, М., 1955, стр. 491—507.

¹²⁴ См. Claude Digeon, Le dernier visage de Flaubert, P., <1946>, pp. 6—7.

чем все предыдущие, оказался *орудием страстной идеологической борьбы*»¹²⁵.

Б. Г. Реизов решительно и аргументированно выступает против мнения, будто «роман этот доказывает невозможность науки и всякого знания вообще, непознаваемость мира», о чем «твердят почти все французские исследователи» и что, по его словам, «прямо противерчит твердым убеждениям Флобера, высказывавшимся им в это время категорически и многократно»; «не соответствует истине», добавляет исследователь в примечании, и мнение тех, которые «утверждают, будто Флобер доказывает недоступность знания для «неспособных» к науке людей и выступает против популяризации науки»¹²⁶. Ошибки названных исследователей, указывает Б. Г. Реизов, присходят оттого, что они необоснованно «пользуются словами флоберовских героев, чтобы характеризовать собственную его, Флобера, точку зрения, отождествляя Буvara и Пекюше с их автором», несмотря на то, что последний «постоянно указывает на то, что его герои не понимают тех научных проблем, которые они хотят разрешить»¹²⁷.

Указав на плачевные результаты занятий Буvara и Пекюше сельским хозяйством, зоологией и учением Дарвина, Б. Г. Реизов не без иронии спрашивает: «Неужели в этих словах можно видеть неверие в науку, и неужели сам Флобер считал эволюционную теорию нелепостью, развитие мира — недоступным для человеческого познания, а сельское хозяйство невозможным?». К аналогичным выводам исследователь приходит и в связи с занятиями Буvara и Пекюше историей, «Этикой» Спинозы, эстетикой, Вальтер Скоттом, художественным творчеством. Все эти неудачи Буvara и Пекюше Б. Г. Реизов совершенно справедливо объясняет тем, что они «не владели» «рациональным методом». «В этом заключались их трагедия, их комизм и их типичность для современного общества»¹²⁸.

Исследователь совершенно прав, заявляя, что «предметом сатиры Флобера являются не только грустные курьезы, собранные в научной литературе века, но и вся современная «плохая наука», построенная на пустых домыслах, на «средневековых» фантазиях, на «вере», философия, пренебрегающая опытом, навязывающая действительности свои субъективные представления». Роман Флобера, справедливо настаивает исследователь далее, — «не отрицание научного знания, но борьба с ложной наукой и требование подлинной науки, которая даст истинное знание и возможность более справедливой и более одухотворенной социальной жизни. Пафос этого романа — не в агности-

¹²⁵ Б. Г. Реизов, Творчество Флобера, стр. 492, 494.

¹²⁶ Там же, стр. 494—495.

¹²⁷ Там же, стр. 495—496.

¹²⁸ См. там же, стр. 496—499.

цизме, а в *проповеди знания*», ибо в романе этом «критике подвергнуты всякого рода религии, заблуждения и фантазии к вящей славе настоящей науки, на которую Флобер уповал, как на последнее спасение от заливающих мир мещанства и глупости». Образ Илариона, олицетворяющего науку в «Искушении святого Антония» и «досягающего головой до облаков, незримо присутствует и в этом романе. Он-то и придает комическим приключениям Буvara и Пекюше глубокий философский смысл». «Но этот идеал знаний, — заканчивает Б. Г. Рейзов свою мысль, — все же позитивистский, а поэтому включает в себя черты агностицизма. Наука вытесняет религию и вытеснит ее из всех уголков современного невежества. Люди когда-нибудь научатся научно мыслить. Но, по мнению Флобера, понять последнюю тайну бытия никакая наука не сможет»¹²⁹.

Отрицая этапное значение «Буvara и Пекюше» в творчестве Флобера, Б. Г. Рейзов, тем не менее, признает значительное отличие этого романа от предшествующих произведений писателя и на основании «философичности» этого произведения сближает его с «Искушением святого Антония» самого Флобера и с философскими повестями Вольтера: «Сухой, иронический, деловой, непрерывно преследующий доказательство одного положения, последний роман Флобера словно воспроизводит в новых условиях тенденцию и манеру философского романа Вольтера». Но, приведя вслед за тем слова Тургенева, советовавшего Флоберу написать о Буvаре и Пекюше «не роман, а небольшую повесть, в духе Вольтера и Свифта», и ответные слова Флобера о том, что в задуманном произведении он намеревается «создать нечто серьезное и страшное», Б. Г. Рейзов подчеркивает, что «гротескные образы его <Флобера> героев выражают трагические стороны современной культуры и трактованы с серьезностью, которой нет ни у Вольтера, ни у Свифта»¹³⁰.

Затем исследователь переходит к анализу самих образов Буvara и Пекюше. По его справедливому замечанию в своем последнем романе «Флобер хотел показать *дефект мышления, характеризующий целое поколение и даже век в истории буржуазной цивилизации*». «С Буvаром и Пекюше, — подчеркивает Б. Г. Рейзов, — Флобер обращается совсем не так, как с прежними своими героями»,¹³¹ но следует ли из этого, что они «служат для него доказательством «тезы» и *существуют только для этого*» и что «Логика их поведения лежит вне их природы и вне их характера»?¹³²

¹²⁹ Там же, стр. 500, 501.

¹³⁰ Там же, стр. 501—502; см. также E. Halpérine-Kaminsky, Ivan Tourgueneff d'après sa correspondance avec ses amis français, P., 1901, p. 81; Flaubert. Lettres inédites à Tourgueneff, ук. изд., стр. 82.

¹³¹ Б. Г. Рейзов, Творчество Флобера, стр. 502—503.

¹³² Там же, стр. 503.

Несомненно, что «психология Буvara и Пекюше» несколько неправдоподобна. Но так ли уж трудно представить себе, что эти «два пожилых и необразованных человека, обуянные бесом знания» за те 30 (или даже 38) лет, в течение которых продолжается (по вычислению Дешарма)¹³³ их деятельность в романе Флобера, — прочитали «тысячи книг по самым разнообразным отраслям науки», и, как хозяева, которые «были увлечены своими идеями», привели свои земли «в полный упадок»?¹³⁴ И разве из того, что иногда Бувар и Пекюше «проявляют замечательную тонкость суждений и незаурядный здравый смысл», а в «других случаях <...> кажутся совершенными идиотами и не понимают самых простых вещей» — следует, что в них совсем нет «психологического единства»?¹³⁵

Можно согласиться со словами Б. Г. Реизова о том, что при создании «Буvara и Пекюше» «внутренняя, психологическая правда персонажа не имела <для Флобера> первостепенного значения», поскольку «на первый план выступала судьба идеи, принятой или высказываемой этим персонажем», но трудно поверить, будто «подлинным героем произведения оказываются не Бувар и Пекюше», а лишь «особый способ мышления, особая позиция по отношению к знанию и действительности, выразителями которой оказались два переписчика»¹³⁶.

Признаемся также, что «спору о том, умны или глупы эти герои, симпатичные они или нет и в каком направлении идет их психологическое развитие», не кажутся нам праздными, а «то и другое заключение» по этому вопросу — «одинаково произвольными». Исследователь ведь и сам признает, что Бувар и Пекюше «все же <...> очень похожи на живых людей». Разумеется, Бувар и Пекюше «не являются образами в той мере, в какой можно считать образом <...> Шарля Бовари или г-на Оме», но можно ли утверждать, что «в своей деятельности они напоминают автоматы, заведенные в начале романа и производящие сложные движения независимо от обстановки, в которой эти движения совершаются» или что «они осуществляют до конца порученную им идею, не меняясь и не приобретая опыта»? То «почти лирическое сочувствие», та симпатия, которые, по признанию самого же Б. Г. Реизова, Бувар и Пекюше временами к себе вызывают, оказались бы невозможными, если бы они и в самом деле воспринимались читателем как автоматы... Да и какие могут быть у автоматов «поиски абсолюта», «разочарования, душевное смятение, философские и житейские неудачи»?¹³⁷

¹³³ См.: R. Descharmes, Autour de «Bouvard et Pécuchet», ук. изд., стр. 83—84.

¹³⁴ Б. Г. Реизов, Творчество Флобера, стр. 503.

¹³⁵ См. там же, стр. 503—504.

¹³⁶ Там же, стр. 504.

¹³⁷ Там же, стр. 504—505.

Но исследователь, несомненно, прав, когда заявляет, что «философские бедствия Бувара и Пекюше показаны не как случайные отклонения от нормы», а «как закономерность общего характера», так что «Бувар и Пекюше в своем внутреннем единстве являются типом грандиозной обобщающей силы. Это *воплощение порочного, мещански ограниченного мышления, вторгающегося со своими бытовыми навыками в область высокого научного познания*». «Главных героев, выходящих за пределы реального быта и общего правдоподобия, — продолжает Б. Г. Реизов, — окружают персонажи, точно определенные местом, временем и социальным положением». «Среда заставляет главных героев отказаться от всех их предприятий. Она изображена с беспощадной яркостью и замечательной остротой критического анализа. Персонажи, зарисованные двумя штрихами, живут такой напряженной жизнью, что кажется, будто они выходят за пределы романа и приобретают самостоятельное существование. Все они — типичные представители различных сил французской провинции и вместе с тем лучшие создания французской прозы». ¹³⁸ В приведенном рассуждении нет ни одного слова, могущего вызвать сомнение. Мы считаем возможным даже добавить, что по лаконичности и в то же время — жизненности и выразительности обрисовки многочисленных второстепенных персонажей «Бувара и Пекюше» мастерство Флобера приближается к непревзойденному в этом отношении мастерству Данте в «Божественной комедии».

Б. Г. Реизов справедливо указывает на холодный прием, оказанный посмертному роману Флобера читателями и критиками — в том числе Тэном и Зола, считавшим «замысел Флобера неосуществимым». «И до сих пор еще, — констатирует исследователь в конце своего анализа «Бувара и Пекюше», — эта «философия пошлости», это замечательное изображение роковой «ненаучности» современного буржуазного мышления, этот грандиозный памфлет остается для критики непонятым. *Благоговение перед наукой рассматривается как неверие в познание, и критика научной методологии кажется отказом от всякой науки вообще*» ¹³⁹.

Как видно из вышеизложенного, интерпретация «Бувара и Пекюше» Б. Г. Реизовым в основном не только правильна, но и оригинальна. Убедительно показаны «истoki» этого произведения, его жанровое и композиционное своеобразие, намерения Флобера и достигнутая им степень реализации этих намерений. Б. Г. Реизов неопровержимо доказал, что философский роман Флобера является не отрицанием науки и знания, а чем-то диаметрально противоположным этому.

¹³⁸ Там же, стр. 505—506.

¹³⁹ Там же, стр. 506—507.

Но мы не можем вполне согласиться с тем, что Б. Г. Реизов говорит о проблеме правдоподобия в «Буваре и Пекюше». Исследователь цитирует письмо Флобера, в котором он просит не бояться, что «эта книга <т. е. «Бувар и Пекюше»> будет слишком реалистичной»¹⁴⁰, но забывает о стремлении Флобера «придать сюжету романа <...> реалистический характер»¹⁴¹. Вслед за Дешармом, на которого он ссылается¹⁴², Б. Г. Реизов справедливо говорит о том, что посмертный роман Флобера «не удовлетворяет требованиям правдоподобия» (что нашло выражение в неопределенности продолжительности действия, в статичности как самих Буvara и Пекюше, так и их окружения), но можно ли на основании указанных фактов утверждать, что, исходя из замысла своего романа, Флобер считал себя свободным «от необходимости в других случаях хронологической, топографической и исторической точности»?¹⁴³ Если бы это было так, то чем же объяснить поездки Флобера в Орн и Кальвадос или предварительное чтение им легендарных 1500 томов?

Если взять, например, противоречия в хронологии этого произведения, о которых исследователь говорит на основании выкладок Дешарма¹⁴⁴, то такого рода неточности встречались уже в «Мадам Бовари», где Эмма, забеременевшая в марте, должна была бы разрешиться от бремени в декабре, а фактически разрешается лишь в апреле. Бове, впервые обративший внимание на этот факт, утверждал даже, что это «упущение» было нарочно допущено Флобером в целях достижения большего реализма, поскольку в результате этого роды Эммы пришлось на более «выгодный» для автора сезон¹⁴⁵. Известно также, как обстоит дело с хронологией в «Жан-Кристофе» Р. Роллана¹⁴⁶, и тем не менее никто не усматривает в этом «хронологическом нигилизме» доказательства ущербности роллановского реализма или сознательного отказа писателя от требований правдоподобия.

Что касается неправдоподобности и условности образов Буvara и Пекюше, то выше мы уже полемизировали с Б. Г. Реизовым по этому поводу. Нам кажется, что Б. Г. Реизов интеллектуально слишком принизил Буvara и Пекюше. В результате они

¹⁴⁰ Там же, стр. 504; ср. Флобер, т. VIII, стр. 438 (письмо к Жорж Санд от 8 апреля 1874 г.).

¹⁴¹ М. Эйхенгольц, Сатирический роман «Бувар и Пекюше», стр. 10.

¹⁴² См. Б. Г. Реизов, Творчество Флобера, стр. 503, а также R. Descharmes, Autour de «Bouvard et Pécuchet», ук. изд., стр. 57—58.

¹⁴³ Б. Г. Реизов, Творчество Флобера, стр. 503.

¹⁴⁴ См. там же; ср. R. Descharmes, Autour de «Bouvard et Pécuchet», ук. изд., стр. 57—58.

¹⁴⁵ См.: Ernest Bovet, Le réalisme de Flaubert, — «Revue de l'histoire littéraire de la France», 1911, janvier—mars, pp. 6, 24, 25, 26.

¹⁴⁶ См. Л. Арагон, Ромен Роллан и современность, — в кн.: Луи Арагон, Литература и искусство, ГИХЛ, М., 1957, стр. 83—88.

оказались трактованными исследователем слишком односторонне — лишь как олицетворения глупости; они как бы в ответе за всю человеческую глупость — даже ту, которую они сами находят и смакуют у других. Вследствие такого упрощения Бувар и Пекюше оказываются лишь плохими (неэстетичными) критиками того же Вальтер Скотта и антагонистами самого Флобера в вопросах литературной критики, а критика ими романтических штампов того же писателя¹⁴⁷, совпадающая с позицией самого Флобера в подобного рода вопросах, — оказалась неучтенной. Точно так же получилось у Б. Г. Реизова с Буваром и Пекюше, как с людьми полуобразованными (их лучше было бы назвать самоучками), которым в романе противопоставлены образованные (Вокорбейль и др.), всегда якобы превосходящие друзей по своим познаниям — лишь в силу своего диплома. Более толерантный подход к Бувару и Пекюше позволил бы исследователю заметить в романе Флобера немало случаев, в которых «полуобразованные» заставляют краснеть «образованных» за свое невежество.

Неубедительным кажется нам и утверждение Б. Г. Реизова о том, что И. С. Тургенев был в числе тех компетентных читателей «Бувара и Пекюше», которые оказались в состоянии понять смысл этого произведения. В другом месте мы имели случай убедиться, что Тургенев не понял даже замысла флюберовского романа¹⁴⁸.

* * *

В один год с исследованием Б. Г. Реизова с книгой о Флоре выступил А. Ф. Иващенко¹⁴⁹. Заглавие книги А. Ф. Иващенко значительно шире ее содержания, ибо автор ограничился, собственно, лишь анализом произведений 50—60 гг.; юношеские же произведения Флобера, как и его произведения 70 гг. оказались почти совсем обойденными исследователем. Творчеству Флобера последнего десятилетия посвящено... 6 страниц, из которых на долю «Бувара и Пекюше» пришлось две (из 488, имеющихся в монографии). А. Ф. Иващенко, видимо, счел возможным говорить о месте и значении Флобера в истории французского реализма без привлечения его итоговых произведений 70 гг., в которых реализм (хотя и своеобразный для Флора) продолжает торжествовать свою победу — на зло всеоб-

¹⁴⁷ См. Флобер, т. VI, стр. 177.

¹⁴⁸ См. Б. Г. Реизов, Творчество Флобера, стр. 507 и нашу работу «Роман Флобера «Бувар и Пекюше» в оценке дореволюционной русской критики. Статья I», — Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 104, Тарту, 1961, стр. 211—215.

¹⁴⁹ А. Ф. Иващенко, Гюстав Флобер. Из истории реализма во Франции, изд. АН СССР, М., 1955.

шему натуралистическому поветрию. В результате такого решения место, отведенное посмертному роману Флобера, оказалось в книге А. Ф. Иващенко крайне ограниченным, и он не смог (если бы даже и захотел) сказать об этом произведении ничего существенного. Но даже то немногое, что оказалось сказанным, далеко не всегда соответствует истине.

Отметив, что «последние годы жизни и творчества Флобера» характеризуются «резкими противоречиями (то вера в силы науки, то неверие в науку и прогресс)», А. Ф. Иващенко совершенно правильно характеризует и философский роман Флобера как «произведение сложное, противоречивое, сочетающее силу и слабость, моменты прогрессивные и консервативные». Но то, что А. Ф. Иващенко сам говорит об этом произведении, тоже, к сожалению, противоречиво. На одной и той же странице А. Ф. Иващенко утверждает, что в основе «Буvara и Пекюше» лежит «мысль о бесплодности идейных исканий *человечества*, о ничтожности ценностей культуры» (тогда как в «действительности речь могла идти» лишь о культуре «*господствующих классов*»), и что в названном романе Флобер ставит «вопрос о кризисе *буржуазной культуры и науки*» и «наносит сильный удар по культуре *господствующих классов*»¹⁵⁰. Что же все-таки лежит в основе «Буvara и Пекюше»? Если истина заключается в тех словах исследователя, которые приведены последними, тогда зачем этими же словами поучать Флобера? Если же истина — в первых процитированных нами словах А. Ф. Иващенко, то к чему же тогда его последние слова?

По мнению А. Ф. Иващенко, «Бувар и Пекюше как бы олицетворяют в глазах Флобера пагубные последствия вульгаризации и опошления данных науки. Результаты науки низводятся к абсурду, коль скоро в область научного творчества вторгаются представители обывательски безликой массы — Бувар и Пекюше»¹⁵¹. Но ведь доктор Вокорбей не является представителем этой массы, а разве его вторжение в науку (медицину) выглядит лучше, чем вторжение в нее Буvara и Пекюше? Почему же низводится наука к абсурду в его деятельности? Не потому

¹⁵⁰ А. Ф. Иващенко, Гюстав Флобер. Из истории реализма во Франции, стр. 359, 358. Позже Иващенко стал усматривать в «Буваре и Пекюше» отображение «*кризиса духовных исканий*...» (А. Ф. Иващенко, К вопросу о критическом реализме и реализме социалистическом, — в кн.: «Проблемы реализма», ГИХЛ, М., 1959, стр. 318). В другой работе исследователя говорится о бесплодном, оторванном от жизни энциклопедизме «Бюvara <так!> и Пекюше» — книги, проникнутой «*глубоким неверием в возможность социального и научного прогресса человечества*» (А. Ф. Иващенко, Проблема народа в реализме Флобера (По материалам романа «Воспитание чувств»), — Уч. зап. Института Мировой литературы им. А. М. Горького, т. 1, изд. АН СССР, М., 1952, стр. 351, 367).

¹⁵¹ А. Ф. Иващенко, Гюстав Флобер. Из истории реализма во Франции, стр. 358.

ли, что «в область *научного творчества*» он никогда не вторгается? Исследователь, видимо, прав, когда заявляет, что Бувар и Пекюше — «компиляторы, потребительски воспринимают уже достигнутое и самое большее — открывают в нем противоречия»; но следует ли отсюда, что они вообще «не обладают способностями к науке»?¹⁵² Ведь всякая наука на каждом этапе своего развития (в лице представляющих эти этапы ученых) прежде всего воспринимает «уже достигнутое» и пытается разрешить встречающиеся в нем противоречия. В этом, на наш взгляд, и заключается основная предпосылка развития науки. Впрочем, Б. Г. Реизов, как мы выше видели, уже возражал тем исследователям, которые «утверждают, будто Флобер доказывает недоступность знания для «неспособных» к науке людей и выступает против популяризации науки»¹⁵³.

«С одной стороны, — уже справедливее продолжает А. Ф. Иващенко, — Флобер изобличал противоречивость и шаткость современных ему научных знаний, с другой — дискредитировал Бувар и Пекюше как *тип ученых* с их мешанской ограниченностью». Но стоит ли так решительно говорить о дискредитации Буваром и Пекюше темы «фаустианского дерзания» или о том, что «Флобер приводил своих героев <...> к мрачной философии безверия и фатализма»¹⁵⁴. Бувар, по крайней мере, «видит будущее человечества в розовом свете»¹⁵⁵.

¹⁵² Там же, стр. 359.

¹⁵³ Б. Г. Реизов, *Творчество Флобера*, стр. 495, примечание 3.

¹⁵⁴ А. Ф. Иващенко, Гюстав Флобер. Из истории реализма во Франции, стр. 359; курсив автора. «... Мопассан и Золя, а также и Флобер конца 70-х годов — автор «Буvara и Пекюше», — пишет Иващенко в одной другой своей работе, — в разной форме, с разной степенью последовательности порой развенчивали человека, утратив веру в него как в существо интеллектуальное, идейно возвышенное» (А. Ф. Иващенко, *Французская литература от Парижской Коммуны до первой мировой войны и Великой Октябрьской Социалистической революции*, — в кн.: «История французской литературы», т. III (1871—1917 гг.). Изд-во АН СССР, М., 1959, стр. 34).

¹⁵⁵ Флобер, т. VI, стр. 351. Через год А. Ф. Иващенко дважды (и более или менее дословно) повторил то немногое, что годом раньше было сказано о «Буваре и Пекюше» в его монографии о Флобере (см. А. Ф. Иващенко, Флобер, — в кн.: «История французской литературы», т. II (1789—1870), изд. АН СССР, М., 1956, стр. 656—657; его же, Гюстав Флобер, — в кн.: Гюстав Флобер, *Собр. соч.* в пяти томах, т. I, изд-во «Правда», М., 1956, стр. 29; см. также краткую анонимную справку к «Бувару и Пекюше» на стр. 390 IV тома только что названного собрания сочинений Флобера, принадлежащую, видимо, перу того же А. Ф. Иващенко, под наблюдением которого это издание выходило). Но если краткость анализа «Буvara и Пекюше» и его непропорциональность с анализом предшествующих произведений Флобера в книге А. Иващенко еще как-то можно объяснить ее темой (темой докторской диссертации, из которой она, как известно, выросла), то аналогичное положение в других названных работах ученого уже ничем объяснить (и извинить) нельзя, поскольку и та их них, которая была написана для II тома академической «Истории французской литературы», и

Книги Б. Г. Реизова и А. Ф. Иващенко о Флобере вызвали несколько откликов в нашей и в зарубежной периодической печати. Уже К. Анисимова справедливо упрекала А. Ф. Иващенко за то, что он «пренебрег сколько-нибудь тщательным анализом раннего периода флоберовского творчества и — что особенно огорчительно — последнего»¹⁵⁶. Монография Б. Г. Реизова была свободнее от этого недостатка. «Творчество Флобера, — справедливо отмечалось в рецензии на нее, — изучено в монографии в процессе становления, начинания с юношеских опытов и кончая последними произведениями»¹⁵⁷.

С. Артамонов, справедливо защищая Флобера от К. Анисимовой, не признававшей в нем гуманиста¹⁵⁸, в конце концов сам впадает в заблуждение, когда, на основании произвольно выхваченной цитаты, пытается представить Флобера (в трактовке Б. Г. Реизова) как одного «из зачинателей декаданса», как предшественника «той литературы, которая опиралась на философию интуитивизма». Явно впадая в метафизику, С. Артамонов спрашивает: «Итак, кто же Флобер — писатель-реалист <...> или

та, которая была предпослана сочинениям Флобера, выпущенным издательством «Правда», — были посвящены не какому-то отдельному периоду творчества писателя, а Флоберу вообще, и в них посмертному роману должно было бы быть посвящено столько же внимания и места, как и другим флоберовским произведениям того же объема и значения. Игнорирование «Бувар и Пекюше» (а также некоторых других произведений 70 гг.) оказывается особенно пагубным тогда, когда А. Ф. Иващенко начинает решать общие проблемы флоберовского творчества, например — проблему народа в реализме Флобера. Справедливо указав, что во взглядах Флобера «на народ было много неустойчивого, противоречивого» и что «аристократическое пренебрежительное отношение к «толпе» боролось в нем «с чувством глубокого уважения к простым людям», исследователь, исходя из одного лишь «Воспитания чувств», делает вывод о том, что «случайности частной жизни героя определили в романе масштабы и характер показа общественной жизни» в эпоху революции 1848 г. (А. Ф. Иващенко, Проблема народа в реализме Флобера, ук. изд-е, стр. 355, 385; разрядка автора). Если бы, кроме «Воспитания чувств», исследователь привлек и шестую главу посмертного романа, посвященную той же революции 1848 г., он не сделал бы своего одностороннего вывода, ибо в этом романе «масштабы и характер показа общественной жизни» отнюдь не определяются случайностями частной жизни Буvara и Пекюше. А. Ф. Иващенко пренебрег не только посмертным романом Флобера: он и письма его счел возможным цитировать «по памяти». «В одном из писем Флобер подчеркивает, — уверяет исследователь, — что 89-й год сокрушил дворянство, 48-й год народ, а 51-й год — буржуазию» (там же, стр. 369), тогда как в действительности у Флобера сказано: «89-й год сокрушил королевскую власть и дворянство, 48-й — буржуазию, а 51-й — народ» (Флобер, т. VII, стр. 562; недатированное письмо к Луизе Коле; курсив автора).

¹⁵⁶ К. Анисимова, К истории французского реализма, — «Звезда», 1956, № 2, стр. 182.

¹⁵⁷ Н. Таманцев, А. Хватов, Под знаком историзма, — «Звезда», 1957, № 6, стр. 212.

¹⁵⁸ См.: К. Анисимова, ук. соч., стр. 183.

«руанский <так!> отшельник»? (Почему же «или — или»? Да-да, нет-нет; что сверх того, то от лукавого?). И если, говоря словами С. Артаманова, «Б. Г. Реизов не дает достаточно ясного ответа на этот вопрос», то происходит это, видимо, потому, что он не любит метафизики и считает, что писатель может быть (как это доказал Флобер) «отшельником» и оставаться при этом реалистом. И если А. Ф. Иващенко «смело и прямолинейно отвергает второй вывод», то отчасти, возможно, потому, что Флобер и в самом деле не был «руанским отшельником» и называл себя в шутку «отшельником из Крцассе»¹⁵⁹.

Валентина Дынник, полагая, что «вопрос о творческом методе Флобера» не получил в монографиях А. Ф. Иващенко и Б. Г. Реизова «достаточно полного и ясного разрешения», в то же время выражала уверенность, что книги эти «несомненно, послужат большим творческим стимулом к дальнейшему изучению Флобера»¹⁶⁰. И в самом деле, уже в 1959 г. Т. Е. Шевалева, упрекая авторов этих книг в том, что «проблема викривальної спрямованості творчості Флобера, незважаючи на її поглиблене висвітлення, все же не цілком розроблена в цих працях», что в них «не показани деякі художні засоби, з допомогою яких виявляється критицизм письменника»¹⁶¹ — защи-

¹⁵⁹ См.: С. Артаманов, Были ли Флобер гуманистом? — «Литературная газета», № 105 (3606), 4. IX 1956, стр. 3.

¹⁶⁰ Валентина Дынник, Две книги о Флоре, — «Иностранная литература», 1956, № 9, стр. 205. Между тем, И. А. Куннина полагает, что после «докторской диссертации А. Ф. Иващенко <...> заниматься проблемой истоков мировоззрения Флобера означало бы *решать уже решенную проблему*» (И. А. Куннина, О некоторых лексических и лексико-синтаксических средствах типизации персонажей в романе Г. Флобера «Мадам Боварь». Дисс. на соиск. уч. ст. канд. филол. наук (машинопись). М., 1955, стр. 7). Уверенность в доскональности и непогрешимости Иващенко, видимо, и заставляет Куннину повторить (да еще без кавычек!) свидетельствующие о непонимании сути вопроса слова Иващенко о том, что «стремление Флобера» «написать книгу «ни о чем», без всякого содержания» «никогда не осуществилось, ибо даже роман «Бувар и Пекюше», где традиционные формы романа фактически разрушены, нельзя назвать книгой «ни о чем»». (И. А. Куннина, ук. соч., стр. 10; ср. А. Ф. Иващенко, Реализм Флобера. Дисс. на соиск. уч. ст. докт. филол. наук (машинопись), т. I, М., 1950, стр. 22, 33). «... Флобер не смыкался с абстракционизмом и не становился родоначальником «нового романа» наших дней, — справедливо замечает Б. Песис, комментируя стремление Флобера написать роман «ни о чем». — Он лишь <...> говорил о фанатической вере в мастерство, о независимости мастерства от количественных факторов, от «богатства материала». Это был не просто парадокс, это была полемика с писателями, которые призывали художника идти за жизнью, как слепой за своим поводырем, — в надежде, что «богатством материала» спасешься» (Б. Песис, От XIX к XX веку: традиция и новаторство во французской литературе. СПб., М., 1968, стр. 44).

¹⁶¹ Т. Е. Шевалева, До питання про критицизм Флобера. — Тр. Одеського гос. ун-та ім. І. І. Мечникова. Год ХСІV. Т. 148. Сборник молодых ученых университета. Вып. II. Филологические науки. Одесса, 1958, стр. 169.

тила в Черновицком государственном университете диссертацию о «Мадам Бовари»¹⁶².

* *
*

В 1957 г. Учпедгиз выпустил написанную коллективом авторов «Историю зарубежной литературы XIX века». Глава о Флобере в этой книге (предназначенной в качестве учебника для студентов педагогических институтов) написана М. Е. Елизаровой, которая вначале совершенно справедливо утверждает, что посмертный роман Флобера (как и «Искушение святого Антония») посвящен «проблеме человеческого разума, которую Флобер решал очень противоречиво». Совершенно верно и то, что писатель «не раз призывал художника опереться в своем методе на достижения науки», но утверждение, что «у него отчетливо звучит разочарование в могуществе разума»,¹⁶³ в лучшем случае является преувеличением.

М. Е. Елизарова уже с самого начала неправильно трактует образы Буvara и Пекюше, а это, в свою очередь, приводит ее к неправильному толкованию идеи и смысла самого флюберовского романа. Утверждение, что Бувар и Пекюше «мечтают <...> вести праздный образ жизни» и что «им удается осуществить эту мечту», — столь же далеко от истины, как и утверждение, будто они «ходят на лекции армянского языка» или будто

¹⁶² См.: Т. Е. Шевалева, «Мадам Бовари» Флобера. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Черновицы, 1959. Это уже вторая диссертация о первенце Флобера; другим произведениям писателя у нас до сих пор почему-то везет значительно меньше. Специального исследования удостоилась из них пока одна лишь «Саламбо»: см. Н. М. Петренко, «Библейские» параллели в романе Г. Флобера «Саламбо», Чечено-Ингушский гос. пед. институт. Уч. зап., № 18. Серия филологическая, вып. № 11, Грозный, 1963, 252 стр. До последнего времени, не без основания писал Роже Вейе в связи со столетием со дня появления «Госпожи Бовари», «Флобер был <...> одним из классиков нашей литературы, которым советское литературоведение» относительно пренебрегало. «Изучали Стендаля и Бальзака, Мопассана и Золя...» От первых переходили к последним, а значение и заслуги автора «Госпожи Бовари» признавались не всегда. «Две основательные работы, изданные в Москве почти одновременно» (имеются в виду указанные монографии Б. Г. Реизова и А. Ф. Иващенко) «искупили определенную несправедливость и исправили некоторые ошибки» (Roger Veillé, *Madame Bovary a cent ans*, — «Europe», № 138, juin 1957, p. 3). Из краткой характеристики работ названных советских исследователей явствует, что Вейе почему-то отдает предпочтение несерьезной книге Иващенко; неудивительно, что половину своей статьи он посвятил краткому изложению именно его взглядов на «Госпожу Бовари» (см. там же, стр. 3, 4—15).

¹⁶³ М. Е. Елизарова, С. П. Гиждеу, Б. И. Колесников и Н. П. Михальская, История зарубежной литературы XIX века. Учпедгиз, М., 1957, стр. 479.

они «становятся помещиками» благодаря тому, что у них «*скапливается* небольшая сумма денег»¹⁶⁴.

Для М. Е. Елизаровой Бувар и Пекюше — всего лишь «новый вариант образов невежественных <...> обывателей» (вроде аптекаря Омэ или обывателя из «Лексикона прописных истин»), которые «*философствуют от нечего делать*»¹⁶⁵. Всякому, кто читал роман Флобера, ясно, что Бувар и Пекюше совсем не похожи на ионвильского аптекаря (оттого-то и конечные судьбы их столь различны: Омэ в конце романа идет в гору и получает орден Почетного легиона, а Бувар и Пекюше терпят во всем полный крах)¹⁶⁶. И хотя Бувар и Пекюше и не особенно разбираются в науке и в самом деле «открывают давно открытые Америки» и при этом неизбежно «повторяют чужие мысли», они делают это не от скуки (как думает М. Е. Елизарова), а в силу той (столь характерной для них) любознательности, которая является, как известно, первой и самой необходимой предпосылкой всякого духовного развития и прогресса в науке. Что касается «открытий», то даже самые гениальные люди всегда и по необходимости начинают, как известно, именно с «открытия» давно открытых Америк. Но кому же придет в голову обвинять их на этом основании в буржуазной ограниченности и буржуазном скудоумии (в чем, по мнению М. Е. Елизаровой, якобы обличает Бувара и Пекюше Флобер).¹⁶⁷

¹⁶⁴ Там же; ср. Флобер, т. VI, стр. 58, 63, 65—66 и *passim*. Беда тут не столько даже в том, что М. Е. Елизарова, прежде чем писать о «Буваре и Пекюше», не сочла нужным их перечитать, сколько в том, что память людей, рецензировавших ее рукопись, а затем и самый учебник (или сделавших по нему свои «*критические замечания*»), оказалась тоже не слишком обремененной знанием содержания флюберовского романа. Чем же иначе объяснить, что во втором (1961) и третьем (1964) изданиях учебника, в которых (как сказано в предисловиях к этим изданиям) «*авторы учили критические замечания, сделанные по данному учебнику*» (стр. 4), в разделе о «Буваре и Пекюше» (стр. 511—512 второго издания и стр. 512—513 третьего издания) ... ничего не изменилось? И. Раджабова (которая, в основном, повторяет М. Е. Елизарову) внушает студентам-филологам, что Бувар и Пекюше «*снова возвращаются к своей прежней службе*» (И. Раджабова, Густав Флобер (лекция для студентов филологических факультетов). Душанбе, 1962, стр. 24). Характерно, что «Госпоже Бовари» И. Раджабова посвящает 7 страниц, «Воспитанию чувств» — около пяти, «Саламбо» — около трех, а «Бувару и Пекюше» — всего 29 строк — меньше, чем «Простому сердцу», которому отведено 43 строчки. По мнению Н. Муравьевой, Бувар и Пекюше «представляют собой типичных буржуазных обывателей; невежественные и самодовольные дилетанты, они под видом научных изысканий занимаются праздным переливанием из пустого в порожнее» (Н. Муравьева, Комментарий, — в кн.: Стефан Цвейг, Бальзак, «Молодая гвардия», М., 1961, стр. 479). Несмотря на лаконичность и кажущуюся ясность этой характеристики, как комментарий к «Бувару и Пекюше» она фактически лишь затемняет дело.

¹⁶⁵ М. Е. Елизарова и др., ук. соч., стр. 479.

¹⁶⁶ См.: Флобер, т. I, стр. 393; т. VI, стр. 351—352.

¹⁶⁷ См. М. Е. Елизарова и др., ук. соч., стр. 479.

М. Е. Елизарова, правда, признает, что «сводить все произведение только к решению данной проблемы» нельзя, что оно «гораздо сложнее», так как Бувар и Пекюше являются в то же время и карикатурой на ученых, но из этого она почему-то заключает, будто Флобер в этом своем произведении «делает вывод о том, что человеческий разум бессилён познать мир и все стремления человека к этому познанию смешны и бесплодны»¹⁶⁸. Если такой вывод кто-нибудь делает, то это скорее М. Е. Елизарова, чем Флобер, но ее вывод еще не доказывает бессилия человеческого разума познать истину. Но М. Е. Елизарова на этом не останавливается. Справедливо приписав автору «Буvara и Пекюше» утверждение, что «наши знания о мире», как и «наши научные выводы» «базируются на чрезвычайно шатких гипотезах» и что «эти гипотезы ничего не стоит разрушить», М. Е. Елизарова, приравняв Бувар и Пекюше к ученым, совершенно необоснованно заставляет автора «Буvara и Пекюше» превращать «обличение кризиса буржуазной науки в выступление против человеческого разума вообще»¹⁶⁹. М. Е. Елизарова

¹⁶⁸ Там же, стр. 479—480.

¹⁶⁹ Там же, стр. 480. Нет, собственно, ничего удивительного, что в вузовский учебник попала такая ложная концепция «Буvara и Пекюше», раз в программе по истории зарубежной литературы 19 в. для студентов педагогических институтов, составленной кафедрой зарубежной литературы Московского городского педагогического ин-та им. В. П. Потемкина (редактор — доц. К. С. Протасова), утвержденной Министерством просвещения РСФСР и напечатанной Учпедгизом в 1956 г., буквально сказано (стр. 26): «Проявление упадочных тенденций в пастновке вопроса о кризисе буржуазной культуры в *повести* «Бувар и Пекюше». Антиинторизм в решении этой проблемы: рассмотрение упадка буржуазной культуры как кризиса *всей культуры человечества*». То же самое (дословно) говорилось об этом произведении и в соответствующем разделе университетских программ, составляемых работниками кафедры истории зарубежных литератур МГУ, утверждаемых соответствующим управлением соответствующего министерства и выпускаемых Издательством Московского университета (см. стр. 31 изд. 1953г., отв. редактор — проф. Р. Самарин и стр. 28 изд. 1956 г., редакторы — проф. В. В. Ивашева и доц. В. П. Неустроев). В программах, составленных тем же коллективом под редакцией доц. А. С. Дмитриева, доц. В. П. Неустроева и ст. преп. А. А. Федорова и выпущенных тем же издательством в 1958 и 1960 гг., это не фигурирует, возможно, потому лишь, что в них (см. стр. 22) посмертный роман Флобера лишь назван. Это предположение подтверждается тем, что в «Методических указаниях» по курсу «История зарубежной литературы XIX в.», составленных тем же А. С. Дмитриевым, утвержденных той же кафедрой зарубежной литературы МГУ (отв. ред. проф. Р. М. Самарин) и изданных тем же Московским ун-том в 1956 и 1959 гг., — все еще говорится об отождествлении «упадка буржуазной культуры с кризисом культуры общечеловеческой в *повести* «Бувар и Пекюше», а вслед за тем — об остроте «антибуржуазной сатиры в *романе*» (стр. 42 изд. 1956 г. и стр. 41 изд. 1959 г.). Лишь в программе, составленной коллективом кафедры зарубежной литературы филологического факультета МГУ под редакцией проф. В. В. Ивашевой и проф. В. П. Неустроева, утвержденной Учебно-методическим управлением по вузам 25 июля 1963 г. и изданной «Высшей школой» в 1964 г., появилась (стр. 23) формулировка: «*Повесть* «Бувар и Пекюше» — сатира на *буржуазную культуру*».

справедливо говорит о том, что Бувар и Пекюше, разочаровавшиеся в науках и подвергающие все сомнению, «становятся выразителями взглядов самого автора», выражают его «мысль о том, что в мире все относительно»¹⁷⁰, но о том — как и почему автор «Буvara и Пекюше» укрепился в своих релятивистских взглядах, она, к сожалению, ничего не говорит. А ведь это — наиболее существенно при анализе этого произведения.

Через год после выхода учебника М. Е. Елизаровой и др. Учпедгиз'ом были изданы коллективные «Очерки по истории французской литературы», в которых глава «Флобер и реализм 50—60 годов» написана М. Н. Черневич.

В «Буваре и Пекюше», по справедливому мнению М. Н. Черневич, «как бы заключен итог многолетних размышлений Флобера о жизни и культуре». Описывая ученые занятия Буvara и Пекюше, столь же справедливо продолжает исследователь, писатель «чрезвычайно остроумно раскрывает те противоречия, в которых запуталась буржуазная наука» (для которой «характерен, с одной стороны, бесплодный и далекий от жизни академизм, с другой стороны, — узкий утилитаризм и практицизм»), «показывает недостатки ее метода», «высмеивает <...> богоскапательство, мистику и спиритуализм»¹⁷¹.

Но М. Н. Черневич, как и многие другие исследователи философского романа Флобера, сразу же впадает в упрощение. Бувар и Пекюше для нее — всего лишь смешные, невежественные и самоуверенные чиновники, изображенные автором якобы лишь иронически. Если герои Флобера и в самом деле такие, какими их изображает М. Н. Черневич, то почему же в результате научной деятельности таких геров «выясняется, что научные положения ничего не объясняют и ничему не соответствуют в реальной действительности», как об этом пишет сама же М. Н. Черневич?¹⁷²

Совершенно верно, что в «Буваре и Пекюше» Флобер «делает вывод об относительности всех человеческих познаний», но вывод этот он делает не «из краха позитивизма», слабость которого он якобы «с большой проницательностью устанавливает» (ибо он сам был позитивистом) и не из убеждения в неспособности позитивизма «отразить сложность и противоречивость жизни» (как думает М. Н. Черневич),¹⁷³ а потому, что, будучи позитивистом, он неизбежно должен был впасть в релятивизм и оказался не в состоянии понять «сложность и противоречивость» процесса познания человеком мира и жизни. И если «на при-

¹⁷⁰ М. Е. Елизарова и др., ук. соч., стр. 480.

¹⁷¹ М. А. Яхонтов, М. Н. Черневич, А. Л. Штейн, Очерки по истории французской литературы, Учпедгиз, М., 1958, стр. 299—300.

¹⁷² Там же, стр. 299, 300.

¹⁷³ Там же, стр. 300.

мере гуманитарных наук» Флобер действительно особенно подробно развивает «мысль о зыбкости, произвольности и субъективности человеческих знаний», то происходит это не оттого, что он убежден в «бесплодности науки вообще» (как уверяет М. Н. Черневич),¹⁷⁴ а потому, что для всякого человека, не овладевшего диалектическим материализмом и его гносеологией (а к числу таких людей принадлежал, к сожалению, и автор «Бувара и Пекюше»), своеобразие присущего гуманитарным наукам процесса познания всегда казалось и будет казаться субъективизмом.¹⁷⁵

* *
*

В первой половине 60 гг. в нашей критике встречаются лишь отдельные попутные замечания о «Буваре и Пекюше» — будь то работы общетеоретического характера или специальные статьи и монографии о Флобере.

Д. Затонский, например, исследуя эволюцию литературной формы на Западе в XVIII—XX вв. и сравнивая, в частности, эпоху Флобера с эпохой Бальзака, справедливо говорит о том, что «в жизни буржуазной Франции, стоявшей <в эпоху Флобера> на пороге империализма, все измельчало, оплошилось» и что «сама историческая ситуация, таким образом, подсказывала Флоберу его «обыкновенные», «обыденные» сюжеты...». Но если для того, чтобы назвать обыкновенными и обыденными «мещанскую драму Эммы Бовари» и «одинокое терзание пассивного и лишнего в этом мире Фредерика Моро», может быть и в самом деле достаточно закавычить эти слова, то для истории Бувара и Пекюше это уже не годится: судьбу человека, вынужденного воскликнуть: «О сомнение, сомнение! Я предпочел бы небытие!» (слова Пекюше), нельзя назвать обыкновенной и обыденной даже в кавычках — как нельзя считать сюжетом этого романа «*тихое самоуглубление* Бювара <так!> и Пекюше...»¹⁷⁶.

¹⁷⁴ Там же.

¹⁷⁵ В значительно (на 12,5 печ. л.) расширенном и переработанном издании «Очерков» Яхонтовой, Черневич и Штейна, вышедшем семью годами позже, в разделе о «Буваре и Пекюше» прибавилось одно прилагательное и изменилось одно местоимение: см. М. Н. Черневич, А. Л. Штейн, М. А. Яхонтова, История французской литературы, изд. «Просвещение», М., 1965, стр. 358—359.

¹⁷⁶ Д. Затонский, Век двадцатый. Заметки о литературной форме на Западе. Изд. Киевского ун-та, 1961, стр. 140; Флобер, т. VI, стр. 266. Любопытно, что в одной своей позднейшей работе, посвященной специально актуальности Флобера, Д. Затонский, справедливо упрекая Ф. П. Шиллера, А. Ф. Ивашенко и М. Е. Елизарову за их определение флюберовского реализма, как «шага назад» по сравнению с реализмом Стендаля и Бальзака (тогда как в действительность Флобер «починае на Заходи якусь іншу

Н. М. Петренко, прослеживая «библейские» параллели в «Саламбо», справедливо говорит о постоянном «увлечении» Флобера религией, нашедшем выражение не только в «Саламбо», но и в «Буваре и Пекюше» и в ряде других произведений писателя. Во всех этих произведениях, подчеркивает исследователь, «Флобер настойчиво и последовательно ущемляет религию»¹⁷⁷.

Б. Раскин справедливо настаивает на том, что в высказывавшихся Зола надеждах «на успехи просвещения, на прогресс науки» Флоберу слышался лишь «знакомый голос г-на Омэ». Отсюда замысел «Буvara и Пекюше» — романа «о двух мирных, чудаковатых буржуа, восторженно поклоняющихся науке, слепо верящих каждому ее утверждению», желающих «постигнуть истину» и находящихся в изучаемых ими науках «одни только противоречия, одни гипотезы, опровергаемые другими» и испытывающих в результате «трагикомическую утрату иллюзий...»¹⁷⁸. С приведенным суждением никак, однако, не вяжутся слова Раскина о том, что Бувар и Пекюше — всего лишь два любознательных дурака, вырастающие к тому же «в колоссальный символ творческого бессилия и бесплодности буржуазной мысли».¹⁷⁹

О стилистических особенностях «Буvara и Пекюше» писала недавно Э. М. Береговская¹⁸⁰, которая обнаруживает в этом романе такие, например, принципы стилистического отбора слов, как дополнительные оттенки значения, принадлежность слова к определенной стилистической зоне и звуко-ритмические особенности слова.

«лінію» — *лінію реалізму сучасного*», в результате чего «Весь сучасний роман багато чого запозичив у Флобера, запозичив у мірі куда більший, ніж це заведено визнавати») и подробно разбирая «Госпожу Бовари» и «Воспитание чувства», «Буvara и Пекюше» — самое, на наш взгляд, актуальное и «современное» по своей проблематике и форме произведение Флобера — даже не упоминает, считая последнего почему-то автором «лише двох сучасних романів» (Д. Затонський, Гюстав Флобер і ми, — «Всесвіт», 1967, № 2 (104), стр. 114—115, 126, 119—120; курсив автора, разрядка наша).

¹⁷⁷ Н. М. Петренко, «Библейские» параллели в романе Г. Флобера «Саламбо», — Чечено-Ингушский гос. пед. ин-т. Уч. зап., № 18. Серия филологическая, вып. № 11. Грозный, 1963, стр. 4. Чтобы привести из «Буvara и Пекюше» пример, свидетельствующий «о целеустремленных «выпадах» Флобера против религии», исследователь заставляет последнего в названном произведении утверждать, что «троица и *дева Мария* вышли из *Индии*» (Н. М. Петренко, ук. соч., стр. 5) — тогда как у Флобера по этому поводу сказано: «Монотеизм происходит от евреев, троица — от индусов, логос — от Платона, *дева-мать* — из *Азии*» (Флобер, т. VI, стр. 305; см. также Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, P., Copard, 1910, p. 333).

¹⁷⁸ Б. Раскин, Гюстав Флобер — в кн.: «Писатели Франции», «Просвещение», М., 1964, стр. 464.

¹⁷⁹ Там же.

¹⁸⁰ Э. М. Береговская, Основные принципы стилистического отбора слов (на материале произведений Флобера), — «Филологические науки», 1965, № 1, стр. 168—172.

«Для характеристики речи Марселя <идиота с заячьей губой>, — пишет исследователь, — Флобер берет слово *bagouin*, имеющее в отличие от *parole* определенный оттенок — «неправильная, невнятная речь». Иногда же «Флобер отбирает слово, по стилю нарочито неуместное в данном контексте», — как, например, в эпизоде, где занявшиеся физиологией Бувар и Пекюше, «на виду у всех <...> в мокрой одежде бегут по самому солнцепеку вдоль проселочной дороги, чтобы проверить», «*si la soif s'apaise par l'application de l'eau sur l'épiderme*». Ситуация смешна сама по себе. А оттого, что кожа названа не обычным словом *peau*, но терминологическим *épiderme*, как ее назвали бы при настоящем научном эксперименте, «эксперимент» Бувара и Пекюше выглядит еще смешнее». На такого рода «стилистической пересадке» в «Буваре и Пекюше», по справедливому замечанию Береговской, построены и все «остроумные пародии на Вальтера Скотта и Александра Дюма».

«Бывают случаи, — продолжает исследователь, — когда слово в силу своих звуко-ритмических особенностей оказывается более подходящим для данного контекста, чем его синонимы». В «Буваре и Пекюше» имеется такая, например, приводимая исследователем фраза: «*Ils avaient fait venir un serrurier pour les tuteurs, un quincailler pour les raidisseurs, un charpentier pour les supports*». «Созвучия слов *serrurier* — *quincailler* — *charpentier* et *tuteurs* — *raidisseurs* — *supports*, — подчеркивает Береговская, — слишком нарочиты, чтобы считать их случайными совпадениями»¹⁸¹.

В небольшой статье, написанной к тому же на материале произведений Флобера вообще, нельзя было, разумеется, выявить все принципы стилистического отбора слов в «Буваре и Пекюше». При более детальном специальном изучении этой проблемы на материале названного романа исследователь, несомненно, обнаружил бы в нем и такие выявленные им у Флобера принципы стилистического отбора слов, как эмоционально-экспрессивная окраска слова, заложенная в слове образность или употребительность слова, которые иллюстрируются в статье примерами из «Мадам Бовари», «Воспитания чувств», «Искушения святого Антония» и «Саламбо», а, возможно, и некоторые другие принципы.

* *
*

¹⁸¹ Там же, стр. 169, 170—171, 172; курсив и разрядка Э. М. Береговской; G. Flaubert, Bouvard et Pécuchet, P., Copard, 1910, pp. 266, 79, 49; см. также Э. М. Береговская, Стилистическая функция синонимов (на материале произведений Флобера). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Львов, 1964, стр. 5—6, 10—11, 19.

Во второй половине 60 гг. интерес советской критики и литературоведения к «Бувару и Пекюше» становится более пристальным и результативным. Так, Л. Зонина вполне кстати вспомнила этот роман в связи с «Мифологиями» Ролана Барта¹⁸².

«Литературе, опосредствующей буржуазную модель бытия, — пишет Л. Зонина, — противостоит искусство, этой модели не приемлющее», стремящееся «разрушить ощущение успокоительной естественности существования «частичного» человека <...>. Отсюда — контрмифы, или, как называет их Барт, «экспериментальные мифы, мифы второй степени». Плавной элегантности закруглений, характерной для конформистской литературы, <...> контрмиф <...> должен противопоставить резкость, гротескность, некую кривизну зеркала, в котором *реальные противоречия*, маскируемые господствующей идеологией, предстают в особенно смешном, или странном, или трагически абсурдном <...> виде. Если искусство, идейно приспособляющееся к буржуазным мифам, играет роль рессоры, смягчающей неприятные толчки при соприкосновении с действительностью, то контрмиф работает как пружина, грубо бросающая нас на все острые углы. <...> Классическим образцом «мифа второй степени», до сих пор не утратившим разрушительной силы, является «Бувар и Пекюше» Флобера, где эйфория буржуазного прогресса ниспровергается с маниакальной ненавистью и энциклопедическим размахом»¹⁸³.

В том же 1967 г. появилась, наконец, и вторая (после рассмотренной выше статьи М. Д. Эйхенгольца 1934 г.) специ-

¹⁸² Roland Barthes, *Mythologies*, P., Seuil, <1957>.

¹⁸³ Л. Зонина, *Потребительство — канонизация и развенчание*. — «Иностранная литература», 1967, № 2, стр. 190; курсив автора; ср. R. Barthes, ук. соч., стр. 244—245. Нельзя не согласиться и со словами Л. Зониной о том, что «современная французская литература во многом следует направлению, заданному Флобером», и что в эволюции последнего «от стереометрического, многозначного единства, воплощенного в Эмме Бовари, к планиметрическому гротеску «Бувара и Пекюше» — намечены поиски художественной формы, адекватной духовному обеднению обывателя. Поиски, продолженные и углубленные в XX веке» (там же, стр. 190—191). Следует, однако, иметь в виду, что гротеск в последнем романе Флобера обусловлен прежде всего его жанром и образы самих Бувара и Пекюше, даже несмотря на философичность романа, отнюдь не планиметричны. Не могут эти персонажи романа олицетворять и духовное обеднение обывателя со времени Эммы Бовари. Но даже несмотря на необходимость такого рода поправок, соображения Л. Зониной о «Буваре и Пекюше» представляются нам в целом гораздо более конструктивными, чем относящиеся к тому же времени утверждение Б. Сучкова о том, что «в поздних произведениях Флобера, особенно в «Буваре <так!> и Пекюше», сказались «*Культ формы, сомнение в силе Разума, науки, неприятие идеи <...> развития*», ослабляя «реалистическую основу его искусства, придавая ему черты эстетизма» (Борис Сучков, *Исторические судьбы реализма. Размышления о творческом методе*. СП, М., 1967, стр. 176).

альная советская работа о «Буваре и Пекюше», принадлежащая перу А. В. Чичерина¹⁸⁴.

Статья А. В. Чичерина — полемическая. Пафос ее — в попытке доказать несостоятельность той концепции «Буvara и Пекюше», которая «намечалась у английского критика *Страджа* <так!> Мура», а «своее полное и ясное обоснование <...> получила в книге Б. Г. Рейзова «Творчество Флобера» (1955)», автор которой «отстаивает понимание романа французского писателя, прямо противоположное *почти всему высказанному до него*»¹⁸⁵.

Понимание «Буvara и Пекюше» Б. Г. Рейзовым в конечном счете сводилось, как мы видели, к тому, что роман этот — «не отрицание научного знания, но борьба с ложной наукой». Такое понимание флюберовского романа, действительно, прямо противоположно суждению Мопассана, А. В. Луначарского, А. Ф. Иващенко и Клода Дижона (на которых А. В. Чичерин ссылается), как и суждению некоторых других, не названных им, исследователей. Но суждения этих исследователей отнюдь не составляют почти всего, высказанного о «Буваре и Пекюше» до Б. Г. Рейзова, ибо многие исследователи (и притом как раз из тех, которые специально занимались изучением этого произведения, как, например, О. Сабатье, Д. Тарвер, Д. Ф. Хенниган, А. Кассань, Р. Дешарм, Э. В. Фишер, Ш. Арош и другие) высказывались до Б. Г. Рейзова о «Буваре и Пекюше» в противоположном, т. е. рейзовском смысле¹⁸⁶.

А. В. Чичерин считает недоказуемой саму мысль, что «Флобер наперекор всей своей поэтике выставляет в этом романе какие-то положительные «требования», занят «проповедью» чего бы то ни было, обличает именно и только «ложную» науку в отличие от другой, «подлинной» науки»¹⁸⁷. Однако уже М. Бонуйт, специально исследовавшая роль т. н. бесстрастия в творчестве Флобера и констатировавшая, что оно было «одним из краеугольных камней» его эстетики, была вынуждена признать, что писатель «вложил себя в свои самые бесстрастные по фактуре произведения», а «Бувар и Пекюше» — «последний этап упадка флюберовской бесстрастности в романе»¹⁸⁸.

¹⁸⁴ А. В. Чичерин, Загадка «Буvara и Пекюше», — в кн.: «Историко-филологические исследования. Сборник статей к семидесятипятилетию академика Н. И. Конрада. «Наука», М., 1967, стр. 416—421.

¹⁸⁵ А. В. Чичерин, ук. соч., стр. 417; T. Sturge Moore, *Art and life*, L., <1910>, p. 58.

¹⁸⁶ См. об этом А. Ю. Труммал, Роман Флобера «Бувар и Пекюше» в зарубежной и русской критике. Автореф. дисс. на соис. уч. ст. канд. филол. наук. Тарту, 1964.

¹⁸⁷ А. В. Чичерин, ук. соч., стр. 418.

¹⁸⁸ Marianne Bonwit, *Gustave Flaubert et le principe d'impassibilité*, — «University of California publications in modern philology», vol. 33, No 4. University of California press, Berkeley and Los Angeles, 1950, pp. 285, 368.

«Живая и реальная природа», с которой Бувар и Пекюше «живут одной жизнью; ярко очерченные типы графа, учителя, священника, мэра, буржуазной дамы, работника, работницы, фермера» — все это образует, по справедливому замечанию А. В. Чичерина, «настоящий роман», притом роман «философский, отчетливо проблемный». Верно и то, что «критицизм с его крайней остротой» совмещается в этом романе со скептицизмом. Но можно ли этот скептицизм считать проявлением «упадка буржуазной мысли», одним «из симптомов *декадентского искусства*»¹⁸⁹, и не сродни ли он скорее антидогматическому скептицизму Монтеня, творившего на заре «буржуазной мысли», когда никакого «декадентского искусства», кажется, еще не было?¹⁹⁰

В свете приведенных Л. Бертраном «слов Флобера» кажутся особенно неубедительными слова А. В. Чичерина о том, что в «Буваре и Пекюше» писателя «поглощает трагедия человеческого ума, бессильного <...> разрешить *окончательно* какой бы то ни было вопрос»¹⁹¹. Совершенно верно, что Флобер не мог «оспаривать научный метод многочисленных *замечательных естествоиспытателей* своего времени», и когда он говорит о «недостатке метода в науках», то «это относится, конечно, не к Лавуазье, не к Дарвину, не к Геккелю». Верно и то, что в романе его осуждаются не одни лишь «дилетанты, не имеющие с наукой ничего общего»¹⁹². Но ведь между названными (и неназванными) здесь выдающимися учеными и дилетантами — поистине «скалозубовская» дистанция, на которой располагается основ-

¹⁸⁹ А. В. Чичерин, ук. соч., стр. 420, 421.

¹⁹⁰ На это указал уже Леви-Брюль: «Монтень говорил «Почем я знаю?» Формулой Флобера является — *не делать заключений*» (L. Lévy-Bruhl, *Flaubert-philosophe*, — «La Revue de Paris», VII année, t. I (livraison du 15 Février 1900), p. 838; курсив автора). Об этом же говорит и Луи Бертран, оправданно вкладывающий в уста Флобера слова о том, что наука «должна была бы быть *лишь системой временных истин*», но она «*постоянно забывает об этом*», устанавливая *окончательные истины*, создавая догмы и нагромождая одно противоречие на другое. Следует «*возможно меньше утверждать*, в особенности же *остерегаться заключений*; следует быть *скептиком*», «*подлинным учеником Монтеня*...» (Louis Bertrand, *Flaubert à Paris ou le mort vivant*, P., Bernard Grassez, 1921, pp. 181—182). А. В. Чичерин же, между тем, лишь усугубил свое приведенное выше толкование флюберовского скептицизма. Солидаризируясь с Воюэ, считавшим последний роман Флобера сводкой «*философии нигилизма*», А. В. Чичерин утверждает, что «Бувар и Пекюше» — это «злая пародия на искание новых путей во всех сферах человеческой культуры», что уже в «Мадам Бовари» и «Воспитании чувств» «игнорировалось все лучшее, что есть в человеке» и «планомерно готовился <...> категорический скепсис, *предвосхищающий современную нам философию абсурда*» (А. В. Чичерин, *Идеи и стиль*. О природе поэтического слова. Изд. 2-е, дополненное. СП, М., 1968, стр. 275, ср. Е. М. de Vogüé, *Le Roman russe*, 4-ème ed., P., 1897, p. XXXIV).

¹⁹¹ А. В. Чичерин, Загадка «Буvara и Пекюше», ук. изд., стр. 419.

¹⁹² Там же.

ная, «серая» масса «людей науки», подвизающихся в ней с разной степенью плодотворности — в зависимости от своей способности к науке и своего научного метода, различные изъясны которого и вскрываются Флобером то в деятельности самих Бувара и Пекюше, то в трудах изучаемых ими ученых (как в кавычках, так и без кавычек). Само собой разумеется, что при этом Флобер «вовсе не собирался что-то запрещать или чему-то учить ученых своего или последующего времени». И уже потому, что *«вся его жизнь была в искусстве и науке»*, и он *«многое ценил, многим восхищался»*, его книга не могла стать выражением горького сомнения «в наличии конечного смысла всей человеческой деятельности и культуры»¹⁹³.

Неубедительным, малооправданным кажется нам и помещение «Бувара и Пекюше» в один ряд с «Ярмаркой тщеславия» и «Мертвыми душами» и объявление Теккерей и Гоголя едино-мышленниками Флобера в его горьком и якобы *«универсальном критицизме»*. Роман Теккерей («роман без героя!») — безжалостная критика моральных устоев (т. е. аморальности) специфически английского буржуазно-аристократического общества; поэма Гоголя — сатирическое изображение русского крепостничества, произведение Флобера — гротескная энциклопедия духовной жизни человечества. И уже потому, что область критикуемых Флобером явлений столь обширна, его критика не могла стать столь уничтожительной, как критика Теккереем и Гоголем сравнительно узкого круга сугубо эпохальных явлений моральной или социальной жизни одной нации или даже, как у Теккерей, — лишь ее верхушки. Более того, даже критицизм Теккерей и Гоголя (как писателей вообще) сам по себе далеко не универсален. «Гоголь-человек, — пишет А. В. Чичерин, — хотел бы смягчить, что-то положительное добавить. Гоголь-художник

¹⁹³ Там же, стр. 421; разрядка автора. Уже потому, что Флобер «многое ценил, многим восхищался», нельзя считать глубокими и обоснованными резюмирующие статью А. В. Чичерина слова Мопассана о том, что в «Буваре и Пекюше» Флобер вскрывает *«непрестанно и решительно во всем вечную, всеобъемлющую человеческую глупость»*, которые якобы «очень точно обозначают образ мысли Флобера», и «давно разрешили загадку» его романа (А. В. Чичерин, Загадка «Бувара и Пекюше», ук. изд., стр. 421; ср. Мопассан, Гюстав Флобер (II), — в кн.: Ги де Мопассан, Полн. собр. соч., под общей ред. Ю. Данилина и П. Лебедева-Полянского. Т. XIII, ГИХЛ, М., 1950, стр. 177). Следует отметить, что некоторые компоненты не лишенной противоречий мопассановской концепции «Бувара и Пекюше» А. В. Чичерин почему-то не учел. «Эта книга, — пишет Мопассан в той же статье, имея в виду названный роман Флобера, — говорит о самом великом, самом любопытном, самом тонком и самом интересном из того, что есть в человеке: это история мысли во всех ее формах, во всех ее проявлениях, во всех ее видоизменениях, в ее слабости и в ее мощи». На этом романе «можно бы написать в качестве подзаголовка слова: *«Об отсутствии метода в изучении человеческих знаний»*. Вот его основная мысль и содержание» (Мопассан, ук. соч., стр. 178, 176).

этого сделать не мог»¹⁹⁴. Но делить писателя на человека и на художника — значит впасть в дуализм, ибо в действительности речь может идти лишь о противоречиях в сознании единого, «неделимого» Гоголя (или любого другого писателя). Но даже если стать в этом вопросе на чичеринскую точку зрения, то и тогда можно заметить, что во втором томе своей поэмы Гоголь многое смягчил и даже «что-то положительное» добавил, а в «Выбранных местах из переписки с друзьями» сделал, как известно, и еще кое-что... Точно так же нашел свое «положительное» и Теккерей, перешедший от романа без героя — к роману с героем (да еще с заглавным: «Пенденнис», «Генри Эсмонд»), а еще позже написавший даже такое произведение, как «Виргинцы»... Но и в случае с Теккерем, и в случае с Гоголем, как и во всех случаях идейной эволюции того или иного писателя в ту или иную сторону, отражающихся на идейном содержании его произведений, определяющим фактором бывала не пресловутая «победа» художника над человеком (или наоборот), а преобладание, перевес или торжество прогрессивных элементов мировоззрения писателя над консервативными (или наоборот).

В мировоззренческой эволюции Флобера подобного качественного сдвига не было (даже после событий 1870—71 гг.). Противоречивость его мировоззрения выражалась в постоянной и безысходной борьбе прогрессивных и консервативных устремлений¹⁹⁵. Потому-то и оказалось возможным, что к концу своей «энциклопедической» деятельности один из protagonists его последнего романа, Пекюше «видит будущее человечества в *мрачном* свете» и убежден, что «современный человек *измельчал и обратился в машину*», а другой, Бувар, «видит будущее человечества в *розовом* свете» и уверен, что «современный человек *прогрессирует*»¹⁹⁶.

Естественно было встретить разговор о «Буваре и Пекюше» и в недавней книге Б. Песиса, посвященной проблеме традиции и новаторства во французской литературе от Гюго до Арагона¹⁹⁷.

Б. Песис в своем анализе «Бувара и Пекюше» исходит из того, что Флобер «не был ни человеконенавистником, ни художником, враждебным народу. Но он, как и некоторые другие французские писатели XIX и даже XX века, переоценивал силу

¹⁹⁴ А. В. Чичерин, Загадка «Бувара и Пекюше», ук. изд., стр. 421.

¹⁹⁵ «Так Вольтер, <...> Наполеон, революция, католичество и т. д., — признавался Флобер Луизе Коле в письме от 31 марта 1853 г., — раздражают меня *независимо от того, говорят о них хорошее или плохое*» (Флобер, т. VII, стр. 456).

¹⁹⁶ Флобер, т. VI, стр. 350, 351.

¹⁹⁷ Б. Песис, От XIX к XX веку: традиция и новаторство во французской литературе. СПб, М., 1968.

разлагающего воздействия буржуазии на народ»¹⁹⁸. Резкие высказывания перепуганного Флобера о коммунарах не помешали ему «уже после Коммуны» создать в «Простом сердце» образ Фелисите, а в последнем варианте «Искушения святого Антония» и в «Буваре и Пекюше» — подвести «убедительный итог своим и поныне не стареющим разоблачениями буржуазного мышления и морали»¹⁹⁹. В последних двух названных произведениях «принято выделять пессимистические мотивы», между тем как «пессимизм, а вернее, скептицизм», по справедливому замечанию Б. Песиса, — «лишь одна из сторон этих произведений», в которых фактически «генерализуются не столько мрачные оценки политических событий Флобером <...>, сколько оценки собственного творческого пути». «В обоих чувствуется страх перед революцией», но «еще сильнее звучит насмешка над этим страхом. И тут и там, наконец, перед нами спор, открытая дискуссия по заранее обдуманной программе, не предполагающей перевеса ни той, ни другой стороны»²⁰⁰.

«Бувар и Пекюше», по определению Б. Песиса, — это сатирико-бытовая или, «если угодно, философская повесть типа Вольтеровых», «спор о благодеятельности или вредоносности прогресса», «стремление сжать в кулаке сатиры все науки, все искусства, ремесла, социальные изыскания со всеми их успехами; сатира на тех, кто верит в благодеятельность этих успехов», причем «картина прогресса берется такой, какою она становится при господстве буржуазии»²⁰¹. В романе Флобера, по справедливому замечанию исследователя, «рисуеться карикатура не на знания, а на тщеславие и невежество буржуа», анатомируется «самый процесс воплощения идей в реальность в условиях буржуазного строя», сводящийся «к пошлой и никчемной материализации». «Главный рисунок сатиры, проходящей через всю книгу, выступает как раз на переходах от идей к практике. Речь идет о превращении высоких идей в их противоположность», что присуще «прежде всего буржуазному мышлению» и буржуазному миру — миру «антиидей, антимуз, антидуха». В своей попытке «реализовать достижения человеческого духа» Бувар и Пекюше приходят «к мысли о тщете наук и искусств», фактически же губит их «упорное стремление сделать свою веру <...> в конечном счете доходной, как у скопидома», хотя в ненаписанном окончании первого тома романа на передний план выдвигается трагикомедия «абстрактного правдоискательства». В истории Буvara и Пекюше, убеждающихся «в неосуществимости <...> своих верований», Флобер, по справедливому замечанию Б. Песиса, фактически «оглупил претензию пренебречь

¹⁹⁸ Б. Песис, ук. соч., стр. 43.

¹⁹⁹ Там же, стр. 10.

²⁰⁰ Там же, стр. 33.

²⁰¹ Там же, стр. 33—34.

социальными препятствиями на попрание воплощения идей, достижений науки и искусства...»²⁰².

До сих пор у нас не было особых оснований не соглашаться с Б. Песисом, а вот его толкование истории с садом Бувара и Пекюше представляется нам уже неубедительным и даже искусственным.

Вспомнив в связи с этим заключительную фразу «Кандида» о необходимости «возделывать свой сад», Б. Песис пишет: «Флобер как бы подхватывает эти слов и продолжает с того места, где кончил Вольтер. Дескать, вот что получилось, когда буржуа стал возделывать свой сад»²⁰³. Нам кажется, что заключительная фраза «Кандида» (как и сама эта повесть вообще) ассоциируется скорее с «Буваром и Пекюше» в целом, скорее даже с заключительной фразой этого романа («Они <Бувар и Пекюше> принимаются за дело»)²⁰⁴, чем с его садостроительным эпизодом: как слова о возделывании своего сада были практически ответом Вольтера на неразрешимый и потому несколько схоластический с его точки зрения вопрос о том, превалирует ли в мире добро или зло — так роман Флобера (и его финал) оказались релятивистским ответом поклонника абсолютной истины на неразрешимый для него вопрос о познаваемости мира. Но если подобное сопоставление «садовых» мотивов «Кандида» и «Бувара и Пекюше» может быть названо лишь упрощением или схематизацией, то выводы, которые исследователь из этого делает — уже явная натяжка, а характер использования фактического материала, на основе которого эти выводы делаются, нельзя определить иначе как подтасовку.

Сад Бувара и Пекюше, пишет Б. Песис, «был построен после того, как оба друга изучили множество типов садов, и в частности «тип фантастический». Такой сад давал возможность посетителю видеть «посменно кабана, отшельника, несколько склепов и, наконец, лодку, которая сама отплывала <так!> от берега и доставляла *гостя* <так!> в будуар, где струи воды обдавали его, когда он садился на диван... В сумеречном освещении это было нечто ужасающее...» Образ строителя сада, который начинает с гигантских замыслов, а кончает тем, что в качестве любителя добра и красоты предпочитает перенестись с поля «битвы за прогресс» в будуар, где он садится на диван под освежающие струи воды, — это насомненно, *острое развитие Вольтерова образа*... Это буржуазия после победы буржуазной революции»²⁰⁵.

²⁰² Там же, стр. 34—37.

²⁰³ Там же, стр. 34.

²⁰⁴ Флобер, т. VI, стр. 352.

²⁰⁵ Б. Песис, ук. соч., стр. 34—35; ср. Флобер, т. VI, стр. 94, 99. Хотя Б. Песис при цитировании и не делает никаких библиографических ссылок, по всему видно, что «Бувара и Пекюше» он цитирует по переводу

Чтобы прийти к нужному ему выводу об остром развитии Флобером «Вольтерова образа», исследователю пришлось прибегнуть к недозволенному в научной работе методу цитирования и пересказа.

Потерпев фиаско в попытке создания собственного плана своего сада, Бувар и Пекюше, как известно, обнаружили в своей библиотеке «Садовую архитектуру» Буатара, подразделявшего «сады на множество типов»: «тип «меланхолико-романтический», определяемый иммертеями, руинами, гробницами и «изображениями богоматери, указывающими то место, где какой-либо вельможа погиб от руки убийцы». «Жестокий» тип образуют нависшие скалы, расщепленные деревья, обгорелые шалаши; тип «экзотический» дается насаждением индийских смоковниц, «дабы навевать воспоминания на переселенца или путешественника». «Торжественный» тип должен, подобно Эрменонвилю, неизменно иметь храм философии. Триумфальные арки и обелиски характеризуют «величественный» тип; мох и гроты — тип «таинственный»; озеро — «мечтательный» тип²⁰⁶. Затем, чтобы закончить перечень, Флобер называет тип «фантастический», дает цитируемое Б. Песисом и приведенное нами выше описание этого типа, после чего продолжает: «Перспектива таких чудес ослепила Бувара и Пекюше». «Храм философии был слишком громоздким. Образ мадонны не имел бы смысла за отсутствием убийц; и, к несчастью переселенцев и путешественников, американские растения стоили слишком дорого. Но скалы были осуществимы, а также расщепленные деревья и мох...»²⁰⁷.

Ограниченные в своих возможностях, увлекаемые, вдобавок, своим эклектизмом, Бувар и Пекюше построили смешанный тип сада, в котором, судя по его дальнейшему описанию,²⁰⁸ причудливо сочетались элементы почти всех названных типов сада за исключением фантастического, ибо последний «показался им предназначенным *исключительно для государей*». Следовательно, сад Бувара и Пекюше не имел (и не мог иметь) ничего общего с фантастическим типом Буатара; Б. Песис же, между тем, все свое рассуждение о саде Кандида и саде Бувара и Пекюше и образе «строителя сада» у Вольтера и у Флобера строит именно на отождествлении сад Бувара и Пекюше с фантастическим типом сада, описанного Буатаром, и при этом доходит до того, что слова, которыми Флобер выражает первое

И. Б. Мандельштама. Однако у Мандельштама вместо выделенных нами слов «сама отплывала» и «гостя» стоит «отплывала сама» и «его» (см. Флобер, т. VI, стр. 94). Не подлинник (см. Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, P., Copard, 1910, p. 54), а технические соображения заставили исследователи произвести указанную замену.

²⁰⁶ Флобер, т. VI, стр. 93—94.

²⁰⁷ Там же, стр. 94.

²⁰⁸ См там же, стр. 94—96 и 99—102.

впечатление гостей Бувара и Пекюше от их сада, неожиданно представшего взором после поднятия занавесей («В сумеречном освещении это было нечто ужасающее») — относит к описанному Флобером на... пять страниц выше фантастическому типу сада, обозначив этот «небольшой» разрыв самым обыкновенным многоточием...

Бувар и Пекюше, познакомившись с описанием фантастического типа сада, нашли его «предназначенным *исключительно для государей*», а Б. Песису кажется, что сибаритствующий владелец этого сада — «это буржуазия *после победы буржуазной революции*»... Кому верить? Во всяком случае, несомненно, что буржуазия, начинавшая «с гигантских замыслов», и «после победы» не всегда и не сразу переносится «с поля битвы за прогресс» в будуар...

«Когда Бувар, *«раздраженный неудачей своего сада*», — цитирует исследователь Флобера, — вмешался в политический спор и «стал на защиту народа», то *критики сада, в отместку*, провозгласили свою ненависть к республике...»²⁰⁹. Выделенные нами слова уже сами по себе говорят о случайности, секундарности этого политического спора, опровергая, таким образом, слова Б. Песиса о том, что вопреки отвлеченности замысла своего сада Бувар и Пекюше «видели в нем какой-то идеал, *связанный <...> даже с политикой*»²¹⁰.

* *
*

Этим, собственно, и исчерпывается русская советская литература о «Буваре и Пекюше». По сравнению с буржуазным флобероведением советская флобериана имеет несомненные преимущества. Марксистский подход к флоберовскому роману позволил отдельным советским исследователям (М. Д. Эйхенгольц, Б. Г. Рейзов) глубже проникнуть в замысел писателя, полнее раскрыть идейное и философское содержание его произведения, вернее определить истинную природу его героев, их исключительно сложную связь с автором.

Но в советской флобериане имеются и свои недочеты. Если оставить в стороне те ошибки советских исследователей Флобера, которые были обусловлены формализмом или вульгарным социологизмом (работы Б. А. Грифцова, М. К. Клемана, Т. П. Перимовой), то основным недостатком суждений ряда наших критиков о романе Флобера окажется то, что они чаще всего произвольны, не учитывают хотя бы важнейших до-

²⁰⁹ Б. Песис, ук. соч., стр. 35; у Флобера ненависть к республике высказывает, собственно, лишь г-жа Борден, а доктор Вокорбей даже «высказался за прогресс» (см. Флобер, т. VI, стр. 101).

²¹⁰ Б. Песис, ук. соч., стр. 35.

стижений зарубежной флоберианы, а иногда — даже фактического содержания флоберовского романа (М. Е. Елизарова, И. С. Раджабова). Мы уже не говорим об источниках этого произведения: ими советская критика вообще еще не интересовалась. Но любые рассуждения о таком энциклопедически-сложном произведении, как «Бувар и Пекюше», неизбежно оказываются гадательными, если они не опираются на исчерпывающее знание совокупности всех социально-политических, культурно-исторических и биографических фактов и обстоятельств, обусловивших своеобразие этого произведения, всех материалов, полученных писателем в его основу. Уже Дешарм справедливо заметил, что исследователь этого произведения (если он хочет понять его истинный смысл) должен будет проделать ту же работу, которую проделал Флобер²¹¹. Но и после этого мы не будем знать всего о философском романе Флобера: о его так называемом втором томе можно, к сожалению, сказать лишь словами Э. Дюбуа-Реймона: *ignotum et ignotabitur* — ибо нельзя познать того, чего нет. Но на нет, как говорят, и суда нет. Исчерпывающее же изучение написанной части флоберовского романа, посвященного критике метода буржуазной науки, в наше время, в эпоху проникновения в тайны микро- и макромира (наступление же такой эпохи предсказывал, между прочим, уже Бувар)²¹² представляется особенно актуальным и поучительным.

Восприятие «Бувара и Пекюше» советской критикой — лишь эпизод из истории восприятия ею Флобера в целом. И хотя другим произведениям писателя у нас, в общем, везло больше, чем его посмертному роману, мы можем все же сказать, что в перипетиях нашего толкования «Бувара и Пекюше», нашего отношения к этому произведению сказались зигзаги нашего отношения к Флоберу и его наследию в целом.

Типичный случай такого отношения к Флоберу мы видим в работах А. А. Фадеева, собранных в книге «За тридцать лет».²¹³

В 1928 г. Фадеев называет Флобера наиболее ярким представителем французской реалистической школы, считавшим «своей задачей достигнуть *как можно большей объективности* в показе окружающих людей». То, что Флобер «несочувствовал новым веяниям, не понимал передовых людей своего времени», говорил Фадеев, еще не значит, что «в своем подходе к отдельному человеку», он не передал «тех общественных

²¹¹ См. R. Descharmes, Autour de «Bouvard et Pécuchet», ук. изд-е, стр. 98—99.

²¹² См. Флобер, т. VI, стр. 351.

²¹³ А. Фадеев, За тридцать лет. Избранные статьи, речи и письма о литературе и искусстве. Изд-е 2-е, СЛ, М., 1959.

связей и зависимостей, в которых находились эти люди»²¹⁴. Хотя Флобер, писал Фадеев в другой своей работе того же года, «вырос на той же социальной почве, на которой произрастали мещане-буржуа», он «в своих произведениях шел по пути *оттачивания* от их обывательских представлений», и в результате произведения эти «стали достоянием искусства». Литературные школы, подобные школе Флобера, настаивал Фадеев, «при всей ограниченности их методов, *могут быть в большей мере использованы нами при создании нового метода пролетарской литературы*, чем литературные школы, подобные школе Теофиля Готье», потому что «художественный метод Флобера был *более объективен*», потому что и «метод пролетарской литературы *будет чужд всяческого приукрашивания* и «нас возвышающего обмана»»²¹⁵. В речи на Втором пленуме РАППа (22 сентября 1929 г.) Фадеев говорил о том, что «в своем творчестве» Флобер был стихийным материалистом²¹⁶, а в 1932 г. ставит его в один ряд с Гомером, Свифтом, Шекспиром, Сервантесом, Гете, Пушкиным, Гейне, Толстым, Бальзаком — «величайшими *реалистами* прошлых эпох», которые, в большей или меньшей степени, «приближались к *объективной исторической правде* и в художественных образах, живущих века, ставили вопросы, до сих пор волнующие человечество»²¹⁷.

Таким образом, слова Н. Стальского о том, что «С Флобером Фадеев *усиленно спорил*»²¹⁸, нуждаются в уточнении. Из приведенных высказываний Фадеева 1928—1932 гг. явствует, что в то время он ставил Флобера в пример советским

²¹⁴ А. Фадеев, Столбовая дорога пролетарской литературы, — в кн.: А. Фадеев, За тридцать лет, ук. изд., стр. 19, 20. Думается, что выделенные нами слова А. А. Фадеева гораздо ближе к истине, чем несколько более раннее утверждение И. Р. Таля, что «объективность, которой так усиленно добивался Флобер», была нарушена неким врожденным, «почвенным», пессимизмом, что автор «Мадам Бовари», будучи прикован к своему «Я», «*воспроизвел в своем творчестве себя*» (И. Р. Таль, Достоевский и Флобер, — «Авангард». Альманах литературы, искусства и науки. Т. I, № 2, М., август 1922, стр. 44, 45; Статья Талья написана по поводу одноименной юбилейной статьи Ллойда: см. J. A. T. Lloyd, Dostoevsky and Flaubert, — «The Fortnightly Review», vol. 110, July to December, 1921, pp. 1017—1026).

²¹⁵ А. Фадеев, Против верхоглядства (Ответ т. Семенову), — в кн.: А. Фадеев, За тридцать лет, ук. изд., стр. 58, 65. Нужно ли говорить о том, насколько эти соображения А. А. Фадеева правомернее и конструктивнее мнения Л. В. Пумпянского, будто «в наши дни, вместе с искусством <...> Марселя Пруста <...> можно считать законченной «Флоберову» эпоху европейского романа», будто «*Флоберово наследие исчерпано до конца*» (Л. В. Пумпянский, Тургенев и Флобер, — в кн.: И. С. Тургенев, Сочинения, т. X, ГИЗ, М.—Л., 1930, стр. 13, 17).

²¹⁶ А. Фадеев, Долой Шиллера! — в кн.: А. Фадеев, За тридцать лет, ук. изд., стр. 69.

²¹⁷ А. Фадеев, О социалистическом реализме, — в кн.: А. Фадеев, За тридцать лет, ук. изд., стр. 96; курсив автора.

²¹⁸ Н. Стальский, Зарубежная тема в литературно-критическом наследии Фадеева, — «Иностранная литература», 1959, № 3, стр. 204.

писателям; спор с Флобером, переоценку его реализма, вмешательство «в его полемику с Бальзаком» (в пользу последнего) Фадеев начал позже, в связи с усилением культа личности Сталина, обусловившим, между прочим, изменение и нашей литературной политики, и теории социалистического реализма, что, в свою очередь, привело к некоторым досадным промахам в нашей тогдашней литературной практике и критике. Наиболее острой и в то же время далекой от историзма критика Фадеева в адрес Флобера стала после победы в Великой Отечественной войне, вызвавшей небывалый подъем самосознания нашего народа, поскольку в условиях усугубившегося тогда культа личности этот столь естественный рост самосознания советского народа обернулся «болезнью» приоритета, вылился в форму борьбы с «низкопоклонством» перед Западом, в «теорию» бесконфликтности, в лакировку действительности и в прочие нездоровые явления.

Спор с Флобером Фадеев начал сразу же после войны с критики... своих собственных ранних оценок Флобера, которые квалифицируются им теперь как «заблуждения юности». И нет ничего неожиданного в том, что за ту же объективность, за которую Фадеев когда-то хвалил Флобера, он теперь его ругает. По сравнению с Бальзаком, пишет Фадеев в июле—августе 1945 г., Флобер слишком приземлен и ползуч, «настолько «объективен», лишен стремления к добру, к «идеалу», что его, в известном смысле, можно считать *родоначальником формалистической литературы* <...>. Исключительная самонадеянность невзвешанности, <...> вполне простительная в юности, — помешала мне в ранних статьях, группирующихся вокруг статьи «Долой Шиллера» — а) понять всю плодотворность «*романтизма*» в старом «синтетическом» и в нашем — социалистическом реализме; б) выделить в этом смысле Бальзака, Стендаля среди таких, как Флобер, Золя»²¹⁹. В феврале следующего, 1946 г., сравнивая Флобера с Мопассаном, который, правда, «как и Флобер, не верил в то, что добро может восторжествовать», Фадеев отдает все же предпочтение Мопассану, так как в произведениях его якобы «*больше, чем в произведениях Флобера, чувствуется стоящий за всем этим страдающий человек прекрасной души*»²²⁰.

Если в ноябре 1946 г. Фадеев еще ограничивался простым утверждением, что русская литература «более демократична, чем литература Запада», а «*Тургенев более связан с народом, чем Флобер*»²²¹, то в 1947 г., даже декларируя свое уважение к

²¹⁹ А. Фадеев, О книге Б. Г. Реизова «Творчество Бальзака», — в кн.: А. Фадеев, За тридцать лет, ук. изд., стр. 868.

²²⁰ А. Фадеев, О Мопассане, — в кн.: А. Фадеев, За тридцать лет, ук. изд., стр. 878.

²²¹ А. Фадеев, О традициях славянской литературы, — в кн.: А. Фадеев, За тридцать лет, ук. изд., стр. 332. Здесь уместно привести несколько более ранние соображения Л. В. Пумпянского о некоторых особенностях кон-

труду и литературному наследию Флобера и даже признавая, что мы можем еще очень многому у него поучиться, Фадеев, уже сводит силу Флобера лишь к изображению «зла мира» и «уродливости современного ему общественного строя» и обвиняет его в том, что «Революцию 1848 года во Франции он *просто оплевал*»²²². «Флобер, — пишет теперь Фадеев, — настолько полон скептицизма, что даже в известной мере *безнравствен*» — тем более, что «никуда человека не зовет»²²³.

Максимально резкими и несправедливыми становятся суждения Фадеева о Флобере в начале пятидесятых годов. В декабре 1952 г., сравнивая Флобера с Бальзаком, Фадеев решительно утверждает, что «выдуманный» Бальзаком (с точки зрения Флобера) образ Вотрена, «раскрывает подлинное лицо капитализма, разоблачает капитализм больше и глубже, чем все произведения Флобера. Жак Колэн больше «жизнь», чем все «Сентиментальное воспитание» <так!> с «Мадам Бовари» в придачу. <...> Бальзак *увидел* в республиканцах положительные моральные качества, где их действительно тогда только и можно было найти. Флобер же *обогал* утопических социалистов, проявив в оценке социалистических учений обывательское невежество», а восстание 1848 года в Париже описал «пером злобствующего обывателя» — «лживо и гнусно». Мало того: Флобер «относился всю жизнь к простому народу как к «быдлу». И это реализм?!» «Реализм без долженствования не может быть подлинным, как это и «случилось» с

тактования русской литературы с западной и Тургенева — с Флобером. Указав на значительное совпадение взглядов Тургенева «с литературными теориями Флобера», на то, что оба «великих писателя сошлись» в убеждении, что современный роман «должен отказаться от облегчающих методов старого романа», на близость Тургеневу типичного для Флобера превращения «художественной добросовестности из простого качества писательской работы в проблемную художественную директиву», Л. В. Пумпянский пишет: «Полнее всего сказало влияние Флобера, конечно, в «Песни торжествующей любви», шедевре стилизующего воссоздания прошлого. Но к этой великолепной новелле Тургенева применим общий упрек, который можно обратить и ко всем историческим произведениям Флобера: прошлое восстанавливается в них <...> как *принципиальное отчуждение от нас*; художник подчеркивает в этом прошлом то, что *отделяет его от нас, отчуждает*, а не то, что могло бы нас сразу ввести в понимание прошлой эпохи. Вальтер Скотт и Пушкин показывали, как люди иных эпох творили свою историю; Флобер и Тургенев изображают не исторический процесс, *не людей, творцов истории, а уже готовые идеи, чувства, страсти...*» (Л. В. Пумпянский, Тургенев и Запад, — в кн.: И. С. Тургенев. Материалы и исследования. Сборник под ред. проф. Н. Л. Бродского. Орел, изд. Орловского Областного Совета депутатов трудящихся, 1940, стр. 96).

²²² А. Фадеев, Задача литературной теории и критики, — в кн.: А. Фадеев, За тридцать лет, ук. изд., стр. 409.

²²³ А. Фадеев, Задачи советской литературы, — в кн.: А. Фадеев, За тридцать лет, ук. изд., стр. 367.

Флобером; подлинный реализм обязательно включает желаемое, должное, мечтаемое, т. е. романтизм»²²⁴.

За четверть века, от 1928 г. к 1952, отношение А. А. Фадеева к Флоберу, к его художественному методу, претерпело, как мы видим, самое радикальное, качественное изменение. «Было бы, конечно, ошибочным утверждать, — справедливо замечает Н. С. Преображенский, — что все положения и оценки, которые в разные периоды давал А. Фадеев отдельным литературным явлениям, *на сегодня* бесспорны и правильны». Но не «ранние статьи и речи Фадеева <...> порой далеки от *современного* понимания идейно-творческих задач литературы», как утверждает Н. С. Преображенский (и как думал сам Фадеев), а поздние, послевоенные, особенно же, как мы видели на примере Флобера, — предсмертные. Именно в них, а не в статьях и речах 1928—1932 гг., как кажется Н. С. Преображенскому, «нашли отражение некоторые ошибочные взгляды А. Фадеева»²²⁵, обусловленные влиянием культа личности на нашу литературную теорию и практику. Учитывая руководящее положение А. А. Фадеева в нашей тогдашней литературной жизни, его роль в нашей тогдашней литературной политике, нетрудно догадаться о последствиях его послевоенных критико-теоретических выступлений для советского флороведения тех лет. Последствия эти чувствуются, например, во всех рассмотренных выше флороведческих работах А. Ф. Ивашенко (особенно в работах первой половины 50 гг.), как и в некоторых рецензиях на книгу Б. Г. Реизова «Творчество Флобера» (1955), в которой, по существу, была сделана первая удачная попытка объективного,

²²⁴ А. Фадеев, О Флобере. — в кн.: А. Фадеев, За тридцать лет, ук. изд., стр. 876, 877; курсив автора, разрядка наша. См. также А. Фадеев, О постановлениях Центрального Комитета партии по вопросам литературы и искусства, — в кн.: А. Фадеев, За тридцать лет, ук. изд., стр. 357; его же, О советской литературе, — в кн.: А. Фадеев, За тридцать лет, ук. изд., стр. 467. Излишне указывать на несостоятельность и несправедливость этих суждений Фадеева о Флобере и его «Воспитании чувств». Достаточно напомнить, что характеристика Флобером утопического социализма и событий 1848—51 гг. в названном романе, а тем более в «Буваре и Пекюшье» (которых А. А. Фадеев при оценке политических взглядов Флобера почему-то совсем не учитывает) во многом совпадает с характеристикой Маркса. Что касается бальзаковского Вотрена и его превращения из каторжника в полицейского, то в «Воспитании чувств» мы имеем, быть может, еще более характерную, а в свете позднейших событий — буквально пророческую метаморфозу — превращение в полицейского бывшего «социалиста» Сенекалья, участвующего в расстреле участников антибонапартистского восстания 4 декабря 1851 г. и убивающего рабочего Дюссардье. Объективный, научный анализ «Воспитания чувств» и политических тенденций этого романа был дан тремя годами позже Б. Г. Реизовым («Творчество Флобера», стр. 374—446, в особенности же — стр. 407—412).

²²⁵ Н. С. Преображенский, От редактора составителя, — в кн.: А. Фадеев, За тридцать лет, ук. изд., стр. 6—7.

исторического, действительно марксистского анализа творчества автора «Буvara и Пекюше».

Во второй половине 50 гг., в результате начавшейся ликвидации последствий культа личности, постепенно нормализуется положение и в нашей литературной теории и практике, и Флобер вновь занимает у нас то почетное место, которое по праву принадлежало ему «при Горьком». Уже в июне 1956 г., выступая на специальном расширенном заседании сектора зарубежных литератур Института мировой литературы им. А. М. Горького, посвященном проблеме современного критического реализма в зарубежных литературах, М. А. Яхонтова справедливо подчеркивала: «Начиная с Флобера <...>, реалисты конца XIX в. научились из массы деталей, характеризующих предмет, выбирать наиболее важные и решающие; они овладели умением более сжато и лаконично, чем это делал их великий предшественник Бальзак, отображать жизнь во всей ее сложности»²²⁶.

«Той Франции, которую живописал Флобер, — читаем мы в одной из вышедших тогда же книг В. Лидина, — давно уже нет <...> Но не отдалено, а лишь приближено временем искусство Флобера, сумевшего силой своего таланта сделать героев девятнадцатого века живыми нашими современниками. Обращаясь к великим прозаикам Франции, всегда в первую очередь думаешь о Флобере. Он дополнил «Человеческую комедию» Бальзака, показав в своих романах не только историю нравов современной ему Франции, но и с замечательной силой насытив эту историю плотью и кровью человеческих характеров»; «на многие десятилетия вперед предусмотрел Флобер нравы тех людей, которыми движут лишь алчность, корысть и эгоизм, и поэтому страницы его писем и книг тревожат и поныне своим страстным призывом к труду и к борьбе за искусство»²²⁷.

FLAUBERT'I ROMAAN «BOUVARD JA PÉCUCHET» VENE NÕUKOGUDE KRIITIKAS

A. Trummal

Resümee

Käesolev artikkel on jätkuks meie tööle «Роман Флобера «Бувар и Пекюше» в оценке дореволюционной русской критики» (vt. TRÜ Toimetised, vihik 104, Tartu, 1961, lk. 208—224 ja vihik 119, Tartu, 1962, lk. 279—314).

«Bouvard ja Pécuchet» on üks nõukogude kriitikas kõige vähem uuritud Flaubert'i teoseid. Siiski võimaldas marksistlik lähenemine Flaubert'i romaanile

²²⁶ «Известия АН СССР, ОЛЯ», т. XVI (вып. 1, январь—февраль 1957), стр. 88.

²²⁷ В. Л. Лидин, В доме Флобера, — в кн.: В. Л. Лидин. Люди и встречи, СП, М., 1957, стр. 145—146; ср. его же, Места воспоминаний, М., Жургазобъединение, 1938, стр. 6—7.

mõnedel nõukogude uurijail (M. D. Eichenholz, B. G. Reizov) paremini mõista kirjaniku kavatsust, täielikumalt lahti mõtestada tema teose ideelist ja filosoofilist sisu, täpsemalt määratleda tegelaste tõelist loomust, nende erakordselt keerulist seost autoriga.

Kuid nõukogude floberistikal on ka omad puudused. Kui jätta kõrvale need vead, mis olid tingitud formalismist ning vulgaarsotsiologismist (B. A. Griftsovi, M. K. Kļemani, T. P. Perimova tööd), siis on rea meie kriitikute «Bouvard'i ja Pécuchet» kohta käivate mõtteavalduste peamiseks puuduseks see, et nad on sageli meelevaldsed (A. V. Lunatšarski, G. Puzis, E. L. Schreiber), ei arvesta välisuurijate kas või tähtsamaid saavutusi (A. F. Ivaštšenko jt.), mõnikord aga isegi Flaubert'i romaani faktilist sisu (M. E. Jelizarova, I. S. Radžabova), rääkimata selle allikatest, milledest meie kriitikud seni pole üldsegi huvitunud. Kuid mistahes arutlused sellisest erakordselt komplitseeritud, entsüklopeedilisest teosest nagu «Bouvard ja Pécuchet» osutuvad paratamatult oletuslikeks, kui nad ei tugine kõikide selle teose omapära tinginud sotsiaal-poliitiliste, kultuuri-ajalooliste ning elulooliste asjaolude, kõikide romaani kirjutamiseks kasutatud materjalide ammendavale tundmisele.

Vaatamata sellele, et Flaubert'i teistel teostel nõukogude kriitikas vedas rohkem kui tema viimasel, lõpetamata filosoofilisel romaanil, peab tunnistama, et meie «Bouvard'i ja Pécuchet» muutlikes tõlgendustes leidis peegelduse ajalooliselt determineeritud murdjoon, mis iseloomustas meie Flaubert'i retseptisooni üldse.

LE ROMAN DE FLAUBERT «BOUVARD ET PÉCUCHET» DANS LA CRITIQUE SOVIÉTIQUE RUSSE

A. Trummal

Résumé

Cet article doit être considéré comme la continuation de notre étude «Le roman de Flaubert «Bouvard et Pécuchet» dans la critique russe pré-révolutionnaire» (cf. «Publications de l'Université de Tartu», fasc. 104 (Tartu, 1961), pp. 208—224, et fasc. 119 (Tartu, 1962), pp. 279—314).

Le roman «Bouvard et Pécuchet» se trouve parmi les œuvres de Flaubert qui ont le moins attiré l'attention de la critique soviétique. Celle-ci jouit pourtant d'une certaine supériorité par rapport à la critique littéraire bourgeoise. Les conceptions marxistes ont permis à certains investigateurs soviétiques (M. Eichenholz, B. Reizov) d'apprécier d'une façon plus exacte les intentions de l'auteur, de révéler plus complètement le contenu idéologique et philosophique du roman, et de mettre en relief le vrai caractère des protagonistes et leurs relations complexes avec le moi de l'auteur.

Mais en même temps la critique flaubérienne soviétique n'est pas dépourvue de certaines faiblesses. Outre les erreurs produites par le formalisme ou le sociologisme vulgaire (B. Griftsov, M. Kļemani, T. Perimova), les défauts principaux de la critique soviétique se trouvent dans les jugements arbitraires de quelques auteurs (A. Lounatcharski, G. Pouzis, E. Schreiber), dans l'ignorance des contributions de la critique étrangère, jusqu'aux plus signalées (A. Ivachtchenko, etc.), parfois même dans l'ignorance des faits du contenu (M. Yélizarova, I. Radjabova), pour ne pas parler du problème des sources du roman, que nos savants ont passé en silence. Malheureusement toute hypothèse au sujet d'un ouvrage littéraire d'une facture si compliquée et d'une envergure si encyclopédique que le roman de Flaubert doit forcément rester purement conjecturale si elle n'est pas fondée sur les faits précis de la vie de l'auteur, de l'histoire culturelle contemporaine et des conditions concrètes de la vie politique et sociale, en un mot sur la connaissance approfondie de tous les éléments qui ont contribué à former la matière du roman.

Il faut avouer que la critique soviétique n'a pas accordé à «Bouvard et Pécuchet» la même attention respectueuse qu'aux autres oeuvres de Flaubert. Mais il n'est pas moins vrai que nos interprétations variables et contradictoires de ce roman philosophique inachevé reflètent d'une manière intéressante les attitudes vacillantes déterminées de notre critique littéraire envers l'oeuvre de Flaubert en général.

SISUKORD — СОДЕРЖАНИЕ — CONTENTS

Toimetajailt	3
От редакционной коллегии	3
Editorial Note	3
Г. Кививяли. Повелительные предложения с присоединенной вопросительной частью в современном английском языке	5
G. Kiviväli. Kõsiva lisandkonstruktsiooniga käsklused kaasaegses inglise keeles. <i>Resümee</i>	23
G. Kiviväli. Imperative Sentences with an Appended Interrogative Construction in Contemporary English. <i>Summary</i>	24
М. Лаан. Dialoog kui lingvistiline kategooria	25
U. Lehtsalu. Leksikaalsete ühikute inglise keelest eesti keelde tõlkimise põhiprintsiipe	34
У. Лехтсалу. Основные принципы перевода лексических единиц с английского языка на эстонский. <i>Резюме</i>	45
U. Lehtsalu. Main Problems of Translating Lexical Units from English into Estonian. <i>Summary</i>	46
A. Luigas. The Regional Setting in Arnold Bennett's Five Town Novels.	47
A. Luigas. Региональный фон романов «Пяти городов» Арнольда Беннета. <i>Резюме</i>	61
A. Luigas. Arnold Bennett'i «Viie linna romaanide» regionaalne taust. <i>Resümee</i>	
O. Mutt. The Use of Common-Case Forms of Substantives as Premodifiers in Early Modern English	63
O. Mutt. Üldkäändes nimisõnade kasutamisest prepositiivse täiendi funktsioonis varases uusinglise keeles. <i>Resümee</i>	94
O. Mutt. Препозитивно-атрибутивное употребление существительных в форме общего падежа в ранне-новоанглийском языке. <i>Резюме</i>	94
J. Soontak. Some Problems Connected with Foreign Words and Their Identification in Swedish	95
J. Soontak. Võõrsõnadega ja nende määramisega seotud probleemide rootsi keeles. <i>Resümee</i>	101
И. Соонтак. О некоторых проблемах связанных с иностранными словами и их идентификацией в шведском языке. <i>Резюме</i>	101
H. Tootс. Система древнеанглийских гласных фонем и их употребительность	102

N. Toots. Vanainglise keele vokaalfoneemide süsteem ja nende absoluutne esinemissagedus. <i>Resümee</i>	128
N. Toots. The System of Old English Vowel Phonemes and Their Absolute Frequency. <i>Summary</i>	128
A. Труммал. Роман Флобера «Бувар и Пекюше» в русской советской критике	129
A. Trummal. Flaubert'i romaan «Bouvard ja Pécuchet» vene nõukogude kriitikas. <i>Resümee</i>	203
A. Trummal. Le roman de Flaubert «Bouvard et Pécuchet» dans la critique soviétique russe. <i>Résumé</i>	202

ТРУДЫ ПО РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ
ФИЛОЛОГИИ III

На эстонском, русском, английском
и немецком языках

Тартуский государственный университет
ЭССР, г. Тарту, ул. Юликооли, 18
Vastutav toimetaja O. Mutt

Korrektorid A. Norberg ja L. Aboldujeva

Ladumisele antud 25. XI 1969. Trükkimisele antud
7. VIII 1970. Trükipoognaid 13.0. Arvestuspoognaid
17,1. Kohila Paberivabriku trükipaber nr. 3, 60 × 90.
1/16. Trükiarv 500. MB-06920. Tell. nr. 7072. Hans
Heidemanni nim. trükikoda. ENSV, Tartu, Ülikooli
tn. 17/19, II.

Hind 1.20.

1 руб. 20 коп.

TÜ RAAMATUKOGU



1 0300 00290455 7